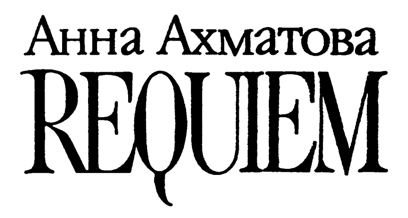
Анна Ахматова

REQUIEM

Анна Ахматова REQUIEM

ВСЕСОЮЗНОЕ ОБЩЕСТВО
КНИГОЛЮБОВ



МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО МПИ
1989

ББК 84Р7
А95

Часть средств, полученных от данного издания, будет перечислена на расчетный счет «Реабилитационного центра для подростков и взрослых инвалидов с детским церебральным параличом (ДЦП)» Главного управления здравоохранения Мосгорисполкома.

Предисловие *Р.Д. Тименчика*

Составление и примечания *Р.Д. Тименчика* при участии *К.М. Поливанова*

Оформление художника *А. Белослудцева*

Ахматова А. А.

А95 Реквием / В 5 кн. / Предисл. Р. Д. Тименчика; Сост. и прим. Р. Д. Тименчика при участ. К. М. Поливанова.— М.: Изд-во МПИ, 1989.— 320 с.

В книге собраны произведения Анны Ахматовой, которые не могли быть напечатаны при ее жизни. О событиях, стоящих за ними, мы узнаем из переписки, дневников и воспоминаний современников, из газетно-журнальной хроники «жестокого» тридцатилетия в жизни поэта.

А $\frac{4702010200—36}{184(02)—89}$ Без объявл.

ББК 84Р7
А95

ISBN 5—70—43—0001—4

Предисловие

В 1961 году, когда в серии «Библиотека советской поэзии» вышел сборник Ахматовой «Стихотворения (1909—1960)», в записной книжке поэта появилось обращение к другой, невышедшей книге, к «сожженной тетради»:

Ни розою ветров, ни флейтой Пана
Я окрещу тебя, бездомная моя! —
Ты — безымянная!
Дитя отчаянья... и тумана,
Придут толпой тебя оплакать вести
Одна другой моложе и свежей.

Как я тебя в последний раз согрела
Волной лесного дикого огня,
Как вдруг твое зарозовело тело,
Как голос, улетая, клял меня.

В окончательной редакции стихотворение начиналось с сопоставления судеб двух «сестер»:

Уже красуется на книжной полке
Твоя благополучная сестра,
А над тобою звездных стай осколки
И под тобою угольки костра...

И рядом в записной книжке возникает оглавление этой второй, «неблагополучной» сестры, «безымянной». Впоследствии имя ее все время меняется — «Моя книга», «Другая книга», «Заветная тетрадь», «Трещотка прокаженного». Воображаемую книгу должны были составить стихи, которые трудно было помыслить проходящими через печатный станок, и прежде всего «Реквием», который Ахматова «рас-

секретила» для слушателей в 1962 году. Слегка эволюционировала конъюнктура, и некоторые стихи прорывались в журналы, но сама идея «теневой» книги оставалась, к сожалению, актуальной до последних дней жизни Ахматовой.

И возникла она, по-видимому, задолго до выхода «лягушки», как называла Ахматова книгу 1961 года за цвет ее обложки. В дневниках одного из самых доверенных собеседников Ахматовой, Лидии Корнеевны Чуковской, есть оставшееся загадочным для самого автора записи обозначение (при расшифровке много лет спустя): «Цветная книга. Ее оглавление» (10 мая 1940). Не шла ли уже тогда речь о «черной книге»?

Стихи «запрещенные» («ворованным воздухом» называл такую литературу Осип Мандельштам в «Четвертой прозе») сложились как следствие той жизни, которую довелось прожить Анне Ахматовой и ее стране после январских дней 1917 года, когда из зимнего Слепнева, напомнившего Ахматовой пушкинское время, она вернулась во взбудораженный Петроград, уже прикидывавший сроки будущей революции, получившей потом название Февральской.

В дни Февральской революции Ахматова (как она впоследствии рассказывала П. Н. Лукницкому) бродила одна по городу, видела манифестации, пожар охранки, «впитывала в себя впечатления», не обращая внимания на стрельбу. У нас нет данных, позволяющих суммировать эти впечатления, ибо у Ахматовой нет «итогового» стихотворения этих дней, какое было, например, у В. А. Зоргенфрея, вписавшего тогда же в альбом Ахматовой:

Мы о Твоем не молились спасении —
Вспомнить, покинуть, вздохнуть.
В черную пору, в тоске и борении
Твой потеряли мы путь.

Пали любившие, встали лукавые,
Тени легли на поля,—
Вот и пришли они, льстивые, ржавые,
Скудные дни февраля...

Некоторые впечатления тех дней, впрочем, отразились в ахматовских стихах:

И целый день, своих пугаясь стонов,
В тоске смертельной мечется толпа,
А за рекой на траурных знаменах
Зловещие смеются черепа.
Вот для чего я пела и мечтала,
Мне сердце разорвали пополам,
Как после залпа сразу тихо стало,
Смерть выслала дозорных по дворам.

Сельские, слепневские наблюдения, как это видно из писем Ахматовой 1917 года к Лозинскому, были не отраднее городских. Но в стихи их Ахматова не впустила. Летом 1917 года она пишет странное стихотворение:

Течет река неспешно по долине,
Многооконный на пригорке дом.
А мы живем, как при Екатерине:
Молебны служим, урожая ждем.
Перенеся двухдневную разлуку,
К нам едет гость вдоль нивы золотой,
Целует бабушке в гостиной руку
И губы мне на лестнице крутой.

Эти стихи, как и вообще многие ахматовские сочинения, ироничны. Еще при одной из самых первых публикаций ее стихов Георгий Чулков заметил: «Почти в каждом стихотворении Ахматовой, как в бокале благоуханного вина, заключен тайно смертельный яд иронии. Эта ирония отдаленно напоминает улыбку Иннокентия Анненского и Жюля Лафорга, но она всегда нежнее, тоньше и женственнее, чем у этих безвременно погибших поэтов» (*Утро России*, 1911, 3 декабря).

С годами ирония становится жестче, мужественнее и отчаяннее, но она по-прежнему определяет особый статус ахматовских стихов по отношению к миру внестиховой действительности. Полнота их содержания, сообщение, несомое ими, раскрывается только в соположении текста и околотекстовой реальности, в конфликте «буквального смысла» и неназванных, прямо сопутствовавших стихотворению обстоятельств. Сколько раз, вплоть до наших дней, говорилось, что «Течет река...» — это готовый конспект рома-

на. С этим нельзя не согласиться, но с одной поправкой — интерес этого потенциального романа должен был бы состоять в столкновении самого стихотворения лета 1917 года с хроникой текущих событий этого дачного сезона.

В тот переломный год Ахматова, как и все российские граждане, говорила с друзьями о будущем. Борис Анреп вспоминал о разговоре с нею весной 1917 года: «Она волновалась и говорила, что надо ждать больших перемен в жизни. „Будет то же самое, что было во Франции во время Великой революции, будет, может быть, хуже"». Разговоры ее с Мандельштамом отразились в мандельштамовской «Кассандре», опубликованной в последний день 1917 года (еще в 1907 году гимназистка Анна Горенко писала: «...помните вещую Кассандру Шиллера? Я одной гранью души примыкаю к темному образу этой великой в своем страдании пророчицы. Но до величия мне далеко»). В стихотворении Мандельштама Ахматова находила отчасти сбывшееся предсказание.

С другим уподоблением, тоже соскальзывающим в мрачные прорицания, Ахматовой пришлось столкнуться в иллюстрациях Вениамина Белкина к поэме Георгия Чулкова «Мария Гамильтон» (1920). Белкин был одним из давних друзей Ахматовой. В 1960-е годы Ахматова вспоминала, как после сеансов позирования Н. Альтману в заселенном художниками меблированном доме «Нью-Йорк» она выходила через окно седьмого этажа «и шла по карнизу навестить Веню и Варю Белкиных». Художник присматривался к лицу поэта и ревниво относился к ахматовским портретам, выполненным ценимыми им коллегами. Он писал об очередной выставке «Мира искусства» в 1922 году: «Возьмем для обсуждения произведение Петрова-Водкина, называемое в каталоге портретом А. А. Ахматовой. Трудно предположить, что для портрета позировала она сама, так мало сходства в изображении с ее живым образом» (*Новая русская книга*, Берлин, 1922, № 7, с. 24). Два года спустя на выставке «Мира искусства» экспонировался и белкинский портрет Ахматовой (к работе над портретом Ахматовой художник вернулся в 1941 году).

В конце последнего предвоенного 1913 года Н. Г. Чулкова писала мужу: «Белкину дали иллюстрировать

твой рассказ. Он хочет изобразить тебя, меня и Ахматову. Не правда ли — очень мило?» Тогда эта затея не состоялась, но спустя десятилетие художник ввел Ахматову в картинки к чулковскому сочинению — героине стихотворной повести, эпизодическому персонажу русской истории начала XVIII века иллюстратор придал черты Ахматовой. «Лирическую героиню» Ахматовой и обезглавленную шотландку (к двухсотлетней годовщине казни которой и написана поэма Чулкова), сближало более всего предчувствие мученической смерти в стихах, вошедших в «Anno Domini»:

Лучше бы на площади зеленой
На помост некрашеный прилечь
И под клики радости и стоны
Красной кровью до конца истечь.

Волею сходных обстоятельств чулковская таинственная леди невольно напоминает нам ту Ахматову, о которой иногда рассказывают мемуары и дневниковые записи:

Печален был твой взор туманный,
Когда была ты на земле.
Твои улыбки были странны
Для нас, коснеющих во зле.
Я помню, как лучи сияли
Из-за тумана синих глаз,
Когда мы все, смутясь, читали
О новых празднествах указ.
И помню, угасал невольно
Наш буйный и угрюмый спор.
И было страшно, было больно
В твоем лице читать укор.

«И жертва тайная за всех»,— говорит Георгий Чулков о своей героине. Видимо, подобное ощущение исходило от всего облика Ахматовой в начале 1920-х годов — что и позволило художнику сблизить черты Анны Андреевны Шилейко с прекрасной иноземкой («узкий нерусский стан» — писала когда-то об Ахматовой еще не видевшая ее Марина Цветаева), нашедшей свою смерть на перепутьях русской истории.

История отечества входит в стихи Ахматовой, преломленная через «вечные» образы русской и мировой литературы, прежде всего через библейские и евангельские мотивы. Так, в отброшенной впоследствии второй строфе стихотворения «Когда в тоске самоубийства», навеянного началом брестских переговоров:

Когда приневская столица,
Забыв величие свое,
Как опьяневшая блудница,
Не знала, кто берет ее,—

содержится, как показал Омри Ронен, отсылка к Книге Пророка Исайи: «Как сделалась блудницею верная столица, исполненная правосудия! Правда обитала в ней, а теперь — убийцы». И «петербургская мифология», пророчества о грядущей гибели имперской столицы от взбунтовавшихся невских вод, некогда укрощенных державным основателем, тоже оживает в пореволюционных стихах Ахматовой, как, например, в не предназначавшемся для печати стихотворении 1922 года:

Здравствуй, Питер! Плохо, старый,
И не радует апрель.
Поработали пожары,
Почудили коммунары,
Что ни дом — в болото щель.
Под дырявой крышей стынем,
А в подвале шепот вод:
«Склеп покинем, всех подымем,
Видно, нашим волнам синим
Править городом черед».

Само существование Ахматовой в 1920-е годы приобретает какой-то двойственный статус, ее бытие на земле вызывает чуть ли не удивление. Молодой литератор Геннадий Фиш записывает в дневнике в 1923 году: «Ахматова большой, невероятно большой поэт, и как-то странно, когда встречаешь ее на улицах. Стройная, строгая, проходит она и, кажется, принадлежит не нам, но ушедшим, прошлым

дням, но ведь она еще не стара — 35 лет...» Читательское ощущение почти единодушно: Ахматовой не находится места в современности. Вот на какой почве рождаются слухи о смерти Ахматовой — впервые они возникают рядом с известием о смерти Блока и Гумилева.

Осенью 1921 года, пока весть о ее кончине еще добиралась до провинции, Ахматова, после четырехлетнего «заточенья у Шилейки», снова начинает принимать заметное участие в литературной жизни. Она много выступает на литературных вечерах, несколько раз проходят ее авторские вечера. Очевидец свидетельствует в газетном отчете о вечере Ахматовой в ноябре 1921 года в Доме Литераторов, что в зале яблоку негде было упасть: «И вся эта человеческая масса нервно, взволнованно, но как-то особенно, я сказал бы — почтительно-сдержанно шумела, нетерпеливо ожидая выхода поэтессы. Публика состояла преимущественно из молодежи» (*Новый путь*, Рига, 1921, 22 декабря).

Наступала эпоха, о которой Ахматова впоследствии писала: «НЭП был дьявольской карикатурой на 10-е годы — культ экслибрисов и аресты целых семей и полное их уничтожение».

В начале этого периода действительно появились на сцене былые представители литературного расцвета 1910-х годов (как писал ведущий тогда предствитель марксистской критики П. Коган — «поэтам дореволюционных настроений, мистикам и фантастам больше не на что жаловаться <...> снова тихо молится Анна Ахматова»). Была и попытка объединения писателей, стоящих вне официальной идеологии, вокруг журнала «Русский современник». Свое участие в вечере журнала в апреле 1924 года в Москве, да и сами стихотворения, опубликованные в первом номере журнала («Новогоднюю балладу» и «Лотову жену») Ахматова считала причиной последовавшего вскоре негласного запрета на публикацию ее стихов.

Ситуацию, которая сложилась в литературной жизни к 1925 году, описал в одном из своих печатных выступлений В. В. Вересаев:

«Общий стон стоит почти по всему фронту современной русской литературы: «Мы не можем быть самими собою, нашу художественную совесть все время насилуют, наше

творчество все больше становится двухэтажным: одно мы пишем для себя, другое — для печати».

В этом — огромнейшая беда литературы, и она может стать непоправимой: такое систематическое насилование художественной совести даром для писателя не проходит. Такое систематическое равнение писателей под один ранжир не проходит даром для литературы.

Что же говорить о художниках, идеологически чуждых правящей партии! Несмотря на эту чуждость, нормально ли, чтоб они молчали? А молчат такие крупные художники слова, как Ф. Сологуб, Макс. Волошин, А. Ахматова. Жутко сказать, но если бы сейчас у нас явился Достоевский, такой чуждый современным устремлениям и в то же время такой необходимый в своей испепеляющей огненности, то и ему пришлось бы складывать в свой письменный стол одну за другою рукописи своих романов с запретительным штемпелем Главлита...»

И на страницах того же «Журналиста» Вересаеву немедленно было отвечено публицистом С. Ингуловым: «Мы ничего не можем сказать Вересаеву в утешение насчет Ахматовой, Сологуба и Волошина: вряд ли найдется издательство, которое станет выпускать их полное собрание сочинений».

В обстановке всеобщего поношения (статьи С. Родова, Г. Лелевича, Н. Чужака, А. Лежнева и др.) началась история непечатания ахматовского двухтомника. Он был намечен к выходу в частном издательстве. История несостоявшегося издания тянулась несколько лет. Перечислим некоторые ее эпизоды.

15 октября 1926 года. Письмо П. Н. Лукницкого к Л. В. Горнунгу: «Весьма вероятно, что скоро выйдет в издательстве «Петроград» двухтомное собрание стихотворений АА, то, которое, казалось, погибло в типографии по всяким цензурным причинам. Гессен (издатель «Петрограда») просил АА срочно прокорректировать издание».

12 марта 1927 года. Письмо П. Н. Лукницкого к Е. Я. Архиппову: «Беда большая с собранием стихотворений А. А. Ахматовой. Цензура разрешила издать 500 экземпляров, а это хуже, чем запрещение. Ни один издатель в наше время не станет работать в убыток себе, а издание это доро-

гое и может оправдать себя и принести издателю доход только при большом тираже 4-5 тысяч экземпляров. Что и делать, не знаю. Очень огорчен и возмущен этим».

19 марта 1927 года. Письмо В. А. Рождественского к Е. Я. Архиппову: «Об Анне Андреевне. Она все еще чувствует себя неважно. Очень подействовали на нее незадачи с изданием «Собрания стихов». Два тома уже есть в корректуре, а дальше их не пускает Гублит».

Когда основалось кооперативное «Издательство писателей в Ленинграде», корректура двухтомника была передана туда. Он был анонсирован, но... история повторялась.

24 декабря 1928 года. Запись в дневнике литератора Д. И. Выгодского: «Сегодня Зоя <Никитина> принесла из Гублита первый том Ахматовой. Выбросили 18 стихотворений. Все, где есть «Бог», «Молитва», «Христос» и т. п. Среди них лучшие стихи. Это еще не окончательно. Из второго тома обещают выбросить меньше. В четверг вернут его. Зоя позвонила Ахматовой. Та испуганно: «Из только первого тома 18!»

3 января 1929 года. Письмо П. Н. Лукницкого к Л. В. Горнунгу: «Собрание ее стихотворений разрешено Гублитом, на том условии, что из 1-го тома будет выкинуто 18 стихотворений, а из 2-го — 40. Иначе говоря, собрание издаваться не будет (если условия не будут изменены, на что надежды почти нет). Новые стихи там должны были быть — те, которые были напечатаны в различных журналах, и не вошли в сборники, а также 7-8 совсем ненапечатанных».

9 февраля 1929 года. Письмо П. Н. Лукницкого к Л. В. Горнунгу: «Стихи АА не выйдут — безнадежно».

Корректуре двухтомника суждено было остаться примером библиографического «курьеза» (так писали о ней в книговедческих изданиях начала 1930-х годов), хотя хлопоты еще продолжались. Библиофил Э. Ф. Ципельзон записывает в дневнике 5 июля 1930 года: «Демьян Бедный ужинал в Б. Московской гостинице с... Анной Ахматовой! Вот сочетание!.. Очевидно, Ахматова приехала из Ленинграда хлопотать о выпуске двух своих книг, уже напечатанных, но задержанных Литом» (об этом же странном альянсе сообщала и А. Д. Радлова в письме к С. Э. Радлову от

28 августа 1930 года: «Катаев рассказал, как весной на его «Квадратуре круга» была Ахматова с Эфросом и Демьян Бедный, который рассыпался перед Ахматовой в комплиментах. Вот жених из пекла, правда?»). Отголосок их хлопот мы находим в письме Г. И. Чулкова к Ахматовой 9 декабря 1933 года, где он сообщает о своем разговоре с Е. Ф. Усиевич об издании стихов Ахматовой. Собеседница находила только три стихотворения неудобными с точки зрения Главлита и была согласна писать предисловие. «По-моему,— писал Г. И. Чулков,— предисловие Усиевич более приемлемо, чем предисловие Демьяна Бедного».

В 1937 году все попытки издать собрание ахматовских стихов, естественно, прекратились. Так завершился этап ее жизни, начавшийся вечером «Русского современника» в 1924 году. В том году прозвучали пророчества об исчерпанности ее дарования, прозвучали не только на родине, но и в русском зарубежьи (так, Михаил Осоргин по поводу стихов Ахматовой в «Русском современнике» назвал ее «застывшей в своем творчестве»). Ахматовой предстояло еще сорок лет писать стихи, составившие одно из главных литературных событий этого сорокалетия истории русской литературы. Но «жестокая эпоха» многое предопределила в самом составе этих стихов.

В своих заметках о «Египетских ночах» Пушкина Ахматова пишет, что считает одним из главных ключей к пониманию замысла пушкинской повести тему, предложенную импровизатору: «весна, увиденная из окон темницы». Эта же «задняя мысль», трагический подтекст, угадываются во многих поздних ахматовских стихах (прямо он выходит на поверхность во втором посвящении к «Поэме без героя» — «Ту, что люди зовут весною, одиночеством я зову»), преображая мирные пейзажи возникающим на первом плане решетчатым узором.

«Тюремные сюжеты» рано начали окружать Ахматову. Вот эпизод (она проходит перед нами полуназванной), относящийся к 1919 году и содержащийся в мемуарной книге княгини С. А. Волконской (урожденной графини Бобринской) «Горе побежденным» (издана в Париже в 1920-е годы). Автор книги была дружна с В. К. Шилейко (воспоминаниям предпослано посвящение-посылка: «Владимир Ка-

зимирович, слышите ли Вы меня?»). Муж мемуаристки, бывший дипломат, а в ту пору — переводчик при издательстве «Всемирная литература», светлейший князь П. П. Волконский был арестован в Петрограде как заложник, и С. А. Волконская вернулась из-за границы, чтобы выручать его. "Как волка ни корми, а он все в лес смотрит",— такими словами встретил меня Владимир Казимирович. Владимир Казимирович — тот, которого искал и не нашел Диоген. Встретились мы на Фонтанке, у Анны Х. Он показывает мне открытку со стихами, полученную им от П. П. из тюрьмы:

В одиночке

Над восьмеричным «и» нет места точке.
Десятеричное теперь ушло.
Курю «Сафо» я, сидя в одиночке,
И,— даже сею,— восхищен Сафо.

Как Диоген, лежавший в старой бочке,
Я мыслю: как на свете все красно!
А там — готовлюсь к следующей ночке,
Прося у вас прощенья за письмо».

(В ту пору существовали формы общественного протеста, и в соответствии с русской писательской традицией Ахматова участвовала в литературных вечерах, сбор от которых поступал политическому Красному Кресту).

Пришедшая на смену нэпу эпоха требовала мажорного жизнеутверждающего лада. В известном смысле ей сгодился бы и усредненный «акмеизм», понимаемый как немудрящее жизнеприятие, всякие там пейзажи, лирические зарисовки, псевдопсихологические заставки, фенологические репортажи в стихах. И, увы, есть некоторое разумное историко-культурное объяснение скандальному эпизоду с одним стихотворцем 50-х годов, принявшим вписанное им в свой блокнот ахматовское стихотворение 1915 года за собственное сочинение.

Принудительному жизнеприятию Ахматова сопротивлялась, как и многие (многие ли?) ее сверстники, люди сходного культурного склада. Эту позицию сопротивления пы-

тался растолковать филолог Дмитрий Сергеевич Усов (впоследствии — жертва «дела словарников», а в прошлом — блистательный рецензент ахматовских первых книг) в письме 1931 года к одному из ленинградских поэтов: «... выше сил моих видеть ж и з н ь там, где для меня и мне подобных есть смерть и разрушение».

Эпизод со стихами из цикла «Слава миру», составленными как мольба о пощаде сыну, как просьба о помиловании уничтожаемого сорокалетнего человека, для равнодушного или злорадного взгляда грозил перечеркнуть всю ахматовскую жизнь предыдущего тридцатилетья. Каково было бы ей, например, читать в статье польского критика 1962 года, что в стихотворении «Песня мира» (надолго угнездившемся в изданиях ее книг) она испытала влияние скорее Лебедева-Кумача, чем Пушкина?

Упреки в сервилизме (или похвалы за него), как, впрочем, и другие виды клеветы, нет-нет да и настигали Ахматову еще раньше, и отсюда ее резкая реакция на то, как описывает Георгий Иванов восприятие публикой ее стихов на авторских вечерах 1921 года. С другой стороны, существовало несомненное желание определенного слоя интеллигенции дождаться, наконец, от автора «Anno Domini» каких-то знаков примирения с действительностью («низко кланяюсь»,— называл этот стихотворный род второй муж Ахматовой Владимир Шилейко).

Покойный Павел Николаевич Лукницкий рассказывал нам, что в середине 20-х годов Ахматова в шутку предложила ему такой вот приблизительно вариант стихотворения, сочетающего новую тематику с патентованным ахматовским миниатюризмом и лаконичностью (которые еще Мандельштама, Виноградова и Эйхенбаума заставляли вспомнить о частушке):

Вышла Дуня на балкон,
А за ней весь Совнарком.

В стихах начала 1950-х годов, за которые принято было в пику наемным хулителям похваливать Ахматову, тоже есть этот «балкон». Неужели же ухо настолько оглохло от фанфар, что не слышит злой пародии в бодром противопо-

ставлении многочисленных яхт в Финском заливе нашей счастливой эпохи одинокому лермонтовскому парусу в Маркизовой луже прошлого? Разве эта пародия не есть свидетельство эпохи более верное, чем гладкие ямбы, в которые она облечена? Разве это не «письмо в бутылке» — письмо, отправленное из застенка?

О «партийности» стихов Ахматовой ни в каком смысле говорить не приходится. Но есть у ее поздней лирики другое свойство (наметившееся, впрочем, еще в стихах первых пяти сборников).

Когда в 1962 году Ахматова знакомила с «Реквиемом» читателей «последнего призыва», она услыхала от многих из них, что это стихи — «народные». По отношению к стихам Ахматовой эпитет был почти беспрецедентным — среди немногих исключений в прошлом была оценка М. Шагинян, которая в 1922 году писала, что «Ахматова (с годами все больше) умеет быть потрясающе-народной, без всяких quasi, без фальши, с суровой простотой и с бесценной скупостью речи». Но для внутреннего самоотождествления Ахматовой в этом читательском впечатлении не было ничего нового. На популярный вопрос тридцатых годов «с кем вы...?», поэт отвечает, снимая сам вопрос, стихотворением, написанным в дни, когда разворачивалась ждановская кампания — «Со шпаной в канавке...».

«Батька-атаман» в этом стихотворении — это конкретная деталь конкретного исторического времени — августа 1946 года, когда суд в Москве приговорил к повешению белогвардейского атамана Г. М. Семенова. «С этими и с теми» — это судьба ахматовской поэзии в эпоху, разделившую нацию на два стана, в каждом из которых жили ее стихи. Ими могли увлекаться секретарь Военно-революционного комитета Л. М. Карахан или замнаркомзема В. В. Оболенский (Осинский), но и на стене крестьянского дома в Болгарии можно было встретить под олеографическим портретом Пушкина переписанное химическим карандашом стихотворение «Смуглый отрок бродил по аллеям...», а под ним подпись: «Поручик Дроздовского полка. 1922 г. 8 декабря». Ахматова, несомненно, с болью переживала трагический раскол своего народа, но отказывалась участвовать в политиканских акциях по «уловлению душ».

Письмо Ахматовой лета 1922 года, протестующее против публикации ее стихотворений в берлинской газете «Накануне», направлено против газеты не эмигрантской, а, наоборот, «сменовеховской», заигравшейся в своем политиканстве. Но это, конечно, не опровергает весьма далекого от солидарности отношения Ахматовой к эмигрантской публицистике (М. А. Зенкевич в своем неопубликованном автобиографическом романе 1920-х годов «Мужицкий сфинкс» приводил слова Ахматовой в 1921 году: «Они там все сошли с ума и ничего не хотят понимать») и того, что политическая эмиграция на свой счет принимала строки Ахматовой «Не с теми я, кто бросил землю...» Когда проносился очередной ложный слух об аресте Ахматовой и высылке ее за границу, эмиграция не могла скрыть злорадства: «Как известно, теперь сама госпожа Ахматова стала невольной эмигранткой, будучи выселена из России со многими другими писателями...»,—писала варшавская газета «За свободу» в 1923 году. Несмотря на то, что слух о приезде Ахматовой время от времени возобновлялся в Париже (отчасти он был вызван планами самой Ахматовой выехать на лечение) и в редакциях эмигрантских газет уже лежали письма на ее имя (к одному из таких эпизодов относится и письмо Цветаевой 1926 года), позиция Ахматовой по отношению к уехавшим представлялась зарубежным «людям чернил» неизменной. Когда в 1926 году из России пришло анонимное стихотворение «Я тебя не покину, несуразная, вздорная, в дни твоей темноты, не променяю траву твою сорную ни на какие цветы» и т. д., критик А. Яблоновский не замедлил приписать авторство: «Бог пускай простит поэтессу (стихи, кажется, Ахматовой?), попрекающую сытостью этих бежавших».

В эмиграции оказались очень многие друзья Ахматовой, читатели ее первых книг, критики, блистательно писавшие о ее раннем творчестве (К. В. Мочульский, А. Я. Левинсон, Е. А. Зноско-Боровский и др). В 1920-е годы у Ахматовой появляются друзья «второго призыва»: Н. Н. Пунин, Н. В. Рыкова и Г. А. Гуковский, П. Н. Лукницкий, Б. Л. Пастернак, М. А. Булгаков, Борис Пильняк, Е. И. Замятин. Двое последних стали жертвами первой организованной кампании «общественного возмущения» против писателей

в 1929 году. Пильняк тогда еще, шутливо уподобляя себя и Замятина двум казненным американским рабочим, в письме Замятина к жене от 29 октября 1929 года делает приписку: «Также кланяется и целует — Пильняк-Сакко и сообщает, что будет он привезен в Ленинград, о чем просит сообщить А. А. Ахматовой, ради свидания с которой оный Пильняк, главным образом, и стремится в Северную Пальмиру» (имена их давно уже сплел победительный авангард «пролетарской культуры» — еще в 1924 году А. Безыменский писал:

Глупцы, прохвосты и злодеи,
Скопцы, пустышечки, сморчки,
Ах — матовки и пильнячки...).

Позади уже было самоубийство Есенина — с этим событием Ахматова связывала свое стихотворение «Как просто можно жизнь покинуть эту...», впереди — самоубийство Маяковского, вызвавшее ахматовское трехстишие, триптих-некролог, продиктованный ею своему другу Н. И. Харджиеву в 1932 году. Эта стихотворная миниатюра, перечисляющая пути, по которым русские поэты уходят из мира, перекликалась — при всей разнице политических взглядов и литературных пристрастий — со знаменитой статьей Романа Якобсона «О поколении, растратившем своих поэтов». Впереди была гибель Пильняка, Пунина, Гуковского, впереди был «большой террор», не обращавший внимания на литературные разногласия, уничтоживший и Н. Осинского (В. Оболенского), и Г. Лелевича, и Мандельштама, и А. Селивановского, и Н. Клюева, и А. Лежнева, и давнего знакомца Ахматовой по Цеху поэтов Владимира Нарбута, и его друга С. Ингулова, который от имени партии выразил сомнение в том, что Ахматову будут печатать.

Аресты в среде научной и художественной интеллигенции Ленинграда, начавшиеся во второй половине 1920-х годов, коснулись многих знакомых Ахматовой — сотрудника ее третьего мужа Н. Н. Пунина искусствоведа Н. П. Сычева, художника и музейного работника М. В. Фармаковского (когда-то он вместе с Гумилевым издавал в Париже журнал «Сириус»), архитектора Н. Е. Лансере, автора обстоятельного исследования о Фонтанном доме (во-время своего

второго заключения он, по-видимому, успел встретиться в дальневосточном лагере с Осипом Мандельштамом незадолго до того, как их обоих не стало), философа С. А. Аскольдова. (Эти и многие другие имена перечислены в предварительной справке «Репрессии в Русском музее и Эрмитаже в конце 1920-х — начале 1930-х», составленной Ф. Ф. Перченком и А. И. Добкиным).

Но по-настоящему роковыми стали для круга Ахматовой акции, связанные с убийством Кирова.

Мемуаристы приводят рассказ Ахматовой о том, как, пойдя в 1935 году на вокзал провожать кого-то из высылаемых друзей, она вынуждена была на каждом шагу здороваться со знакомыми — столь многие из них оказались дворянами и отправлялись в том же поезде. О контингенте высылавшихся представление дают воспоминания художницы Л. В. Яковлевой (жены композитора Ю. А. Шапорина). В этих воспоминаниях перед нами на перроне — после обыска или в ожидании высылки — проходят:

— композитор Н. М. Стрельников, который писал и стихи (под псевдонимом «Я. Пущин»); одно его стихотворение было обращено к Ахматовой и включено ею в подборку стихов о себе — так назывемую «Полосатую тетрадь» («В ста зеркалах»), сохранившуюся в архиве Ахматовой;

— близкий друг Ахматовой поэт Михаил Леонидович Лозинский;

— шлиссельбуржец Н. А. Морозов, с которым Ахматова выступала на одном из литературных вечеров в сезон 1913/14 года;

— Лидия Павловна Брюллова, подруга Е. И. Дмитриевой («Черубины де Габриак»), мать поэта-обериута Юрия Владимирова;

— К. К. Кузьмин-Караваев (Тверской), один из активнейших участников театральных экспромтов в «Бродячей собаке», одно время ближайший друг Л. Д. Блок.

В сокровенной строфе «Поэмы без героя» говорится:

И проходят десятилетья,
Пытки, ссылки и смерти... Петь я
В этом ужасе не могу.

Но этот «ужас» (как переводится на русский язык слово «террор») все же отражался в ахматовском творчестве, и не только в неподцензурных «эпиграммах» (вроде тех куплетов, которые приводит в своих воспоминаниях Анатолий Найман:

Где Ягода-злодей
Не гонял бы людей
К стенке,
А Алешка Толстой
Не снимал бы густой
Пенки).

В конце 1920-х годов Ахматова изучает английский язык и в начале 1930-х принимается за перевод шекспировского «Макбета». Первый отголосок макбетовской темы появился у нее уже в стихотворении 1921 года «Пусть голоса органа снова грянут...»:

Семь дней любви, семь грозных лет разлуки,
Война, мятеж, опустошенный дом,
В крови невинной маленькие руки,
Седая прядь над розовым виском.

На протяжении последовавшего десятилетия кровавый опыт поколения все более заставлял ее склонить внимание в сторону шекспировской трагедии. Ахматовская работа по переводу «Макбета», скорее всего, не была завершена (еще девятым декабря 1933 года датируется письмо Георгия Чулкова к Ахматовой, в котором идет речь о возможной в будущем рекомендации этого перевода директору издательства «Academia» Л. Б. Каменеву, вскоре лишившемуся и этого поста). Можно полагать, что практического стимула эта затея лишилась и в связи с опубликованием в 1934 году двух новых переводов трагедии — Сергея Соловьева и Анны Радловой. Преизбыток публикаций шекспировой драмы именно в этом году — одна из очередных дьявольских гримас эпохи, и, может быть, не случайна ассоциация Ахматовой в разговоре с актером В. Рецептером о «Макбете» спустя тридцатилетие: «убийство Кирова».

Прямо с этой работой связан мотив шотландской королевы в стихотворении «Привольем пахнет дикий мед...»:

... Но мы узнали навсегда,
Что кровью пахнет только кровь... <...>
И шотландская королева
Напрасно с узких ладоней
Стирала красные брызги
В душном мраке царского дома.

Отзвуки «Макбета» долго потом еще слышатся в стихах Ахматовой, вызванных реальностью 1930-х годов — слова одного из шекспировских героев о том, что сон должен вернуться в ночи сограждан, и мотив деревьев, поднимающих руки в осуждение убийцы, отразились в стихотворении «И вот наперекор тому...», строки «Реквиема»:

Это было, когда улыбался
Только мертвый, спокойствию рад —

подсказаны монологом из «Макбета», который Ахматова цитировала в разговоре с Юрием Олешей:

where nothing,
But who knows nothing, is once seen to smile
(Где никто, кроме тех, кто не ведает ничего,
не улыбается).

В одном из своих докладов об Ахматовой в начале 1946 года Борис Эйхенбаум говорил: «Историко-литературные работы Ахматовой важны не только сами по себе (они достаточно высоко оценены нашим советским пушкиноведением), но и как материал для характеристики ее творческого пути и ее творческой личности: уход от поэтической деятельности не был уходом от литературы и от современности вообще».

Не могла не иметь внутренних проекций на современность, в частности, первая пушкиноведческая работа Ахматовой — статья о «Золотом петушке», касающаяся проблемы взаимоотношения поэта с властью. Можно сказать, что в известном смысле эта статья (о которой Мандельштам

сказал: «Прямо — шахматная партия») по своему аллюзийному пласту аналогична концовке мандельштамовского «Путешествия в Армению» — стилизации по древнеармянским мотивам о царе Шапухе, которого держит в плену ассириец. Концовку эту напечатал, несмотря на запрещение цензуры, Цезарь Вольпе, который в той же «Звезде» опубликовал и ахматовскую «Последнюю сказку Пушкина». Может быть, воспоминанием об этой мандельштамовской прозе вызвано написанное после ареста сына ахматовское «Подражание армянскому», где источником для стилизованной инвективы тирану послужило четверостишие Ованеса Туманяна (в подстрочном переводе указавшего этот источник Сурена Золяна: «Во сне одна овца явилась ко мне для расспросов: «Да хранит Бог твоего сына, каков был на вкус мой ягненок?»).

Лев Николаевич Гумилев был арестован 10 марта 1938 года.

В феврале 1939 года на приеме в честь писателей-орденоносцев Сталин что-то спросил об Ахматовой. Вскоре появилось сообщение о том, что ее новые стихи (после пятнадцатилетнего перерыва) напечатают в «Московском альманахе». Эта публикация, правда, не состоялась, но в следующем году случилось нечто совсем уж неожиданное.

Выход сборника «Из шести книг» был событием для какой-то части читателей долгожданным — за книгой с утра, до открытия книжного магазина, стояла длинная очередь на Кузнецком мосту. По-видимому, в это лето 1940 года наметились какие-то признаки «потепления» — в том же номере «Литературной газеты», где была напечатана возмутившая Пастернака рецензия В. Перцова на «Из шести книг», критику Д. Данину удалось упомянуть в «нейтральном» контексте имя Осипа Мандельштама. Но все равно появление ахматовской книги требовало каких-то объяснений — прошел слух, что книгу издали по распоряжению Сталина, дочь которого любила ахматовские стихи, и сборник получил прозвище «папин подарок Светлане» (этот московский слух пересказан в эмигрантском журнале «Социалистический вестник» в 1946 году).

Кампания против сборника «Из шести книг», будто бы

прочитанного Сталиным и вызвавшего его неудовольствие (в частности, стихотворением «Клевета») *, разворачивалась вяло и, кажется, заглохла, но она, по-видимому, была одним из толчков к написанной в Ташкенте драме «Пролог» («Сон во сне»), в которой, по отзывам всех тогда слышавших это сочинение, была предсказана вся механика ждановской травли. Драма была сожжена по возвращении в Ленинград, и все, что мы знаем о ней — это фрагменты, которые автор пытался восстановить в 1960-е годы, внося туда элементы последующего жизненного опыта, осложняя и без того непростой временной строй этого произведения (future in the past) еще одним хронологическим пластом.

Предвещала также ташкентская драма (написанная, возможно, не без влияния «Мастера и Маргариты», прочитанного Ахматовой тогда же в эвакуации) появление «гостя из будущего», каковым и стал для автора «Пролога» английский историк Исайя Берлин. Все последующее было осуществлением наяву того, что ей было предсказано в Ташкенте в тифозном бреду. Возникает даже впечатление, что она в каком-то смысле не очень удивилась тому, что поджидало ее за поворотом четырнадцатого августа 1946 года (вернувшийся из санатория в конце этого проклятого августа Н. Н. Пунин записал в дневнике: «Пришли домой. Она была одна; похудела... Ну, я давно знал это ее состояние. Боялся, что с ней хуже. Ничего, держится»).

Ахматова была исключена из Союза писателей. Два года спустя Пастернак добился, чтобы ей выдали денежное пособие и рекомендовали московским издательствам предложить ей стихотворные переводы (запись в дневнике литератора Л. В. Горнунга). В эти годы Ахматова пережила четвертое в своей жизни хроническое голодание (до этого в голоде она жила в 1918-1920 годах, в конце 1920-х, в эвакуации). Но впереди была еще одна страшная беда.

О событиях 1949 года Э. Г. Герштейн вспоминает: «Лев Николаевич Гумилев был арестован 6 ноября 1949 г. Я узнала об этом в декабре от одной ленинградки, которая

---

* Об этом эпизоде говорится в наброске незавершенного стихотворения А. Ахматовой: «Как дочь вождя мои читала книги/И как отец был горько поражен».

видела Анну Андреевну на приеме у городского прокурора. По словам моей знакомой, из-за двери кабинета слышались грубые мужские окрики, затем оттуда вышла высокая женщина с гордо откинутой головой, вся ее фигура выражала напряженное страдание. «Кто это?» — невольно спросила моя собеседница. Ей шепнули из очереди: «Это — Ахматова. Она пришла сюда из-за сына».

Я отправилась к Ардовым, ужасная весть подтвердилась. «Что же вы мне не сказали?» — «А чем вы могли мне помочь?» — ответила Нина Антоновна и сообщила, что, лежа одна, в нетопленной комнате, Анна Андреевна написала стихи Сталину и и переслала их ей, Ольшевской. Нина передала их А. А. Фадееву. Стихи были напечатаны в «Огоньке» в начале 1950 года.

В первый же визит к ленинградскому прокурору Анна Андреевна узнала, что Лев отправлен в Москву. Она приезжала сюда раз в месяц, передавала в окошко Лефортовской тюрьмы 200 р. и получала расписку. Она просила меня запомнить, что эти деньги ей давала М. С. Петровых.

В сентябре 1950 года приговор был вынесен: 10 лет в лагерях строгого режима. Льва Николаевича отправили в Карагандинскую область. Переписка была ограничена. Ежемесячно Анна Андреевна отправляла сыну продовольственные посылки (общий вес не более 8 кило вместе с ящиком), которые собирала и увозила куда-то за город на почту NN — сослуживица Льва Николаевича по Этнографическому музею» (*Анна Ахматова.* Стихи. Переписка. Воспоминания. Иконография. Анн Арбор, Мичиган, 1977, с. 103—104).

Мы подошли к последнему эпизоду страшного тридцатилетия ахматовской жизни. Хотя бы фрагментарно мы можем сейчас представить себе фон ее существования в эти годы, фон, на котором возникали стихи и гибли стихи, наконец, фон ее пресловутого «молчания».

Во второй половине 1950-х годов до Ахматовой стали доходить сочинения зарубежных литературоведов, содержащие неизменные констатации ее молчания (эта тема и раньше возникала в эмигрантской критике — в 1926 году Б. И. Харитон вспоминал о Блоке: «Он умолк,— и молчание стало для него умиранием, как оно стало бы, может, умира-

нием для Ахматовой, если бы она не была женщиной; ведь у женщин есть отдушины, которых не дано мужчине»; в 1932 году прозаик Ю. Фельзен писал: «Вероятно, не случайно и показательно героическое молчание Анны Ахматовой»). Ответом на толки о молчании должна была стать седьмая северная элегия («Последняя речь подсудимой»), оставшаяся в набросках:

А я молчу, я тридцать лет молчу.
Молчание арктическими льдами
Стоит вокруг бессчетными ночами,
Оно идет гасить мою свечу.
Так мертвые молчат, но то понятно
И менее ужасно...
Мое молчанье слышится повсюду,
Оно судебный наполняет зал
И самый гул молвы перекричать
Оно могло бы, и подобно чуду,—
Оно на все кладет свою печать,
Оно во всем участвует, о Боже,
Кто мог придумать мне такую роль,
Стать на кого-нибудь чуть-чуть похожей,
О Господи! Мне хоть на миг позволь...
И разве я не выпила цикуту,
Так почему же я не умерла,
Как следует, в ту самую минуту...

В этом монологе Ахматова говорит только о себе. О своих читателях она пишет в других стихотворениях. Из темы «Ахматова и читатели» здесь стоит упомянуть об одном эпизоде. В уфимской газете «Ленинец» 14 августа 1965 года, в день «годовщины», была напечатана фотография бересты, на которой нацарапаны стихи Ахматовой. «Тираж этой книги — один экземпляр. И «отпечатана» она не на бумаге, а на берестовой коре».— говорилось в заметке.— «Семь страниц, связанные простой веревкой, заполнены стихами Анны Ахматовой. Переписаны стихи от руки в трудное для человека время». Ахматова была взволнована этой историей, и через некоторое время автор заметки (А. Глезер) поведал ей о той судьбе, которая стояла за вы-

нужденно уклончивым газетным сообщением. Жена расстрелянного «врага народа» в 1937 году чудом переправила берестяную книжку на волю. Вернувшись из лагеря, она рассказала, что стихи Ахматовой помогли ей выжить.

Это было одним из последних земных впечатлений Ахматовой. Жить ей оставалось несколько месяцев, до пятого марта 1966 года. Каждый раз, называя эту дату, людям, родившимся в первой половине двадцатого века, невозможно не вспомнить о Сталине.

Пятое марта пятьдесят третьего года должно было, казалось, поставить точку в той главе книги ахматовской жизни, которая рассказывает об истории заветной тетради, сожженной и восстающей из пепла. Но эта точка не будет поставлена до тех пор, покуда строки из цикла «Слава миру» будут, злорадно ухмыляясь, красоваться на страницах ее книг рядом с «Мужеством», «Листками из дневника», «Реквиемом».

Осип Мандельштам

Кассандре

Я не искал в цветущие мгновенья
Твоих, Кассандра, губ, твоих, Кассандра, глаз,
Но в декабре — торжественное бденье —
Воспоминанье мучит нас!

И в декабре семнадцатого года
Все потеряли мы любя:
Один ограблен волею народа,
Другой ограбил сам себя...

Но, если эта жизнь — необходимость бреда,
И корабельный лес — высокие дома —
Лети, безрукая победа —
Гиперборейская чума!

На площади с броневиками
Я вижу человека: он
Волков горящими пугает головнями:
Свобода, равенство, закон!

Касатка, милая Кассандра,
Ты стонешь, ты горишь — зачем
Сияло солнце Александра
Сто лет назад, сияло всем?

Когда-нибудь в столице шалой,
На скифском празднике, на берегу Невы,
При звуках омерзительного бала
Сорвут платок с прекрасной головы...

Из беседы с Л. С. Ильяшенко

С Ахматовой я встречалась только в «Бродячей собаке». Она там играла большую роль, ее очень любили. Худенькая, она ходила в черном платье и куталась в черную испанскую шаль. Она обычно сидела до утра. <...>

Разойдясь, Ахматова показывала свой необыкновенный цирковой номер. Садилась на стул и, не касаясь ни руками, ни ногами пола, пролезала под стулом и снова садилась. Она была очень гибкой.

Обычно «Бродячую собаку» посещали только актеры и литераторы. Никто из них не смел отказываться от приглашения выступить. Это был негласный закон «Бродячей собаки». Там пел даже Собинов. Публика всегда рвалась в «Бродячую собаку». Иногда давались открытые вечера и объявлялось: «Сегодня вечер для фармацевтов».

При царском дворе была капелла мальчиков. После революции она осталась без средств. Общественность решила устроить вечер в ее пользу. Исполнялся «Реквием» Моцарта. В концерте приняли участие солисты и оркестр Мариинского театра. Билеты стоили очень дорого, но я все же достала билет и случайно попала в ложу с Анной Ахматовой. Мы были потрясены этим концертом. Это было днем, в день какого-то церковного праздника. Мы вышли с концерта и встретили крестный ход. Впереди идет старенький священник, несут иконы, хоругви, сзади маленький жалкий хор. Мы еще были под впечатлением концерта. Ахматова сказала: „Вот продолжение «Реквиема»". Было чувство непреодолимой грусти. «Лиля, бросим заниматься искусством,— сказала Ахматова.— Наше искусство никому не нужно. И откроем табачную лавочку».

Запись беседы с актрисой Лидией Степановной Ильяшенко-Панкратовой (1894—1984), исполнительницей роли Незнакомки в блоковском спектакле В. Э. Мейерхольда, сделана в 1978 году. Воспоминания, по-видимому, смешались с легендами. Так, Ахматова писала, что у нее никогда не было испанской шали, в которой ее изобразил Блок в стихотворении «Анне Ахматовой».

* *
*

Утро *О России,* устроенное в Тенишевском зале на пользу политического Красного Креста, прошло с большим материальным и художественным успехом.

На рояле играли г. Дубянский и г. Лурье.

Внимание публики сосредоточилось на выступлении Д. С. Мережковского.

Поэт говорил о том, что он выступает с тяжелым чувством, когда как бы невозможно говорить, а в особенности читать стихи. Ведь это мерное слово, а мерность в настоящее время мы потеряли. Слово бессильно, когда наступило озверение. Нужен уже не певец, а пророк. Но и пророк что сделал бы сейчас? По мнению Д. С. Мережковского, ничего не сделал бы даже Л. Н. Толстой, если бы он был жив. Однако нельзя отчаиваться, и мы, бедные рыцари прекрасной дамы — родины,— должны жить для нее. Мы все на дне моря ищем жемчужины, и если найдем ее, то стоит страдать.

Поэт читает сначала старые свои стихотворения о любви к родине, а затем сильное стихотворение З. Н. Гиппиус, посвященное декабристам.

З. Н. Гиппиус прочла ряд своих стихотворений, которыми была ею встречена мартовская революция и заклеймен октябрьский переворот. Поэтесса не ждет ничего хорошего от этого переворота:

> И скоро в старый хлев ты будешь загнан палкой,
> Народ, не уважающий святынь,—

с болью пророчествует она.

Наши дни, когда «плевки матросские размазаны у нас на лбах», поэтесса рисует весьма мрачными красками.

Глубокой верой в светлое будущее проникнуты стихи Ф. К. Сологуба, которые любимый поэт прочел проникновенно-просто.

Утро закончила Анна Ахматова, прочитавшая два своих стихотворения.

Все участники утра горячо принимались публикой.

Новый вечерний час, 22 января 1918.

Утро «О России»

После бесконечных назойливых митингов — элементарных и вместе с тем мудреных, примитивных и одновременно витиеватых,— после заносной иностранщины сладостно-тоскливо вернуться к прежним песням о родных полях, прежним и опять новым словам о родной стране, «о России».

Забытая, загнанная в подполье Россия перенесла за долгие месяцы митингования тяжелую, страшную болезнь.

И в смертельной тоске агонизирует одинокая, покинутая собственными детьми, в увлечении «всемирным братством» забывшими, что нет всемирного без родного, нет братства народов без любви к родине-матери.

Знакомый и близкий по до-февральским воспоминаниям зал Тенишевского Училища. Необычайно объединенная одним настроением публика. Отсутствие в программе политических ораторов.

Смущенно-радостные встречи заблудившейся и разобщенной в извилистых закоулках программ и партий молодежи, настороженно-благодарный, дружный прием участников «Утра о России».

Все располагает к освежающим душу воспоминаниям о прошлом; ласково, но повелительно останавливает мысль на пропасти настоящего, с надеждой и упованием зовет в будущее.

— Россия была, России нет... Россия будет! — говорит Д. С. Мережковский. Одичалые, озверелые, проникнутые хаосом, мы в гордыне забыли о родине. И, когда опомнились, в безмолвном ужасе затаили дыхание у постели смертельно больной матери. Молчим, стиснув зубы. В красном тумане новых снов забыли о старых. А сейчас можно вспомнить лишь старые слова. Вспомнить «эти бедные березы и дождя ночные слезы и унылые поля...»

Тоской о потерянных надеждах «юного марта» звучат стихи З. Н. Гиппиус. «Веселье» октябрьских дней не находит радостного отзвука в ее душе. И поруганные заветы прошлых годов заставляют ее вспомнить о превратности настоящего, когда она произносит стих о мечте поколения — Учредительном Собрании.

Чеканный и гордый стих Ф. К. Сологуба бичует ужасы за-

пустения наших дней. Но поэт не потерял надежды на будущее, не проклял в отчаянии родной земли. И праведная, и грешная, и празднующая и злобствующая в заблуждении — она дорога ему надеждами, обещаниями в будущем («Гимны родине»).

Тем же настроением проникнуты стихи Анны Ахматовой («Молитва», «Высокомерьем дух твой омрачен»).

И все это — на фоне русских песен в исполнении М. Д. Черкасской, девственно-чистых танцев Судейкиной, прекрасной игры Дубянского и других участников утра «О России».

Задуматься о настоящем настойчиво звала и цель утра «О России», сбор с которого предназначается в пользу политического Красного Креста на помощь новым узникам нового — и столь похожего на старый — режима.

Наш век, 24 января 1918.

Об этом вечере Ахматова вспоминала: «Я там оскандалилась: прочитала первую строфу «Отступника», а вторую забыла. В артистической, конечно, сразу все припомнила. Ушла и не стала читать. У меня в те дни были неприятности, мне было плохо... Зинаида Николаевна в рыжем парике, лицо будто эмалированное, в парижском платье... Они меня очень зазывали к себе, но я уклонилась, потому что они были злые, — в самом простом, элементарном смысле слова» (*Чуковская Л.* Записки об Анне Ахматовой. Париж, 1976, т. 1, с. 69).

Из газетной хроники

Поэтесса Анна Ахматова, находящаяся в Петрограде, живет в ужасных условиях, голодает, <как> и все остальные писатели, не имеющие возможности покинуть северную столицу.

А. Ф. Даманская. Из статьи «Новый фронт»

Вижу, как сейчас, длинного, сухого, обычно тихого поэта Шилейко, мужа Анны Ахматовой, на лестнице издательства с двумя большими кастрюлями из белой жести (тоже по

жребию) в одной руке и с картузом с сушеной грушей — в другой. Шуршала груша, звенели кастрюли, но ученый поэт ассириолог был доволен.

Г. И. Чулков. Из письма к Н. Г. Чулковой

12 августа 1920 г.

Видел Блока, Городецкого, Кузмина, немало молодых поэтов, Щеголева, и у Судейкиной видел Ахматову — последнюю полчаса. Ахматова превратилась в ужасный скелет, одетый в лохмотья. Но стихи прочла чудесные. Она, по рассказам, в каком-то странном заточении у Шилейко. Оба в туберкулезе и очень бедствовали.

С. В. Познер. Из статьи «Как они живут и работают»

Нежная поэтесса Ахматова проводит полдня, если не больше, на кухне, стирает белье, печет лепешки на дымящейся печурке.

Хроникальная заметка под рубрикой «Книги и писатели» напечатана в киевской газете «Наш понедельник», 1918, 25 ноября.

Воспоминания переводчицы и беллетристки Августы Филипповны Даманской (1877—1959?) об издательстве «Всемирная литература» появились в таллинской газете «Народное дело», 1921, 11 февраля. Бывшая сотрудница этого издательства В. А. Кюнер-Сутугина в письме к Ахматовой в 1950-е годы писала: «Помню, какие оба с Вл<адимиром> Казим<ировичем> были Вы замерзшие в пустой холодной комнате. Помню и шинель, повязанную веревочкой — Anno Domini 1919...»

Письмо Г. И. Чулкова хранится в ЦГАЛИ.

Статья публициста Соломона Владимировича Познера (1880—1946), отца русского поэта и французского беллетриста Владимира Познера, напечатана в каунасской газете «Вольная Литва», 1921, 27 июля. Владимир Познер входил в группу «Серапионовых братьев» и, по-видимому, с его слов отец писал об этой группе: «Из современников они выше всех ставят Блока и превозносят Ахматову» (*Последние новости,* Париж, 1922, 30 августа).

Марина Цветаева. Из статьи «Герой труда»

...Итак, арена. Мороз. И постепенным повышением взгляда — точно молясь на зрителя! — полуцепи, ожерелья, лампионные гирлянды — лиц. (Кстати, почему лица, в наш век бескровные, в 1920 же году явно зеленые, с эстрады — неизменно розовые?). Гляжу на поэтесс: синие. Зал — три градуса ниже нуля, ни одна не накинет пальто. Вот он, героизм красоты. По грубоватости гула и сильному запаху голенищ заключаю, что зал молодой и военный.

Пока Брюсов пережидает — так и не наступающую тишину, вчувствовываюсь в мысль, что отсюда, с этого самого места, где стою (посмешищем), со дна того же колодца так недавно еще подымался голос Блока. И как весь зал, задержав дыхание, ждал. И как весь зал, опережая запинку, подсказывал. И как весь зал — отпустив дыхание — взрывался! И эту прорванную плотину — стремнину — лавину — всех к одному,— который один за всех! — любви.

— Товарищи, я начинаю.

Женщина. Любовь. Страсть. Женщина, с начала веков, умела петь только о любви и страсти. Единственная страсть женщины — любовь. Каждая любовь женщины — страсть. Вне любви женщина, в творчестве, ничто. Отнимите у женщины страсть... Женщина... Любовь... Страсть...

Эти три слова, все в той же последовательности, возвращались через каждые иные три, возвращались жданно и неожиданно, как цифры выскакивают на таксометре мотора, с той разницей, что цифры новые, слова ж все те ж. Уши мои, уже уставшие от механики, под волосами навострялись. Что до зала, он был безобразен, непрерывностью гула вынуждая лектора к все большей и большей смысловой и звуковой отрывистости. Казалось — зал читает лекцию, которую Брюсов прерывает отдельными выкриками. Стыд во мне вставал двойной: таким читать! такое читать! с такими читать! Тройной.

Итак: женщина: любовь: страсть. Были, конечно, и иные попытки,— поэтесса Ада Негри с ее гуманитарными запро-

сами. Но это исключение и не в счет. (Даю почти дословно). Лучший пример такой односторонности женского творчества являет собой... товарищи, вы все знаете... Являет собой известная поэтесса наших дней... Являет собой поэтесса...

Я, за самой его спиной, вполголоса, явственно: — Львова?

Передерг плечей и — почти что выкриком: — Ахматова! Являет собой поэтесса — Анна — Ахматова...

...Будем надеяться, что совершающийся по всему миру и уже совершившийся в России социальный переворот отразится и на женском творчества. Но пока, утверждаю, он еще не отразился, и женщины все еще пишут о любви и о страсти. О любви и о страсти...

Уши, под волосами, определенно — встали. Торопливо листаю и закладываю спичками черную конторскую книжечку стихов.

— Теперь же, товарищи, вы услышите девять русских поэтесс, может быть, разнящихся в оттенках, но по существу одинаковых, ибо, повторяю, женщина еще не умеет петь ни о чем, кроме любви и страсти. Выступления будут в алфавитном порядке... (Кончил — как оторвал, и, вполоборота, к девяти музам) — Товарищ Адалис?

Вечер поэтесс состоялся в Москве в Политехническом музее 11 декабря 1920 года. Адалис — псевдоним Аделины Ефимовны Ефрон (1900—1969).

2—644

И. Н. Розанов. Из дневника

Начало сентября 1921 года. 3-го дня умерла Анна Ахматова, и Полонский просил Сергея Боброва отзыв его о «Подорожнике» переделать в некролог. О Гумилеве Полонский сказал, что об этом мерзавце не стоит и говорить, что-то в этом роде...

Марина Цветаева. Письмо к Анне Ахматовой

31 русского августа 1921 г. <13 сентября 1921 г.>

Дорогая Анна Андреевна! Все эти дни о Вас ходили мрачные слухи, с каждым часом упорнее и неопровержимее. Пишу Вам об этом, потому что до Вас все равно дойдет — хочу, чтобы по крайней мере дошло верно. Скажу Вам, что единственным — с моего ведома — Вашим другом (друг — действие!) — среди поэтов оказался Маяковский, с видом убитого быка бродивший по картонажу «Кафе Поэтов».

Убитый горем — у него, правда, был такой вид. Он же и дал через знакомых телеграмму с запросом о Вас, и *ему* я обязана радостью известия о Вас... Об остальных (поэтах) не буду рассказывать — не потому, что это бы Вас огорчило: кто они, чтобы это могло Вас огорчить? — просто не хочется тупить пера.

Эти дни я — в надежде узнать о Вас — провела в кафе поэтов — чтó за уроды! чтó за убожества! чтó за ублюдки! Тут всё: и гомункулусы, и автоматы, и ржущие кони, и ялтинские проводники с накрашенными губами.

Вчера было состязание: лавр — титул *соревнователя* в действительные члены Союза. Общих два русла: Надсон и Маяковский. Отказались бы и Надсон и Маяковский. Тут были и розы, и слезы, и пианисты, играющие в четыре ноги по клавишам мостовой... и монотонный тон кукушки (так начинается один стих!), и поэма о японской девушке, которую я любил (тема Бальмонта, исполнение Северянина) —

Это было у моря,
Где цветут анемоны...

И весь зал хором:

Где встречается редко
Городской экипаж...

Но самое нестерпимое и безнадежное было тó, что больше всего ржавшие и гикавшие — сами такие же,— со вчерашнего состязания.

Вся разница, что они уже поняли немодность Северянина, заменили его (худшим!) Шершеневичем.

На эстраде — Бобров, Аксенов, Арго, Грузинов — Поэты.

И — просто шантанные номера...

Я, на блокноте, Аксенову: «Господин Аксенов, ради Бога — достоверность об Ахматовой». (Был слух, что он видел Маяковского) «Боюсь, что не досижу до конца состязания».

И учащенный кивок Аксенова. Значит — жива.

Дорогая Анна Андреевна, чтобы понять этот мой вчерашний вечер, этот аксеновский — мне — кивок, нужно было бы знать три моих предыдущих дня — несказáнных. Страшный сон: хочу проснуться — и не могу. Я ко всем подходила в упор, вымаливала Вашу жизнь. Еще бы немножко — я бы словами сказала, «Господа, сделайте так, чтобы Ахматова была жива!» <...> Утешила меня Аля: «Марина! У нее же — сын!»

Вчера после окончания вечера просила у Боброва командировку: к Ахматовой. Вокруг смеются. «Господа! Я вам десять вечеров подряд буду читать бесплатно — и у меня всегда полный зал!»

Эти три дня (без Вас) для меня Петербурга уже не суще-

ствовало — да что́ Петербурга... Вчерашний вечер — чудо: «Стала облаком в славе лучей».

На днях буду читать о Вас — в первый раз в жизни: питаю отвращение к докладам, но не могу уступить этой чести другому! Впрочем, все, что я имею сказать, — осанна!

Кончаю — как Аля кончает письма к отцу:

Целую и низко кланяюсь.

МЦ.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ КЛУБ

Пушкинская, угол Гоголевской
В пятницу 28 октября
состоится
ВЕЧЕР ПАМЯТИ

АННЫ АХМАТОВОЙ

ПРОГРАММА

1. Слово проф. А. А. Смирнова. 2. Доклад о творчестве А. Ахматовой — проф. Н. К. Гудзий. 3. Стихи из сборн. «Четки», «Белая стая», «Подорожник» (последний сборн.) — прочтут А. М. Бугославская и А. А. Смирнов. 4. Романсы Сергея Бугославского на слова А. Ахматовой — исп. Л. Д. Цейтлин-Розенбелова. У рояля М. А. Мокульская.

Начало ровно в 8 $^{1}/_{2}$ час. вечера.

Билеты от 3000 до 6000 руб. в нотном магазине Цитрона (Екатерининская 8). В день вечера от 5 час. в клубе.

Цитата из дневника литературоведа Ивана Никаноровича Розанова (1874—1959) приводится по книге: *Чудакова М.* Жизнеописание Михаила Булгакова. М., 1988, с.157—158. По одной из ходивших тогда версий, Ахматова смертельно заболела, простудившись на похоронах Блока. Одновременно возник слух о смерти Городецкого, и по Москве пошло выражение о смерти четырех поэтов — «Золотой падеж». Полонский Вячеслав Павлович (1886—1932) — редактор журнала «Печать и революция». Его предложение, сделанное С. П. Боброву, откликнулось зловещей остротой последнего, когда он рецензировал статью Юлия Айхенвальда об Ахматовой: «Стыдо-

бушка! В 1922 году некролога путно написать не умеем» (*Печать и революция,* 1922, № 6, с. 288).

В письме Марины Цветаевой упоминается поэт Иван Александрович Аксенов (1884—1935), который некогда был одним из двух шаферов на свадьбе Ахматовой и Гумилева.

Афиша вечера памяти Ахматовой, состоявшегося в Симферополе в 1921 году, была подарена Ахматовой поэтессе Марии Шкапской с надписью «М. М. Шкапской на память о вечере памяти. Анна Ахматова. 23 декабря 1924» (ЦГАЛИ). Выступавший на вечере литературовед Александр Александрович Смирнов (1883—1962) был давним знакомым Ахматовой. На книге «Четки» она сделала ему дарственную надпись — цитату из неизвестного ее стихотворения:

«Когда умрем, темней не станет,
А станет, может быть, светлей.

Париж, 1911»

9 декабря 1924 года А. А. Смирнов писал М. А. Волошину: «Сологуб ничего не пишет, Кузмин пишет небольшие стихотворения, об Ахматовой ничего не слышно. Поэтам и писателям, которые для меня ценны и дороги, не только негде печататься, но и оглашать свои произведения почти не приходится» (сообщено А. В. Лавровым).

В расчеты этой группы входило изъять меня из обращения, пот<ому> что у них была готовая кандидатка на эту вакансию. Потому и в своих бульварных мемуарах Георгий Иванов («Пет<ербургские> зимы») так описывает эти вечера.

> В маленький зал «Дома Литераторов» не попало и десятой части желавших услышать Ахматову. Потом вечер был повторен в Университете. Но и огромное университетское помещение оказалось недостаточным. Триумф, казалось бы?
>
> Нет. Большинство слушателей было разочаровано.
>
> — Ахматова исписалась.
>
> Ну, конечно.
>
> Пять лет ее не слышали и не читали. Ждали того, за что Ахматову любили — новых перчаток с левой руки на правую. А услышали совсем другое:
>
> Все потеряно, предано, продано...
> Отчего же нам стало светло?
> И так близко подходит чудесное,
> К развалившимся грязным домам.
> Никому, никому неизвестное,
> Но от века желанное нам.
>
> Слушатели недоумевали — «большевизм какой-то»*. По старой памяти хлопали, но про себя решали: кончено — исписалась.
>
> Критика с удовольствием подхватила этот «глас народа». Теперь каждый, следящий за литературой гимназист знает — от Ахматовой ждать нечего.
>
> Верно — нечего. Широкая публика, делавшая когда-то славу Ахматовой, славу в необычном для настоящего поэта порядке, шумную, молниеносную — Ахматовой обманута. Все курсистки России, выдавшие ей «мандат» быть властительницей их душ — обмануты.

Надо признаться, что этой страничке необычайно повезло. Я видела ее и по-английски **, и по-итальянски ***.

Однако справедливость требует отметить, что в ней (как, впрочем, и во всех писаниях Г. Иванова) нет ни слова правды.

В начале 20-ых годов вышли мои книги — впервые большие тиражи (5000) и немедленно были распроданы (15 тыс<яч>): «Подорож<ник>» и «Anno Domini» (Алянский — «Алконост», Блох — «Petropolis»).

Ни по-английски, ни по-итальянски нет конца абзаца,— там, наоборот, мое якобы «падение» было окончательным и бесповоротным. Я якобы сама осознала его (в 22 году) и перестала писать стихи до самого 1940 г<ода>, когда почему-то вышло «полное» собрание моих сочинений, тогда же вышла какая-то книга «Ива». Так называется в сборнике «Из шести книг» 1-ый отдел, никогда отдельно не выходивший и который содержал горсточку стихов из тех, что я писала с 22 по 40 год (название по первому стихотв<орению> «Ива», это в самом деле «Тростник»). Что же касается полноты сборника, то само заглавие опровергает это утверждение. Но иностранцам почему-то хочется замуровать меня в 10-ые годы и ничто, даже тиражи моих книг, не могут их разубедить. С 1940 по 1961 г<од> были напечатаны в СССР девяносто пять тысяч экземпляров мною написанных книг, и купить сборник моих стихов — невозможно. Что же касается начала 20-ых годов (так называемый НЭП), то после того, что К. Чуковский противопоставил меня Маяковскому («Две России»), В. Виноградов написал известную статью «Стилистика А<хматов>ой», Б. М. Эйхенбаум — целую книгу (1922), моими стихами занимались формалисты, о них читали доклады и т. д. Все это действительно (как, впрочем, все в моей жизни) кончилось довольно печально. В 1925 г<оду> ЦК вынес пост<ановление>, (не опублик<ованное> в печати) об изъятии меня из обращения. Уже готовый двухтомник («Петроград» Гессена) был запрещен и меня перестали печатать.

В частности, я считаю, что стихи (в особенности лирика) не должны литься, как вода по водопроводу и быть ежедневным занятием поэта. Действительно, с 1925 г<ода> по 1935 я писала немного, но такие же антракты были у моих

современников (Пастернака и Мандельштама). Но и то немногое не <могло> появляться из-за пагубного культа личности. Кроме того, я писала тогда царскосельскую поэму «Р<усский> Т<рианон>», кот<орая> не сохранилась, пот<ому> что я расслышала в ней Онегинскую интонацию (отд<ельные> стр<офы> нап<ечатаны>).

* Какой большевизм, прошу убедиться в послесловии Ал. Суркова (1961) к моей книге.
** Страховский (Шацкий), с. <74>.
*** Примечания в Антологии поэзии XX в. 1961. Эйнауди.

Литературное обозрение, 1989, № 5.

В этой заметке Ахматова говорит о группе бывших учеников Гумилева (Г. В. Иванове, Н. А. Оцупе, И. Одоевцевой, отчасти — Г. В. Адамовиче), которая, по мнению Ахматовой, стремилась дискредитировать ее в глазах эмигрантского читателя — с тем, чтобы предложить свою кандидатуру на роль первой русской поэтессы. В цитате из книги Георгия Иванова «Петербургские зимы» (1928) описан один из вечеров Ахматовой поздней осенью 1921 года.

+ + +

Пива светлого наварено,
На столе дымится гусь...
Поминать царя да барина
Станет праздничная Русь —

Крепким словом, прибауткою
За беседою хмельной,
Тот — забористою шуткою,
Этот — пьяною слезой.

И несутся речи шумные
От гульбы да от вина:
Порешили люди умные:
— Наше дело — сторона.

1921. Рождество
Бежецк

КЛЕВЕТА

И всюду клевета сопутствовала мне,
Ее ползучий шаг я слышала во сне
И в мертвом городе под беспощадным небом,
Скитаясь наугад за кровом и за хлебом.
И отблески ее горят во всех глазах,
То как предательство, то как невинный страх.
Я не боюсь ее. На каждый вызов новый
Есть у меня ответ достойный и суровый.

Но неизбежный день уже предвижу я,—
На утренней заре придут ко мне друзья,
И мой сладчайший сон рыданьем потревожат,
И образок на грудь остывшую положат.
Никем не знаема, тогда она войдет,
В моей крови ее неутоленный рот
Считать не устает небывшие обиды,
Вплетая голос свой в моленья панихиды.
И станет внятен всем ее постыдный бред,
Чтоб на соседа глаз не мог поднять сосед,
Чтоб в страшной пустоте мое осталось тело,
Чтобы в последний раз душа моя горела
Земным бессилием, летя в рассветной мгле,
И дикой жалостью к оставленной земле.

1 (14) января 1922

Корней Чуковский. Из дневника

1922

14 февраля. Был вчера у Ахматовой. На лестнице темно. Подошел к двери, стукнул — дверь сразу открыли: открыла Ахматова — она сидит на кухне и беседует с «бабушкой», кухаркой О. А. Судейкиной. «Садитесь! Это единственная теплая комната...» Я стал говорить, что стихи «Клевета» холодны и слишком классичны. «То же самое говорит и Володя (Шилейко). Он говорит, если бы Пушкин пожил еще лет десять, он написал бы такие стихи. Не правда ли, зло?..» Дала мне сардинок, хлеба. Много мы говорили об Анне Николаевне, вдове Гумилева... «Предлагали мне Наппельбаумы стать Синдиком «Звучащей раковины». Я отказалась».

Я сказал ей: у вас теперь трудная должность — вы и Горький, и Толстой, и Леонид Андреев, и Игорь Северянин — все в одном лице, даже страшно.

И это верно: слава ее в полном расцвете; вчера Вольфила устраивала «Вечер» ее поэзии, а редакторы разных журналов то и дело звонят к ней — с утра до вечера: «Дайте хоть что-нибудь».

Надежда Чулкова. Из воспоминаний

Когда я, кажется, в 1922 году, была в Ленинграде у сестры Георгия Ивановича — Ходасевич, Анна Андреевна, узнав, что я приехала, пришла к Ходасевич и пригласила меня побывать у нее. Это было время голода. Анна Андреевна угощала меня лепешками своего печения. От Анны Андреевны нельзя было ждать особенных кулинарных способностей,— тем трогательнее было ее усердие приготовить своими руками вкусное кушанье из сомнительного материала (настоящая мука в то время была редкостью). Тогда она жила в большом мрачном доме на Фонтанке.

Владислав Ходасевич. Торговля

<...> В последний раз торговал я весной 1922 года.

Раз в неделю я брал холщевый мешок и отправлялся на Миллионную, в Дом Ученых, за писательским пайком. Получающие паек были разбиты на шесть групп — по числу присутственных дней. Мой день был среда. Паек выдавался в подвале, к которому шел длинный коридор; по коридору выстраивалась очередь, представлявшая собой как бы клуб. Здесь обсуждались академические и писательские дела, назначались свидания. К числу «средников» принадлежали, между прочим, Ю. Н. Тынянов, Б. В. Томашевский, Виктор Шкловский, а из поэтов — Гумилев и Владимир Пяст. Случалось, что какой-нибудь пайковой статьи (чаще всего — масла и сахару) не выдавали по нескольку недель, возмещая ее чем-нибудь другим (увы, подчас,— просто лавровым листом и корицей). Однажды, сильно задолжав перед получателями пайков, Дом Ученых выдал нам сразу по полпуда селедок. Предстояла, следовательно, задача продать селедки и на вырученные деньги купить масла. Дня через два я отправился на Обводный канал. Рынок шумел. Я выбрал место, поставил на землю мешок, приоткрыв его, чтобы виден был мой товар, и стал ждать покупателей. Конечно, надо было бы кричать: «А вот, а вот свежие голландские сельди! А вот они, сельди где!» — или что-нибудь в этом роде. Но я чувствовал, что из этого у меня ничего не выйдет.

Меж тем, отсутствие рекламы, сего двигателя торговли, давало себя знать. Люди шли мимо, не останавливаясь. Глядя по сторонам довольно уныло, шагах в двадцати от себя я увидел высокую, стройную женщину, также молча стоявшую перед таким же мешком. Это была Анна Андреевна Ахматова. Я уже собирался предложить ей торговать вместе, чтобы не скучно было, но тут подошел покупатель, за ним другой, третий — и я расторговался. Селедки мои оказались первоклассными. Чтобы не прикасаться к ним, я предлагал покупателям собственноручно их брать из мешка. Потом руками, с которых стекала какая-то гнусная жидкость, пропитавшая и весь мешок мой, они отсчитывали деньги, которые я с отвращением клал в карман. Несмотря на высокое качество моих селедок, некоторые покупатели (особенно — женщины) капризничали. Еще со времен Книжной Лавки Писателей я усвоил себе золотое правило торговли, применяемое и в парижских больших магазинах: «Покупатель всегда прав». Поэтому я не спорил, а предлагал недовольным тут же возвращать товар или обменивать, причем заметил, что только что забракованное одним приходилось как раз по душе другому. Впрочем, должен отметить и другое мое наблюдение: покупатели селедок несравненно сознательней и толковее, нежели покупатели книг.

Распродав все и купив масло, я уже не нашел Ахматовой на прежнем месте и пошел домой...

Выдержки об Ахматовой из дневника К. И. Чуковского напечатаны в журнале «Новый мир», 1987, № 3. В записи Чуковского упоминаются актриса Ольга Афанасьевна Глебова-Судейкина (1885—1945), с которой Ахматова жила тогда в одной квартире (Фонтанка, 18), вторая жена Гумилева Анна Николаевна Энгельгардт (1895—1942), поэтессы Фредерика и Ида Наппельбаум, вдохновительницы кружка учеников Гумилева «Звучащая раковина» и Вольная философская ассоциация (Вольфила).

Воспоминания Надежды Григорьевны Чулковой (1874—1961), жены поэта Георгия Ивановича Чулкова (1879—1939), цитируются по публикации в сборнике «Перспектива — 87» (М., 1988).

Очерк Владислава Фелициановича Ходасевича (1886—1939) «Торговля» напечатан в журнале «Огонек», 1989, № 13.

Марк Вишняк. Из статьи «На родине»

...Пестра и сложна Россия. Среди оставшихся, конечно, не все скептики и не только пессимисты. Немало таких «равнодушных и спокойных» по внешнему виду, трагически и героически спокойных, как Анна Ахматова, которая остается верной своим после-брестским переживаниям:

Когда в тоске самоубийства,
Народ гостей немецких ждал,
И дух суровый византийства
От русской церкви отлетал,
Мне голос был. Он звал утешно,
Он говорил: «Иди сюда,
Оставь свой край глухой и грешный,
Оставь Россию навсегда...»

. . . .

Но равнодушно и спокойно
Руками я замкнула слух,
Чтоб этой речью недостойной
Не осквернился скорбный дух.

Кто не преклонится перед величием духа Даниила, очутившегося во рву львином?

Статья эсеровского публициста Марка Вениаминовича Вишняка (1883—1977) напечатана в парижском журнале «Современные записки», 1922, № 10.

Процитированное стихотворение Ахматовой вызвало самый взволнованный отклик среди тогдашних читателей. Как известно, Блок сказал по его поводу К. И. Чуковскому и С. М. Алянскому: «Ахматова права. <...> Убежать от русской революции — позор». В русском пражском журнале «Воля России», 1922, № 3, излагается беседа с только что перешедшим границу соотечественником, который, прочитав наизусть это ахматовское стихотворение, сказал: «Вы чувствуете, что здесь каждое слово, каждый образ и вся композиция стиха объясняют те переживания, ту историческую эпоху, которую переживала за эти четыре года русская интеллигенция».

Письмо в редакцию журнала
«Литературные записки»

В литературном приложении к газете «Накануне» от 30 апреля с. г. были напечатаны мои стихотворения: «Как мог ты...» и «Земной отрадой сердце не томи...» со следующим примечанием: «Печатаемые здесь два новых стихотворения Анны Ахматовой должны появиться в России в альманахах "Утренники" и "Парфенон"». Оба стихотворения доставлены редакции «Накануне» без моего согласия и ведома.

А. Ахматова. 1922.

Николай Евреинов. Из книги «Нестеров»

К счастью для Нестерова, не вся Россия оказалась сплошь Россией Маяковских, требовавшей «выволакивать забившихся под Евангелие Толстых за ногу худую по камням бородой!» — осталась — по броской дифференциации Корнея Чуковского,— еще Россия Ахматовых, где все представляется «оцерковленным», где далеко не изжит еще чисто-русский «соблазн самоумаления, смирения, страдальчества, кротости, бедности», Россия молящаяся, «чтобы туча над темной Россией стала облаком в славе лучей», и всем сердцем верующая, что:

Нашей земли не разделит
На потеху себе супостат,
Богородица белый расстелет
Над скорбями великими плат.

И недаром для нашей христианнейшей поэтессы, олицетворяющей Россию, полярную «России Маяковских», для

Анны Ахматовой последнего периода ее творчества, Ахматовой, называющей стихи свои «четками», а глаза «пророческими», для этой поэтессы у влюбленного в нее критика нашлось только одно убедительное среди целого ряда сравнение: «...она точно вся опрозрачена,— пишет К. Чуковский,— превратилась в икону, и часто кажется, что она написана Нестеровым. Ее православие нестеровское,— объясняет он тут же,— не византийское, удушливо-жирное, а северное, грустное, скудное, сродни болотцам и хилому ельнику».

Я преступница, я церкви взрываю,
И у пламени, буйствуя, пляшу.—

поет у костра революции Анна Баркова.

Я у Бога вымолю прощение
И тебе, и всем, кого ты любишь —

поет, словно в ответ, в своем белом скиту, другая Анна — Анна Ахматова.

Анна Баркова и Анна Ахматова!

«Анна» значит по-еврейски «милость Божия». Две России сейчас словно эти две Анны — эти «милости Божии!» (потому что и испытание может быть «милостью Божией» в глазах верующего!).

На взгляд К. Чуковского — «похоже, что вся Россия раскололась теперь на Ахматовых и Маяковских». А на мой взгляд, что в религиозном отношении (я имею в виду только его) Россия раскололась на Ахматовых и Барковых; потому что Маяковский, в конце концов, богохульничает, но с оглядкой, и еще недавно в его стихотворениях попадались такие строки:

«Вот я богохулил,
Орал, что бога нет,
А бог такую из пекловых глубин,
что перед ней гора заволнуется и дрогнет —
вывел и велел
любить!»

Или, например:

«Если правда, что ты есть,
Боже,
Боже мой,
если звезд ковер тобою выткан,
если этой боли,
ежедневно множимой
Тобой ниспослана, Господи, пытка» и т. д.

Для Барковых нет никаких «если», никаких «пекловых глубин» как произведений рук Божьих! — существует лишь абсолютно чуждая сомнений радость «освободительного мига», когда гнетущая небесная сила «сбрасывается на камни с плеча».

На чьей стороне конечная правда — на стороне ли России Ахматовых или России Барковых — трудно сказать вызывающе-определенно! Верней всего, как это и бывает обыкновенно в истории, при агонической борьбе двух заостренных до последней остроты правд,— истина где-то посредине, возможно, в некоем новом, свободном от старинных догм и пут, рационально-религиозном завете.

Важно в данную минуту не это! Важно то, что после этого небывалого доселе раскола в России (много было расколов в России, но такого еще не бывало!), раскола грандиозного, как сама русская Революция, его обусловившая,— прежней России, «Ахматовской России» не бывать больше во всем ее самодовлеющем, непререкаемом, всепоглощающем величии!

Когда одна Россия в своих песнях «оцерквляет» природу, а другая Россия в своих песнях «церкви взрывает»,— неизбежен результат взаимодействия кислоты и щелочи!

Книга выдающегося русского режиссера Николая Николаевича Евреинова (1879—1953) о художнике М. В. Нестерове издана в 1922 году в Петрограде.

Первая и единственная книга стихов Анны Александровны Барковой (1901—1976) «Женшина» вышла в Петрограде в 1922 году с предисловием А. В. Луначарского. В 1934 году Баркова была арестована и осуждена по 58-й статье на 5 лет, во время войны оказалась на оккупированной территории и в 1947 году вновь была арестована, в 1956 ее освободили с поражением в правах, но за «не-

осторожные строки в частном письме» (Таганов Л.— *Огонек*, 1988, № 35) была снова арестована в 1957 все по той же 58-й статье и лишь в 1965 году, благодаря хлопотам А. Т. Твардовского дело Барковой было пересмотрено и она реабилитирована.

Н. Осинский. Побеги травы
(*Заметки читателя*)

...Мы раньше сказали, что Ахматова и новые читатели стоят на разных полюсах и что общественная ориентация у ней, несомненно, старой буржуазной закваски. Но Анна Ахматова поняла, что революция есть коренной, внутренний сдвиг всей нашей жизни, что сделал ее (беря термины, соответствующие ее общественной точке зрения) русский народ, а не «самозванцы и насильники» и что этот перелом уже не повернуть вспять. Она чувствует также, что какая-то новая, свежая жизнь (пусть критики извинят и нас за штампованные слова) возникает из потрясенной революции. И вот она пишет стихотворение, блестяще формулирующее это движение ее души (а вместе с тем движение души целой серии людей из той же среды и с таким же жизненным опытом). И это стихотворение дает отзвук уже и в наших сердцах, кое-что поэтически формулирует и для нас.

Все расхищено, предано, продано,
Черной смерти мелькало крыло,
Все голодной тоскою изглодано,
Отчего же нам стало светло?

Днем дыханьями веет вишневыми
Небывалый под городом лес,
Ночью блещет созвездьями новыми
Глубь прозрачных июльских небес,—

И так близко подходит чудесное
К развалившимся грязным домам...
Никому, никому неизвестное,
Но от века желанное нам.

Когда это стихотворение рецензировалось в эмигрантских газетах, то обычно политическое нравоучение рецензенты выводили такое: вот, дескать, как велик героизм тех, кто остался в пещере львиной (а не сбежал за границу, подобно почтенным Гессенам и Каминкам!). Все расхищено, предано, продано и пр. и пр.— а еще есть сила надеяться на лучшее будущее, чуять «вишневые дыхания» и надеяться на близость «чудесного». И рецензенты только намекали (нельзя же подводить Ахматову перед большевиками, раскрывая до конца ее секреты), что, дескать, это чудесное,— по всей видимости — генералы Врангель и Кутепов.

Одна беда: рецензенты не сообразили, что Н. Рыкова, коей посвящено стихотворение, является женой «большевистского комиссара». И, по-видимому, под чудесным приходится подразумевать не двух упомянутых славных — в войне со своими соотечественниками, генералов. И в расхищении, предательстве, продаже, очевидно, также нет того намека, который ищут господа эмигранты. Действительно, многое расхищено, предано и продано всей той мутью, которая поднялась вместе с революцией (в том числе порядочно подобных подвигов совершилось на юге России, Архангельске, Сибири и пр., продолжалось и в Константинополе). И тем не менее на города революции веет «вишневыми дыханиями»; на небе революции восходят «новые созвездия»; и подходит чудесное, которое еще никому не было известно (в особенности мудрецам Гессену и Каминке), но от века было нам желанно.

Не обругала тут революцию Ахматова, а воспела ее, воспела то прекрасное, что родилось в огне ее и подходит все ближе, что мы еще завоюем, вырвавшись из уз голода и нужды. И надо сказать ей спасибо за то, что она так звучно об этом пропела, что мы яснее слышим чудесный вишневый запах и видим на небе новые звезды.

Если Ахматова сумела все это услышать и увидеть, то это потому, что она никогда не покидала и не хотела покидать Россию (из чувства национального, не вследствие революционного чутья). Есть стихотворение, написанное ею в 1917 году, в то время, «когда в тоске самоубийства (так ей тогда казалось — *Н. О.*) народ гостей немецких ждал». В нем она рассказывает:

Мне голос был. Он звал утешно.
Он говорил: «Иди сюда,
Оставь свой край глухой и грешный,
Оставь Россию навсегда.
Я кровь от рук твоих отмою,
Из сердца выну черный стыд,
Я новым именем покрою
Боль поражений и обид».
Но равнодушно и спокойно
Руками я замкнула слух,
Чтоб этой речью недостойной
Не осквернился скорбный дух.

Вот поэтому-то и не следует цитировать господам заграничным рецензентам Анну Ахматову, шапка может загореться. А мы скажем: хотя мы имеем дело с человеком не нашего склада, но у него есть важнейшее, что нужно всякому хорошему поэту — честная душа и гражданское сознание. А при такой основе можно изжить «черный стыд», «боль поражений и обид» и прийти к пониманию нового «чудесного», неизвестного раньше, можно приблизиться к новому читателю <...>.

Проплывают льдины, звеня,
Небеса безнадежно бледны.
Ах, за что ты караешь меня,
Я не знаю моей вины.

Если надо — меня убей,
Но не будь со мною суров.
От меня не хочешь детей
И не любишь моих стихов.

Все по-твоему будет: пусть!
Обету верна своему,
Отдала тебе жизнь, но грусть
Я в могилу с собой возьму.

Есть ли в этом стихотворении хоть одна лишняя строчка? Быть может, есть лишнее, мусорное слово — «обет»: ведь не по обету здесь отдана жизнь, а по вольному желанию — тут

над Ахматовой тяготеет вся груда православно-религиозных предрассудков, которые она тащит за собой в своих стихах. Но лишней строчки нет: в двенадцати строках дана сжатая и яркая формула неудавшейся женской любви. Если такая любовь несовершенна, то несовершенна и наша жизнь; но самая формула совершенна.

Мы не знаем, пойдет ли Ахматова дальше по тому пути, который мелькает в первом цитированном нами стихотворении. Если пойдет, то может стать одним из любимых поэтов нового читателя. Если нет,— останется тем, что она есть — лучшим русским поэтом нашего времени.

Правда, 1922, 4 июля.

В статье упоминаются генерал от инфантерии Александр Павлович Кутепов (1882—1930?), генерал-лейтенант барон Петр Николаевич Врангель (1878—1928), кадетские публицисты Иосиф Владимирович Гессен (1865—1943) и Август Исаакович Каминка (1865—1940), а также жена советского государственного деятеля А. В. Рыкова Нина Семеновна Рыкова, член партии с 1903 года, по ошибке принятая за близкую подругу Ахматовой Наталью Викторовну Рыкову (1897—1928), жену литературоведа Г. А. Гуковского. Среди многочисленных окриков, упреков и шпилек, последовавших в адрес автора этой статьи, были и отклики собратьев Ахматовой по поэтическому цеху, например: «...продолжает "красиво тосковать" Анна Ахматова ("У самого моря", "Лето господне"), но если это и нравится т. Осинскому, то, думаем, только потому, что в его-то характере тоскливость отсутствует совершенно: нравится в порядке контраста». (*Н. Асеев*. Поэзия наших дней.— *Авангард*, 1922, № 1 (август), с. 14).

С. Родов. Из статьи «Литературное сегодня»

...Совершеннейший конфуз вышел у тов. Осинского с А. Ахматовой. Не говорим уже о безнадежной попытке, основываясь на посвящении Н. Рыковой, выдать контрреволюционное стихотворение за революционное; соль в другом. В рассуждениях тов. Осинского о стихах Ахматовой ра-

скрывается опаснейшее явление, грозящее нашей партии. Эту опасность недавно формулировал тов. Бухарин на своем докладе в Большом театре, и имя ей: перерождение наших передовых кадров под влиянием буржуазной идеологии.

Всем известно, что А. Ахматова — мистичка, монастырка, реакционна по своей идеологии, и, следовательно, нам определенно враждебна. Этого не может отрицать и сам тов. Осинский.

«Старая общественная ориентация А. Ахматовой еще (?) не потеряна, и новые читатели, подобные нам, стоят с ней на разных полюсах общественной жизни; не вызывают в нашей душе никакого отзвука и религиозно-мистические штрихи, рассыпанные в ее стихотворениях...» <...>

«Тут над Ахматовой тяготеет вся груда православно-религиозных предрассудков, которые она тащит за собой в своих стихах».

Как после таких характеристик должен отнестись к поэту коммунист? Ясно. Он должен заявить: «Поэт этот не наш, враждебен нам, и мы должны бороться и с его общественной ориентацией, и с его нездоровой любовью, и с его православно-религиозными предрассудками».

Вместо этого тов. Осинский восклицает: «Но что нам до этого? Все это мы сумеем отодвинуть в сторону и получить великое удовольствие от «формулировок» значительных или характерных движений человеческой души, которые дает А. Ахматова».

Вот это-то и скверно, что важнее всего «получить удовольствие», а до остального (пустячок-с, идеология!) некоторым никакого дела нет.

«Бойтесь данайцев, даже приносящих дары».

Бойтесь того, чтобы вместе с блестящими формулировками не просочился в ваше сознание яд буржуазного разложения. Ведь не для десятков же только высококультурных и испытанных Осинских пишет Ахматова! А что, если тысячи, десятки тысяч, привлеченных к Ахматовой статьями тов. Осинского, не сумеют «отодвинуть в сторону» гнойного яда ее стихов? Что, если, наряду с «великим удовольствием», воспримут они и нездоровую любовь и православно-религиозные предрассудки?

Да по правде сказать, и душа человеческая, о которой пишет Ахматова и от которой получает удовольствие Осинский, насквозь прогнила, ибо душа-то буржуазная. Стоит ли в ней копаться?

Молодая гвардия, 1922, № 6—7, с. 308—309.

Семен Абрамович Родов (1893—1968) — стихотворец, активный деятель РАППа.

А. Коллонтай. Письма к трудящейся молодежи

Письмо 3-е

О «Драконе» и «Белой птице»

Вы спрашиваете меня, мой юный товарищ-соратница, почему вам и многим учащимся девушкам близка и интересна Анна Ахматова, «хотя она совсем не коммунистка»? Вас тревожит вопрос, совместимо ли увлечение писателями, в которых живет «чуждый нам дух», с настоящим пролетарским мировоззрением?

<...> Передо мной лежат три белых томика Анны Ахматовой — «Четки», «Белая стая» и «Anno Domini 21».

Перелистав эти томики, прежде всего отвечаю вам: Ахматова вовсе не такая нам «чужая», как это кажется с первого взгляда. В ее трех белых томиках трепещет и бьется живая, близкая, знакомая нам душа женщины современной переходной эпохи, эпохи ломки человеческой психологии, эпохи мертвой схватки двух культур, двух идеологий — буржуазной и пролетарской. Анна Ахматова на стороне не отживающей, а создающейся идеологии.

Ахматова не просто «поэтесса», каких много, переживающая то, что уже не раз говорили великие писатели уходящей культуры и говорили сильнее и ярче слабых подражательниц-поэтесс. Ахматова — сама творец. И, как поэт-творец, она привносит в искусство, а, значит и в знание человеческой души то, что не сумели сказать до нее крупнейшие буржуазные поэты.

Ахматова поет не о «женщине» вообще, а о женщине нового склада, той, что своим трудом пробивает себе жизнен-

ный путь. <...> Чтобы дать место женщине в деле создания основ новой культуры, надо прежде всего знать, какова же та внутренняя работа, какая творится в душе женской трудовой массы в переходный момент, момент ломки понятий и взглядов. В этом смысле три белых томика Анны Ахматовой представляют несомненный интерес, и я рада, что ваш запрос, моя юная товарка, заставил меня глубже продумать эту писательницу. Пусть Анна Ахматова умеет осветить нам лишь один изгиб женской души, пусть вскрывает нам лишь те переживания женщины, что сопричастны «загадке любви». Но сейчас, на переломе, и это важно. Не надо забывать: именно во взаимоотношениях полов сейчас совершается величайшая в истории человечества революция, и идеология пролетариата заключает в себе ответ на эту неразрешимую при буржуазной культуре «загадку».

Конечно, Анна Ахматова не коммунистка, и потому ей чужд и незнаком тот законченный тип новой женщины борца, строителя, деятеля, который в своих недрах, в суровой борьбе уже выковывает рабочий класс. Тех женщин, которые для себя разрешили в том или ином виде проблему любви и которые перед грозной для женщины переходного времени властью Эроса сумеют всегда отстоять свое человеческое «я», не утратив скреп с коллективом. Но много ли таких законченных типов «новых женщин»? Большинство, огромное большинство женщин либо во власти пережитков буржуазной культуры, либо, в лучшем случае, на «переломе». Не только крестьянки, жены рабочих и мелких служащих, но и многие жены «партийных работников» живут основами буржуазной идеологии. Они даже еще не на переломе.

Они и в жизнь и в любовь вносят весь тот багаж, каким питались еще наши матери. Их уму и сердцу белые томики Ахматовой ничего не скажут... Но работницы (широкие массы, не единицы), учащаяся молодежь, женщина трудящаяся на всех поприщах — на «переломе».

<...> Вы любите Ахматову за то <...>, что в ее томиках запечатлены трудные поиски пути, ведущего женщину в храм духовно-нового человечества.

Заметьте, самые светлые, бодрые и радостные по настроению стихи Ахматовой рисуют нам переживания жен-

щины, когда она стоит одна, вне круга любовных радостей и пыток, когда она просто работает. Полноту радости женщина Ахматовой ощущает не тогда, когда находится в объятиях любимого, а когда она несет суровый труд, вкладывая крупицу и своей энергии в сокровищницу коллективного творчества. Труд — вот что дает счастье, говорит нам Ахматова в стихотворении «Покинув рощи». С умилением вспоминает она:

«О, зимние таинственные дали,
О, милый труд и легкая усталость...»

Бодрую радость труда дополняет общение с духовно-созвучным товарищем, не избранником сердца, а именно товарищем и другом, общение с которым бодрит и обогащает душу, а не беднит ее «приспособлением» к другому.

«Музы наши близки
Беспечной и пленительною дружбой,
Как девушки, не знавшие любви...»

Вам и вашим товаркам близка и родственна Ахматова именно тем, что воспетая ею женщина уже вышла из круга семейно-брачных интересов, содержание жизни ее не замыкается любовью, и в груди она носит уже «белую птицу», но еще не настолько закалена борьбой, чтобы уметь совмещать творчество, труд, слияние с жизнью коллектива и праздник жизни — любовь. В любви женщина еще не умеет противиться «дракону», как не научился еще мужчина ценить в женщине «белую птицу». Но все чаще выпрямляется женщина, член трудового коллектива, становясь как равная возле своего товарища по жизни, все чаще бросает она своему недавнему владыке:

«Тебе покорной? Ты сошел с ума!..»

Не мужа ищет женщина с «белой птицей» в душе, а т о в а р и щ а п о ж и з н и. <...>

Молодая гвардия, 1923, № 2(9).

Александра Михайловна Коллонтай (1872—1952) — советский партийный деятель, член ВЦИК, дипломат. В 1920—1922 годах примыкала к «рабочей оппозиции».

Н. Чужак. Из книги «Литература. Художественная политика РКП. Всероссийский Пролеткульт»

Душа «пролетарской идеологии», уполномочившей объясняться за себя т-ща А. Коллонтай, желает, как видно, «кисленького». Радости и пытки, нежно-крылое размягчение воли, эротическая многогранность плюс эстетика бессонных ночей,— все это, унаследованное прямиком от г-жи Анны Ахматовой, необычайно привлекает, если верить тов. А. Коллонтай, душу «пролетарской идеологии».

<...> Ясно, что никакая «пролетарская идеология» в ее «учительстве» не ночевала, и все эти псевдо-марксистские ее рассуждения о «нежном» «общении со всеми членами коллектива» есть только жалкая попытка подновить ахматовскую «нежность» марксистской терминологией. <...>

Отнюдь не беря на себя роли «учителя жизни», равно и не пытаясь представлять самую что ни есть «пролетарскую идеологию» на земле, а разве что не будучи совсем слепым да рассуждая с головой не на отлете,— можно видеть, что количественно любовь не сможет, и не будет играть такой несоразмерной роли в жизни ближайших, по крайней мере, поколений рабочего класса, какую играла она в жизни отмирающей духовно-пресыщенной буржуазии. <...> Упомянутая занятость трудящихся, отсутствие эротических романов и зрелищ, которыми питались предыдущие поколения и отчасти еще питаемся мы, изгнание из обихода жизни вообще всего расслабляющего ум и волю человека, плюс введение здоровых тренировок, ритмомеханизма, спорта,— еще более застрахуют трудящихся от исключительного культа «Эроса», крылатого и бескрылого одинаково.

В заключение — о «крылатости» и «бескрылости».

Думается, что вопрос этот разрешится не столько в связи с пожеланиями и вкусами г-жи Ахматовой и ее коммунистических поклонников и поклонниц, сколько в согласии с реально намечающимися тенденциями и социальной действительностью и перспективами трудящихся. <...>

Революция низвергла уже столько «нежных» оков и столько обнажила всяких блесток бытия и быта,— психологии, религии, искусства, представления о «праве»

и т. д.,— что поколениям незавершенной революции меньше всего придется помышлять о реставраторстве.

Подобно тому, как в эстетике рабочий класс ушел от истин, предполагающих размягчение потребительской воли и ухождение от реальности в область пассивного созерцания «переживаний» и «сладких вымыслов»,— так, думается — и в плоскости «вопроизводства рода», именуемого любовью, трудовое человечество, без особого для себя ущерба, обойдется без «чарующей нежности» половых психопатов, священнодействующих в «бессонной ночи» и боящихся перевести свои «душевные» эмоции на язык науки.

Трудовое человечество охотно предоставит большевиствующим ахматисткам ворковать о «нежно-крылом Эросе» и «пытках», прогуливаясь по «густолиственных кленов аллеям» и общаясь «со всеми членами коллектива»,— но оно уже не только не хочет, но просто не сможет пойти по этой, вовсе не новой, дорожке, ибо — перед целым рядом, по крайней мере, человеческих поколений стоят императивные задачи полной перестройки «всего сущего», при осуществлении которой неистасканные ум и воля очень и очень пригодятся...

«Н. Чужак» — псевдоним Николая Федоровича Насимовича (1876—1937), журналиста и критика, члена РСДРП с 1904 года. Среди других откликов на статью А. Коллонтай была и реплика Б. И. Арватова «Гражд. Ахматова и тов. Коллонтай»: «И нет никакого сомнения, что стихи Ахматовой могут в молодых работницах воспитать лишь невротические, покорно-страдальческие эмоции, эстетизируя их, снабжая их привлекательной рамкой рифм, ритмов и пр.» (*Молодая гвардия*, 1923, № 4/5, с. 151).

\+ + +

Дьявол не выдал. Мне все удалось.
Вот и могущества явные знаки.
Вынь из груди мое сердце и брось
Самой голодной собаке.

Больше уже ни на что не гожусь,
Ни одного я не вымолвлю слова.
Нет настоящего — прошлым горжусь
И задохнулась от срама такого.

Сентябрь 1922

МНОГИМ

Я — голос ваш, жар вашего дыханья,
Я — отраженье вашего лица.
Напрасных крыл напрасны трепетанья,—
Ведь все равно я с вами до конца.

Вот отчего вы любите так жадно
Меня в грехе и в немощи моей,
Вот отчего вы дали неоглядно
Мне лучшего из ваших сыновей.
Вот отчего вы даже не спросили
Меня ни слова никогда о нем
И чадными хвалами задымили
Мой навсегда опустошенный дом.
И говорят — нельзя теснее слиться,
Нельзя непоправимее любить...

Как хочет тень от тела отделиться,
Как хочет плоть с душою разлучиться,
Так я хочу теперь — забытой быть.

1922

Геннадий Панин. Встреча с Ахматовой

В феврале 1923 года я оказался в Петрограде и получил назначение заведовать клубом Военно-технической школы красного воздушного флота, что помещалась на Ждановской набережной Петербургской стороны. Мне посчастливилось узнать, что Анна Ахматова в Петрограде, что она временно живет в квартире отсутствующего художника Судейкина, на набережной Фонтанки (в 1964 году Лев Озеров в очерке «У Анны Ахматовой», помещенном в «Литературной России», так писал об этой квартире поэтессы:

«...Это Фонтанный дом — один из самых старых в Питере, а дубы во дворе этого дома старее самого Питера. Многое видели узкие окна этого дома. Здесь тридцать пять лет прожила Ахматова, здесь прошли лучшие ее годы, и под лучшими ее стихами проставлено: такой-то год, Фонтанный дом...») <...>

Я раздобыл ее адрес. И однажды днем запущенная лестница многоквартирного петроградского дома привела меня к заветной двери. На звонок открыла старая женщина. Узнав, к кому я, она указала — где следовало висеть моей красноармейской шинели и куда я должен был положить свою «буденовку», затем ввела в просторную, со вкусом убранную комнату. Обращали на себя внимание многочисленные старинные иконы, украшавшие одну из стен. Вошла Ахматова,— не узнать ее было нельзя: я видел ее изображения несчетное число раз, знаменитую ее «челку» забыть было невозможно. Встретила она меня приветливо. Я пробыл у нее больше часа. Разговор раньше всего коснулся, естественно, гибели близкого ей человека (рана была свежа). Ахматова поведала, что расстрел Николая Гумилева явился для нее неожиданностью: влиятельные друзья до последней минуты заверяли ее, что несчастье будет предотвращено.

Узнав, что я только что из Крыма, ряд лет отрезанного от Петрограда гражданской войной, Ахматова стала меня расспрашивать о литературной жизни в Крыму за последние пять лет, о застрявших в Крыму поэтах и писателях. Имена Максимилиана Волошина, Георгия Золотухина,

Константина Тренева, Тихона Чурилина для нее не были лишь одними звуками. Я поделился с ней тем, что знал. Она со вниманием меня слушала. В это время в комнату вошел худенький мальчик — сын Ахматовой и Гумилева, что-то спросил у матери и сейчас же ушел.

Я попросил Ахматову прочесть несколько стихотворений. Не заставляя себя уговаривать, она достала тетрадку в клеенчатой обложке, (такими тетрадями обыкновенно пользуются школьники,) исписанную характерным женским почерком, прочла несколько стихотворений. На прощанье она подарила мне незадолго перед этим вышедший сборник ее стихов «У самого моря». Написала на нем чернильным карандашом несколько слов, мне на память. Маленькая деталь: разглядывая тетрадь с ее стихами, я обратил внимание, что они написаны исключительно чернильным карандашом. Спросил — разве она не пользуется пером. Ахматова, улыбнувшись, ответила: она во всех случаях предпочитает карандаш, даже ее издатели получают рукописи в карандаше.

Вторично, в последний раз, я видел Анну Ахматову в Петрограде же, в том же году, 16 июня на «Вечере поэтов», где выступала и она. Но на этот раз я сидел в публике.

Мне выпало счастье провести час в беседе с той, чьи стихи всегда радовали меня, чьи строки близки сердцу и сегодня. Этот час для меня драгоценен, и я благодарю судьбу, мне его подарившую.

Современник, Торонто, 1977, № 35—36.

Из упоминаемых Г. Паниным живших в Крыму писателей мало известен и потому особенно интересен Тихон Иванович Чурилин (1885—1946), поэт скорее футуристической ориентации. Как раз в эту пору Т. Чурилин писал: «Анна Ахматова была наиболее характерной «акмеисткой»: скупость слов, лаконичность, уточненность языка совместила она с большой остростью и интимностью тем содержания стихов; большинство их о любви, чисто женски, ограниченно, узко» (*На вахте*. Грозный, 1924, № 3, с. 13). В очерке Г. Панина описан не Фонтанный дом, а квартира на Фонтанке, 18.

Л. Троцкий. Из книги «Литература и революция»

<...>Но так ли уж верно, что «нео-классика» Ахматовой, Верховского, Леонида Гроссмана и Эфроса есть «дитя и суть революции»? Насчет «сути» это уж, конечно, схвачено сгоряча. Но если «нео-классика» есть «дитя революции», то не в том же ли самом смысле, как и... НЭП? <...>

Революция вовсе не так нетребовательна, чтобы признать своими тех поэтов, которые несмотря на революцию, не потеряли сна и не убежали за границу. У Ахматовой есть сильные строки на эту тему: почему она не ушла к тем. И это очень хорошо, что не ушла. Но вряд ли сама Ахматова думает, что ее песни от революции.

Троцкий Л. Литература и революция. М., 1923.

Имеется в виду группа «неоклассиков», объединившихся вокруг московского альманаха «Лирический круг» (искусствовед А. М. Эфрос, литературовед Л. П. Гроссман, поэт Ю. Н. Верховский и др.).

Ф. М. Левин. Из статьи «Ушей не спрятать...»

После нудного и скучного рассказа Федина перед нами Ахматова. Слушаешь и диву даешься.

> Скажи мне, ветка Палестины,
> Где ты росла, где ты цвела...

Это из Лермонтова.
А вот из Ахматовой:

> Или будешь ты моею,
> Или я тебя убью!

А вот из Пушкина:

> Где вы, товарищи, где я,
> Скажите Вакха ради!

Убей меня бог бутылкой рому, никак не пойму. Как будто в тот момент, когда написала Ахматова свое первое стихотворение, сказал «некто в сером» — «Время, остановись»! И стало все и с тех пор стоит все.

Бароны пируют,
Барон фон Гринвальдус,
Сей доблестный рыцарь,
Все в той же позицьи
  На камне сидит.

Так же чопорно сжаты губы, так же певуче дрожит голос, так же исходят от нее духи французские, не то шипр Коти, не то Убиган...

Пять с лишним лет революции прошли над Ахматовой, не задев даже ее великолепной прически. Скучно... и смешно.

Студент Зиновьевского университета Ф. Левин. Ушей не спрятать...— *Литературный еженедельник*. 1923. № 20—21, с. 11. Левин Федор Маркович (1901—1972) — литературный критик. Статья представляет собой отчет о литературном вечере в клубе Зиновьевского (Коммунистического) университета в Таврическом дворце. В вечере участвовали также Е. Замятин, М. Зощенко, М. Слонимский, К. Федин, Е. Полонская. Через сорок лет автор отчета вспоминал: «Разумеется, теперь я не написал бы так. Но мог ли я понять тогда всю сложность пути Ахматовой и ее отношений с революционной эпохой? Добавлю, что еще подростком, до революции, я знал многие стихи Ахматовой наизусть, восхищался ими («Сжала руки под темной вуалью...», «Звенела музыка в саду...», «Я пришла к поэту в гости...»). Но в первые годы революции мною владел тот непримиримый ригоризм, который был характерен и для всего моего поколения. Позже мне стало известно, что Маяковский, конечно, знавший и понимавший поэзию Ахматовой, боролся с ее влиянием. Выступая однажды, он в полемическом задоре спел на мотив «Ухаря-купца»: «Слава тебе, бесконечная боль, умер вчера сероглазый король» (*Левин Ф.* Страницы литературного прошлого.— *Нева,* 1966, № 4, с. 185).

Г. Лелевич. Анна Ахматова

(Беглые заметки)

В III-ей главе своей нашумевшей статьи «Побеги травы» («Правда» за июль 1922 года) Н. Осинский произносит целый панегирик Анне Ахматовой и даже утверждает, что последней «после смерти А. Блока бесспорно принадлежит первое место среди русских поэтов». Не знаю, оценивает ли сам Осинский серьезность и ответственность этого утверждения. Первый поэт страны в величайшую из эпох всеобщей истории — это не шутка, это не просто признание большого таланта или мастерства поэта. От первого поэта страны требуется большее.

<...> Поэтическую характеристику Ахматовой я начну с выяснения социальной природы ее творчества. Какая социальная среда взрастила Ахматову? Чьи чувства и мысли выражает поэтесса?

<...> Критики уже давно отметили, что поэзия Ахматовой представляет из себя как бы сплошную автобиографию, как бы сплошной дневник. Эта черта позволяет довольно точно восстановить социальную обстановку, в которой сформировалась Ахматова (речь, понятно, идет не об индивидууме, а о поэте). Начнем с детства. Ахматова выросла в нужде, в низах, без образования? Нет!

В ремешках пенал и книги были,
Возвращалась я домой из школы.

Поэтесса выросла. Где живет она? В хате землероба, в фабричном квартале, на мансарде? Вот небольшое стихотворение, дающее поистине классический ответ:

Течет река неспешно по долине,
Многооконный на пригорке дом,
А мы живем, как при Екатерине,
Молебны служим, урожая ждем.
Перенеся двухдневную разлуку,
К нам едет гость вдоль нивы золотой,
Целует бабушке в гостиной руку
И губы мне на лестнице крутой.

Разве не пахнуло от этих строк (кстати, помеченных 1917 годом!) «дворянским гнездом» времени Маниловых и Товстогубовых, Рудиных и Лаврецких? Но, быть может, это стихотворение случайно и не типично? Вот другой яркий образец:

Весенним солнцем это утро пьяно,
И на террасе запах роз слышней,
А небо ярче синего фаянса.
Тетрадь в обложке мягкого сафьяна;
Читаю в ней элегии и стансы,
Написанные бабушке моей.
Дорогу вижу до ворот, и тумбы
Белеют четко в изумрудном дерне,
О, сердце любит сладостно и слепо!
И радуют пестреющие клумбы,
И резкий крик вороны в небе черной,
И в глубине аллеи арка склепа.

Обстановка совершенно недвусмысленная: сафьяновый альбом бабушки, терраса, клумбы, фамильный склеп. С этой картиной вполне гармонирует и комната поэтессы:

Протертый коврик под иконой;
В прохладной комнате темно,
И густо плющ темнозеленый
Завил широкое окно.
От роз струится запах сладкий,
Трещит лампадка, чуть горя.
Пестро расписаны укладки
Рукой любовной кустаря.
И у окна белеют пяльцы...

Но культурная и утонченная воспитанница «дворянского гнезда» двадцатого века не может замкнуться в скорлупке своего родового имения. Она не может избегать большого города. Каков же городской быт Ахматовой?

Да, я любила их, те сборища ночные,—
На маленьком столе стаканы ледяные,
Над черным кофеем пахучий, тонкий пар,

3—644

Камина красного тяжелый, зимний жар,
Веселость едкую литературной шутки
И друга первый взгляд, беспомощный и жуткий.

Это — дома, а вот — на улице:

...Ускоряя ровный бег
Как бы в предчувствии погони,
Сквозь мягко падающий снег
Под синей сеткой мчатся кони.
И раззолоченный гайдук
Стоит недвижно за санями,
И странно ты глядишь вокруг
Пустыми светлыми глазами.

И здесь картина ясная: литературные журфиксы у камина с шампанским и черным кофе, прогулки на рысаках с раззолоченным гайдуком.

Перед нами — тепличное растение, взращенное помещичьей усадьбой. <...>

На посту, 1923, № 2—3, с. 177—180.

«Г. Лелевич» — псевдоним Лабори Гилелевича Кальмансона (1901—1937), члена РКП с 1917 года, партработника, одного из руководителей Всероссийской ассоциации пролетарских писателей. В 1928 году он был исключен из партии за принадлежность к оппозиции, позднее восстановлен, а в конце 1934 года арестован. Расстрелян.

По поводу своего «критического метода» Г. Лелевич впоследствии разъяснял: «Прежде всего, относительно пересказа прозой лирических излияний поэта, которым (пересказом) я, будто бы, подменил социологический анализ. Дело в том, что еще Гумилев, Эйхенбаум и др. буржуазные критики отметили, что поэзия Ахматовой представляет собою как бы сплошную автобиографию, как бы сплошной дневник. Поэтому я счел себя вправе воспользоваться автобиографическими черточками, рассыпанными в лирике Ахматовой, для воссоздания социальной обстановки, в которой сформировалась Ахматова» (*Г. Лелевич.* Снова о наших литературных разногласиях.—*Печать и революция,* 1925, № 8, с. 72).

Корней Чуковский. Из дневника

14 ноября 1923

Был вчера у Ахматовой. Она переехала на новую квартиру — Казанская, 3, кв. 4. Снимает у друзей две комнаты. Хочет ехать со мною в Харьков. Теплого пальто у нее нет: она надевает какую-то фуфайку «под низ», а сверху легонькую кофточку. Я пришел к ней сверить корректуру письма Блока к ней — с оригиналом. Она долго искала письмо в ящиках комода, где в великом беспорядке — карточки Гумилева, книжки, бумажки и пр. «Вот редкость» — и показала мне на французском языке договор Гумилева с каким-то французским офицером о покупке лошадей в Африке. В комоде много фотографий балерины Спесивцевой — очевидно, для О. А. Судейкиной, которая чрезвычайно мило вылепила из глины для фарфорового завода статуэтку танцовщицы — грациозно, изящно. Статуэтка уже отлита в фарфоре — прелестная. «Оленька будет ее раскрашивать». <...> Так как Анне Андреевне нужно было спешить на заседание Союза писателей, то мы поехали на трамвае № 5. Я купил яблок и предложил одно Ахматовой. Она сказала: «На улице я есть не буду, все же у меня — гайдуки *, а вы дайте, я съем на заседании». Оказалось, что в трамвае у нее не хватает денег на билет (трамвайный билет стоит теперь 50 миллионов, а у Ахматовой денег всего 15 миллионов). «Я думала, что у меня 100 миллионов, а оказалось десять». Я сказал: «Я в трамвае широкая натура, согласен купить вам билет». «Вы напоминаете мне,— сказала она,— одного американца в Париже. Дождь, я стою под аркой, жду, когда пройдет, американец тут же и нашептывает: «Мамзель, пойдем в кафе, я угощу вас стаканом пива». Я посмотрела на него высокомерно. Он сказал: «Я угощу вас стаканом пива, и знайте, что это вас ни к чему не обязывает»...»

---

* «Гайдук» упоминается в ее стихах о царе. Теперь критики, не зная, о ком стихи, стали писать, что Ахматова сама ездит с гайдуками.

ЛОТОВА ЖЕНА

Жена же Лотова оглянулась позади его
и стала соляным столпом.

Книга Бытия

И праведник шел за посланником Бога,
Огромный и светлый, по черной горе.
Но громко жене говорила тревога:
Не поздно, ты можешь еще посмотреть
На красные башни родного Содома,
На площадь, где пела, на двор, где пряла,
На окна пустые высокого дома,
Где милому мужу детей родила.
Взглянула — и, скованы смертною болью,
Глаза ее больше смотреть не могли;
И сделалось тело прозрачною солью,
И быстрые ноги к земле приросли.

Кто женщину эту оплакивать будет?
Не меньшей ли мнится она из утрат?
Лишь сердце мое никогда не забудет
Отдавшую жизнь за единственный взгляд.

1922-1924

НОВОГОДНЯЯ БАЛЛАДА

И месяц, скучая в облачной мгле,
Бросил в горницу тусклый взор.
Там шесть приборов стоят на столе,
И один только пуст прибор.

Это муж мой, и я, и друзья мои
Встречаем новый год.
Отчего мои пальцы словно в крови
И вино, как отрава, жжет?

Хозяин, поднявши полный стакан,
Был важен и недвижим:
«Я пью за землю родных полян,
В которой мы все лежим!»

А друг, поглядевши в лицо мое
И вспомнив Бог весть о чем,
Воскликнул: «А я за песни ее,
В которых мы все живем!»

Но третий, не знавший ничего,
Когда он покинул свет,
Мыслям моим в ответ
Промолвил: «Мы выпить должны за того,
Кого еще с нами нет».

1923

Корней Чуковский. Из дневника

17 апреля 1924

Москва взбудоражена — кажется, мы чересчур разрекламированы. В «Эрмитаже» остановились также Замятин и Ахматова. Ахматову видел мельком, она говорит: не могу по улице пройти — такой ужас мои афиши. И действительно, по всему городу расклеены афиши: «прибывшая из Ленинграда только на единственный раз». Сейчас я зайду за нею и повезу ее в Консерваторию. Она одевается.

Из письма неизвестного москвича

Поэтесса Ахматова, в черном газовом платье с пластронами, похожа на черную птицу; когда начала читать, первое ее движение напомнило взметнувшуюся птицу. Читала хорошо, и чувствовалась в ней поэтесса «Божьей милостью». Можно ее не любить (за нытье, за однообразие любовных тем, за отсутствие современности — что у нас обязательно), но поэзия есть поэзия. Разве дело в теме! Во всем надо дать нутро и надо уметь это сделать.

Е. И. Замятин. Из письма к Л. Н. Замятиной

20 апреля 1924

Вечер «Современника» прошел так себе. Овации — настоящие — одной Анне Андреевне. В вечерних «Новостях» и сегодня в «Правде» — как и следовало ожидать — вечер обругали — легонько.

Б. Бобович. Из статьи «Литературные вечера: Вечер „Русского современника"»

<...> Кому было показать суровый пафос революций?. Этого не мог сделать Корней Чуковский, этого, вероятно, не хотел сделать Пильняк, об этом почти не позаботился Абрам Эфрос, отошел от современности и талантливый Замятин...

От Ахматовой этого требовать едва ли пришлось бы. Действительность требует к себе сугубого внимания. Отойти от нее, спрятать, как павлин в перья свою голову, чтобы только из-под гущи перьев одним глазом глядеть на мир божий, значит — игнорировать все, что зовет к жизни, к современности, к революции. <...>

А. Сергеев. Из статьи «Вчерашнее „сегодня“»

Потом Ахматова торжественно-монотонным распевом, точно по старообрядческим «крюкам», пропела что-то о мертвецах. <...> В зале сгустилась одеколонная атмосфера беспредметной эстетики и архивной пыли. <...> Подсохшие, пахнувшие нафталином, чопорные сюртуки так и не заметили, что их «сегодня» — «вчерашнее сегодня», похоже больше на засохший пеклеванник, который уже не лезет в глотку даже привычным едокам. Вчерашним людям вчерашняя снедь, конечно, вкуснее.

Вечер журнала «Русский современник» в ожидании выхода первого номера был проведен в Консерватории. Запись из дневника Чуковского цитируется по: *Чуковская Л.* Записки об Анне Ахматовой. II, с. 600. «Письмо из Москвы», подписанное «М», напечатано в: *Дни*, Париж, 1924, 4 мая. Письма Замятина к жене хранятся в Отделе рукописей и редких книг Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Статья Бориса Бобовича помещена в «Вечерней Москве» 18 апреля 1924 года, а статья, подписанная «А. Сергеев» — в «Правде» 19 апреля. В вечере, помимо перечисленных в отчете, принял участие и актер Михаил Чехов, читавший подготовленные к публикации в журнале тексты «Козьмы Пруткова».

...Струве не подозревает, что после вечера Русского Современника в Москве в 1925 г. было первое постановление. Даже упоминание моего имени (без ругани) — было запрещено. Оно выброшено из всех перечислений — оно просто не существует. Г-ну Струве кажется мало, что я тогда достойно все вынесла, он, якобы занимаясь моей поэзией и издавая толстенный том моих стихов, предпочитает вещать: «Ее звезда закатилась», и бормочет что-то о новом рождении в 1940 г. Но почему же тогда «Четки» и «Белая стая», которые переписывали от руки и искали у букинистов, не находили себе издателя? Просто оттого, что книги находились в index librorum prohibitorum.

Двухтомник Гессена («Петроград», 1928) был запрещен. <...> Систематическая ругань (о которой г-н Струве умалчивает) началась примерно с Лелевича («На посту»). «Мы не можем сочувствовать женщине, которая не знала, когда ей умереть»,— писал Перцов, и это самая приличная фраза из его статьи («Жизнь искусства», 1925). (Позднее [1946] про Сергиевского в Москве говорили: «Он себе из Ахматовой шубу сшил», как про дачу Плоткина: «На ваших костях стоит»). Когда Осинский и Коллонтай попытались пикнуть, их немедленно усмирили. Простые смертные не смели рот открыть. (Книга Виноградова шла как научная, «Образ Ахматовой» — как рукопись). Очень мило звучат критические статьи того времени. Например: «Критика и контрреволюция». Можно еще заглянуть в тогдашнюю «Литературную энциклопедию» (!?)

Всем этим [...] г-н Струве пренебрегает. Он говорит о тяжко больной (находит даже туберкулез брюшины) женщине, которая чуть не каждый день читала о себе оскорбительные и уничтожающие отзывы и, если бы не поддержка верного читателя, вероятно, так или иначе погибла. Это были годы голода и самой черной нищеты. То странное «пособие», которое я получала, я делила между мамой и Левой

и жила на несколько рублей в месяц. Это тогда знали все, знают и теперь.

Затем, как может не придти в голову г-ну Струве, что в то время я писала нечто, что не только печатать было нельзя, но даже читать т. н. «друзьям»? (Таков был «Реквием»).

Софья Парнок. Из статьи «Б. Пастернак и другие»

<...> Истец от революции Троцкий в своей книге упрямо заявляет, что русская литература не оплачивает своих счетов революции.— Что же это значит? Разве за последнее шестилетие у нас не накопилось изрядного количества разнообразных и разноценных стихотворных записей, относящихся к различным моментам революционного периода? Разве нет у нас обстоятельных меню голода, написанных с истинным гурманством, перечней достижений в различных областях науки и техники с алфавитным указателем самых сегодняшних в этих областях имен (укажем хотя бы на рифмованный справочник Брюсова: «Дали»)? Разве мы не богаты стихотворными изложениями наиболее уместных политических настроений по отношению к нашим европейским и заокеанским друзьям и недругам, стихами первомайскими и октябрьскими, стихами ко дню рождения и ко дню смерти, ко дню сбора пожертвований на красный флот и т. д.? Разве мы не богатеем, наконец, инвентарем революционного быта? Разве ахматовская «перчатка с левой руки» не вытесняется совсем свежим, пахнущим сегодняшним днем «партбилетом» Безыменского? Казалось бы, чего проще? Наша современность — совокупность всех сверстанных нами дней. Добросовестно зарегистрируй их и сложи,— вот тебе и современность. А на деле выходит что-то позагадочней игры в кубики: вот рога, вот копыта, вот хвост,— складываешь, а зверя не получается.

<...> Ну, а что если вдруг окажется, что такая одинокая, такая «несегодняшняя» Ахматова будет современницей тем, кто придут завтра и послезавтра?

А что если взяткой сегодняшнему дню откупаешься от вечности?.. Разве так уж не нужна вам вечность, поэты сегодняшнего дня?

Статья поэтессы Софьи Яковлевны Парнок (1895—1933) была напечатана в первом номере «Русского современника». По поводу слов о том, что Ахматова будет современницей тем, «кто придут завтра и послезавтра...», Н. Смирнов в «Известиях» (17 августа 1924) заметил: «Здесь необходимо сделать глубочайшую зарубку, ибо именно здесь основная мысль автора, т. е. мысль той литературной группы, которую он представляет. Продолжая ее, можно зайти очень далеко. Останемся, однако, в узких «литературных» рамках». Об ахматовских стихах, помещенных в журнале, этот же автор замечал: «обессиленная чайка творчества в мучительно-сжатых руках побледневшей Ахматовой».

А. Лежнев. Из обзора «Среди журналов»

<...> Гораздо слабее, чем обычно, стихи Анны Ахматовой. В одном из них поэтесса оплакивает жену Лота, «отдавшую жизнь за единственный взгляд» на прошлое:

На красные башни родного Содома,
На площадь, где пела, на двор, где пряла.

Удивительно, как привязаны наши поэты к этому прошлому! Уж, кажется, и Содом оно, и мерзость, а все не могут никак удержаться, чтоб не обернуться к нему, не застыть в окаменелом восторге!

Обзор Абрама Захаровича Лежнева (1893—1937) напечатан в журнале «Красная новь», 1924, № 4.О дальнейшей судьбе этого несомненно талантливого литературоведа известно из воспоминаний сокамерника: «А вот два-три воспоминания из тюремных встреч. В камере № 45 Бутырской тюрьмы я встретился мимолетно с довольно известным марксистским «литературоведом» А. Лежневым,— в самое густо населенное время тюрьмы, осень 1937 г., когда нас на 24 койки было 140 человек. Дня три мы с ним пролежали рядом, плечо к плечу, на нарах (чтобы повернуться на другой бок, надо было встать, сделать оборот стоя, и потом уже снова втиснуться между двумя лежащими соседями). Он был совершенно растерян от недоумения, как могли арестовать его, верноподданного марксиста, автора нескольких лояльнейших критических книг!.. Через три дня его перевели во внутреннюю тюрьму на Лубянку, и дальнейшая его судьба мне неизвестна» (*Иванов-Разумник Р. В.* Писательские судьбы. Нью-Йорк, 1951, с. 23).

Г. Лелевич. Из статьи «Несовременный „Современник"»

<...> Прежде всего бросаются в глаза по обыкновению талантливые, сжатые и энергичные стихи Анны Ахматовой. Гибнет и рушится грешный Содом. Праведник Лот с семьею, не оглядываясь на погрязший в разврате город, идет за посланником бога. Но его жена, слишком сросшаяся с Содомом, не может так легко расстаться с ним. Тревога говорит ей:

Не поздно, ты можешь еще посмотреть
На красные башни родного Содома,
На площадь, где пела, на двор, где пряла,
На окна пустые высокого дома,
Где милому мужу детей родила.

Жена Лота, как известно, жестоко поплатилась за эту привязанность к прогнившему миру: она превратилась в соляный столб.

Кто женщину эту оплакивать будет,
Не меньшей ли мнится она из утрат?
Лишь сердце мое никогда не забудет
Отдавшую жизнь за единственный взгляд.

Можно ли желать более откровенного и недвусмысленного признания в органической связанности с погибшим старым миром? Можно ли желать еще более отчетливого доказательства глубочайшей нутряной антиреволюционности Ахматовой? Ахматова — несомненная литературная внутренняя эмигрантка. И подумать только, что высоко-просвещенному ком-меценату Н. Осинскому два года назад упорно хотелось разглядеть у этой последовательной и последней поэтессы дворянства какие-то проблески революционности! Надеюсь, что после стихов, помещенных в «Русском Современнике», даже тов. Осинский бросит разговорчики о близости к нам ахматовской поэзии. <...>

А София Парнок пытается в конце журнала подвести теоретическое обоснование под контрреволюционные писания Ахматовой, Сологуба и Замятина:

«Ну, а что, если вдруг окажется, что такая одинокая, такая «несегодняшняя» Ахматова будет современницей тем, кто придут завтра и послезавтра? А что, если взяткой сегодняшнему дню откупаешься от вечности? Разве так уж ненужна вам вечность, поэты сегодняшнего дня?»

Эти строки, полемизировать с которыми не стоит труда, доказывают, что появление в журнале контрреволюционных по существу произведений — отнюдь не случайность. Значительная часть сотрудников «Русского Современника» — дети старого мира, у которых — «все в прошлом», которые только живут мечтами об этом старом мире. Недаром во втором своем стихотворении Ахматова с таким пафосом повествует о фантастической пирушке пяти лежащих в земле джентльменов и лэди. Воистину стихи Сологуба и Ахматовой и рассказ Замятина, это — заздравные тосты на вечеринке мертвецов:

Хозяин, поднявши полный стакан,
Был важен и недвижим:
«Я пью за землю родных полян,
В которых мы все лежим!»

«Русский Современник» менее всего современен. К нему скорее применимо название, данное своим статьям 1917 года одним из ближайших сотрудников нового журнала Максимом Горьким,— «Несвоевременные мысли».

Но рядом с писателями старого мира, рядом с плакальщиками о дореволюционной России мы находим в «Русском Современнике» и ряд так называемых попутчиков, т. е. писателей, если и не революционных, то, во всяком случае, «приемлющих» революцию. Тут фигурирует Пильняк, Горький и т. д. Что объединило их с Ахматовой и Сологубом? На это нетрудно ответить. Великорусский национализм — вот платформа, на которой сошлись и обменялись рукопожатиями Ахматова и Горький, Чуковский и Пильняк. Самое название журнала подчеркивает его националистический уклон. «Русский современник»! Не говоря уже о термине «пролетарский» (этого никто и не требует), хотя бы поставили «Советский», наконец, «Российский». Нет, именно русский!

В. О. Перцов. Из статьи «По литературным водоразделам»

Еще в 1923 году Ахматова собрала на свой вечер в Москве полную аудиторию «советских барышень». Можем ли мы винить ее за то, что с ходом революции этот социальный тип намечен был к сокращению, и об Ахматовой, не испросив от нее полномочия, вспоминал с революционным сочувствием только Осинский в одном из своих сентиментальных фельетонов. А в обществе, унавоженном арцыбашевскими «половыми проблемами» — какая благородная и тонкая — не чета Арцыбашеву — была ей уготована слава. Все изощренное качество ахматовской лирики явилось как результат долговременного, тщательного, кропотливого приспособления любовно-романтической темы к привередливому спросу социально-обеспложенной части дореволюционной интеллигенции. Такие социальные кастраты с неразвившимся или выхолощенным чувством современности населяют еще и наши дни, и это они упоенно перебирают ахматовские «Четки», окружая писательницу сектантским поклонением. Но у языка современности нет общих корней с тем, на котором говорит Ахматова. Новые живые люди остаются и останутся холодными и бессердечными к стенаниям женщины, запоздавшей родиться или не сумевшей вовремя умереть, да и самое горькое ее страдание сочтут непонятной прихотью. Таков закон живой истории.

Зинаида Гиппиус. Из статьи «Литературная запись»

Там Анна Ахматова, женственная, такая, казалось, робкая, словно былинка гнущаяся — и не сломившаяся, и смелая в своих последних стихах, по-прежнему прекрасных.

Перцов В. По литературным водоразделам. 1. Затишье.— *Жизнь искусства,* 1925, № 43. Здесь ошибочно датирован ахматовский вечер в Москве, который состоялся в апреле 1924 года.

Статья З. Н. Гиппиус была напечатана под обычным ее псевдонимом «Антон Крайний» в парижском журнале «Современные записки», 1924, № 19.

\+ + +

О, знала ль я, когда в одежде белой
Входила Муза в тесный мой приют,
Что к лире, навсегда окаменелой,
Мои живые руки припадут.

О, знала ль я, когда неслась, играя,
Моей любви последняя гроза,
Что лучшему из юношей, рыдая,
Закрою я орлиные глаза.

О, знала ль я, когда, томясь успехом,
Я искушала дивную судьбу,
Что скоро люди беспощадным смехом
Ответят на предсмертную мольбу.

1925

ОТРЫВКИ ИЗ ЦАРСКОСЕЛЬСКОЙ ПОЭМЫ «РУССКИЙ ТРИАНОН»

I

В ЦАРСКОСЕЛЬСКОМ ПАРКЕ

(Девяностые годы)

В тени елизаветинских боскетов
Гуляют пушкинских красавиц внучки,
Все в скромных канотье, в тугих корсетах,
И держат зонтик сморщенные ручки.
Мопс на цепочке, в сумочке драже,
И компаньонка с Жип или Бурже.

II

Как я люблю пологий склон зимы,
Ее огни, и мраки, и истому,
Сухого снега круглые холмы
И чувство, что вовек не будешь дома.
Черна вдали рождественская ель,
Кричит ворона, кончилась метель.

III

И рушилась твердыня Эрзерума,
Кровь заливала горло Дарданелл...
Но в этом парке не слыхали шума,
Хор за обедней так прекрасно пел;
Но в этом парке тихо и угрюмо
Сияет месяц, снег алмазно бел.

IV

Прикинувшись солдаткой, выло горе,
Как конь, вставал дредноут на дыбы,
И ледяные пенные столбы
Взбешенное выбрасывало море —
До звезд нетленных — из груди своей,
И не считали умерших людей...

V

На Белой башне дремлет пулемет,
Вокруг дворца гусарские разъезды,
Внимательные северные звезды
(Совсем не те, что будут через год),
Прищурившись, глядят в окно Лицея,
Где тень Его над томом Апулея.

<1925—1940>

\+ + +

Так просто можно жизнь покинуть эту,
Бездумно и безбольно догореть,
Но не дано Российскому поэту
Такою светлой смертью умереть.
Всего верней свинец душе крылатой
Небесные откроет рубежи,
Иль хриплый ужас лапою косматой
Из сердца, как из губки, выжмет жизнь.

1925

ИЗ ЦИКЛА «ЭПИГРАММЫ»

Здесь девушки прекраснейшие спорят
За честь достаться в жены палачам.
Здесь праведных пытают по ночам
И голодом неукротимых морят.

1920-е гг.

Елена Данько. *К А...ой*

1

Не за то, что сердце человечье
Высоко над злобой вознесла,
Что в края веселые далече
Из страны родимой не ушла,
    Не за то ль, что песни ты слагала,
    Нищете и кротости верна,
    Что Господне имя повторяла,
    Ты теперь глумленью предана?
Горе тем, кто в узеньком оконце
До утра лампаду не тушил,
Кто стихов чеканные червонцы
Не сменял на стертые гроши!

2

Марсова поля просторы,
Серый из мрамора дом,
Бронзовый сторож Суворов,
Зори над светлым мостом,
    Ветры летящие мимо,
    Черные прутья оград,
    Грустный, ни с чем не сравнимый,
    Летний запущенный сад.
Вас я зову заклиная,
Всем расскажу я про ту,
Кто так пленительно знает
Каждую вашу черту.
    Слушай же звонкие строки
    Серый гранит площадей —
    Люди-то нынче жестоки,
    Камни не тверже людей.

Вот на краю троттуара
Семечки сыплет народ,
Вот уж прельщаются пары
Тенью глубоких ворот.

Запах томительно душный,—
Мусорный двор впереди.
Встал на пороге конюшни
Черный козел, погляди.
Лестница всходит под своды,
Тишь. Коридоры темны.
Точит звенящую воду
Кран у облезлой стены.
Вглубь коридорного мрака,
В двери налево ступай,
Стук твой разбудит собаку,
Громкий посыплется лай.
А за дверною доскою
Легкая поступь слышна,
Ласково пса успокоит,
Двери откроет — ОНА.

Шума тогда не услышишь,
День позабудешь и час,
Небо покажется выше
В зеркале ласковых глаз.
Век удлиненные крылья,
Словно изваянный рот,
Черные пряди закрыли
Шеи торжественный взлет.
Если, не зная покоя,
С детства глазами живу
Если мне можно такое
Видеть лицо наяву —
Не на старинной монете
И не на камне резном —
Значит — бывает на свете
То, что считается сном.
Значит, повериям внемля,
Люди поверить должны —
Гости приходят на землю
Из небывалой страны!

Рдеет Михайловский замок
В свете вечерней зари,
Вот за оконною рамой
Кто-то зажег фонари.
    Вижу я профиль склоненный,
    Легкие линии рук,
    Слухом слежу напряженным
    Речи таинственный звук.
Пусть над судьбой величавой
Злые проходят года —
Путь свой упрямый и правый
Ты не предашь никогда.

1 января 1926 г.

Марина Цветаева. Письмо к Ахматовой

Bellevue, 12-го ноября 1926 г.

Дорогая Анна Андреевна,

Пишу Вам по радостному поводу Вашего приезда — чтобы сказать Вам, что вот, в беспредельности доброй воли — моей и многих — здесь, на месте, будет сделано.

Хочу знать, одна ли Вы едете или с семьей (мать, сын). Но как бы Вы ни ехали, езжайте смело. Не скажу сейчас в подробностях Вашего здешнего устройства, но обеспечиваю Вам наличность всех.

Еще одно: делать Вы все будете как Вы хотите, никто ничего Вам навязывать не будет, а захотят — не смогут: не навязали же мне!

Переборите «аграфию» (слово из какой-то Вашей записочки) и напишите мне тотчас же: когда, одна или с семьей — решение или мечта.

Знайте, что буду встречать Вас на вокзале.

Целую и люблю — вот уже 10 лет (Лето 1916 г., Александровская слобода, на войну уходил эшелон).

М.

Знаете ли Вы, что у меня сын 1 г. 9 мес.— Георгий? А маленькая Аля почти с меня? (13 л.)

Адр.: Bellevue (Seine et Oise)
Près Paris, 31, Boulevard Verdun.

Отвечайте сразу. А адрес перепишите на стенку, чтобы не потерять.

КАВКАЗСКОЕ

Десять лет и год твоя подруга
Не слыхала, как поет гроза.
Десять лет и год святого юга
Не видали грешные глаза.

<1927. Кисловодск>

\+ \+ \+

И ты мне все простишь:
И даже то, что я не молодая,
И даже то, что с именем моим,
Как с благостным огнем тлетворный дым,
Слилась навеки клевета глухая.

1925

Е. И. Замятин. Из письма к Л. Н. Замятиной

Четверг. 29 августа 1929 г.

<...> Сегодня во время обеда (обедаю я все время здесь, на Волошинской даче) примчался Вересаев, залез (к ужасу Волошина) в клумбу и сунул мне в руки № «Комсомольской Правды» от 27.VIII. Через несколько минут прибежал Адрианов с номером «Лит. Газ.» от 26-го и «Веч. Красной» тоже от 26-го. Всеобщая паника: везде — статьи, адресованные Пильняку и мне: почему напечатан в «Петрополисе» роман Пильняка «Красное дерево», запрещенный у нас цензу-

рой, и почему напечатан в «Воле России» роман «Мы»? Все это связано с кампанией против Союза Писателей, начатой в «Лит. Газ» и «Комс. Правде». Если Вам удастся достать эти газеты — посмотрите; как водится — наиболее гнусно в «Комс. Правде», в «Лит. Газ.» — еще ничего. Пойду после чая, часов в 6, потолкую с Вересаевым; пожалуй, на сей раз придется отвечать в газете. <...>

Павел Лукницкий. Из дневника

13 октября 1929 года. Утром был у АА, позже у Б. Лавренева... К 6 вечера пошел в Союз писателей на общее собрание и перевыборы правления... В моем кармане заявление АА о выходе из Союза писателей: «В правление Союза писателей. Заявляю о своем выходе из Союза писателей. 13 окт. 1929. А. Ахматова». Но я не подал его...

31 декабря 1929 года. ...За это время был у АА несколько раз. На днях она приходила ко мне. Шереметевский дом передают в какую-то другую организацию, музей — упраздняется, вероятно, всех жильцов будут выселять весной. Куда же переедут Пунин с семьей и АА?

У них мало кто бывает... Вчера опять зашел к ней. Читает «Красное дерево» Пильняка по рукописи, текст исправленный, подготовленный для Госиздата. К ночи гуляли и много говорили о литературе и о том, как можно писать в современных условиях. Взгляд ее категорический: «настоящей литературы сейчас быть не может»...

АА живет по-прежнему тихо и печально. Холод в квартире, беспросветность и уныние. Встречи Нового года не будет — нет ни денег, ни настроения...

Выдержки приводятся по книге: *Лукницкая В.* Перед тобой земля. Л., 1988.

В августе 1929 г. началась знаменитая в истории советской литературы травля Бориса Пильняка и Евгения Замятина. Поводом к ней послужили публикация романа «Мы» в Праге в 1927 году и повести «Красное дерево» в Берлине в 1929 году. О «недопустимости» этих публикаций первым заявил Ефим Зозуля в своем письме в редак-

цию «Литературной газеты», которое было опубликовано 19 августа. Спустя неделю последовала в той же газете статья Бориса Волина «Недопустимое явление», одновременно аналогичные статьи стали появляться и в других изданиях.

В течение сентября появились результаты этой, по тем временам еще беспрецедентной, травли — Пильняк ушел с поста председателя Всероссийского союза писателей (ВСП), было переизбрано правление ВСП, в которое вошли Н. Огнев и Леонид Леонов, который и заместил Пильняка на посту председателя. Наконец, союз был переименован во Всероссийский союз советских писателей (ВСП), был принят новый устав, а вскоре опубликована резолюция о том, что ВССП «считает себя отрядом революционной интеллигенции, связавшей свои цели и задачи с целями и задачами пролетариата в едином плане борьбы за социализм».

Все это, по сути дела, отменяло то различие позиций, которое существовало между «писателями-попутчиками», объединявшимися в ВСП, и Авербахом, Фадеевым, Либединским и другими деятелями РАПП (Российской ассоциации пролетарских писателей).

В ответ на травлю Замятина и Пильняка и реорганизацию ВСП,— М. Булгаков, Б. Пастернак, А. Ахматова и ряд других литераторов вышли из ВСП, К. Федин демонстративно вышел из правления. Напротив, Ленинградское отделение союза поэтов вышло из состава Всероссийского союза поэтов и вошло в ВССП; деятельное участие в этой последней акции принимал Павел Лукницкий.

\+ + +

. . . .
О Боже, за себя я все могу простить,
Но лучше б ястребом ягненка мне когтить
Или змеей уснувших жалить в поле,
Чем человеком быть и видеть поневоле,
Что люди делают, и сквозь тлетворный срам
Не сметь поднять глаза к высоким небесам.

1920-е гг.

\+ + +

Хорош и Б. А. Филиппов, когда он, прославляя Заболоцкого, представляет дело так, что в 1929 году «кончился путь конквистадоров» (Николай Гумилев) и утихли «Александрийские песни» (Кузмин), а началась «Красная Бавария» Заболоцкого. А в самом деле в 1929 году кончилась тень свободы, и началась не «Красная Бавария», а сталинщина, что мы все не уехавшие слишком хорошо помним (например, «Красное дерево» Пильняка и «Мы» Замятина (см. также «Погорельщину» Клюева).

Осип Мандельштам

* * *

Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма,
За смолу кругового терпенья, за совестный деготь труда...
Как вода в новгородских колодцах должна быть черна
и сладима,
Чтобы в ней к Рождеству отразилась семью плавниками
звезда.

И за это, отец мой, мой друг и помощник мой грубый,
Я — непризнанный брат, отщепенец в народной семье —
Обещаю построить такие дремучие срубы,
Чтобы в них татарва опускала князей на бадье.

Лишь бы только любили меня эти мерзлые плахи,
Как, нацелясь на смерть, городки зашибают в саду —
Я за это всю жизнь прохожу хоть в железной рубахе
И для казни петровской в лесах топорище найду.

3 мая 1931

Надежда Мандельштам. Из «Книги третьей»

...Само стихотворение «Сохрани мою речь» не посвящалось никому. О. М. мне сказал, что только Ахматова могла бы найти последнее нехватавшее ему слово — речь шла об эпитете «совестный» к дегтю труда. Я рассказала об этом Анне Андреевне — «он о вас думал» (это его буквальные слова) потому-то и потому-то... Тогда Анна Андреевна заявила, что, значит, он к ней обращается и поставила над стихотворением три «А». Вполне допустимо, что так и было.

Цитируется по: *Надежда Мандельштам.* Книга третья. Париж, 1987, с. 156.

...Оттого, что мы все пойдем
По Таганцевке, по Есенинке
Иль большим маяковским путем...

С. Малахов. Из статьи «Лирика как орудие классовой борьбы»

Можно обнаружить довольно легко в произведениях акмеистов после Октябрьской революции их прямое политическое отношение к ней, довольно откровенно сквозящее в целом ряде стихотворений.

Достаточно вспомнить, например, гумилевского рабочего, занятого отливанием пули, «что меня с землею разлучит»,—классовое предвидение, сбывшееся с абсолютной точностью в 1921 году, когда был расстрелян пролетарской республикой Гумилев за участие в контрреволюционной организации. Не менее откровенные в своей классовой обнаженности строки можно найти в стихах Ахматовой после Октября:

Все расхищено, предано, продано...

На Малаховом кургане
Офицера расстреляли.
Без недели двадцать лет
Он глядел на божий свет.

Еще на западе земное солнце светит
И кровли городов в его лучах блестят,
А здесь уж белая дома крестами метит
И кличет воронов, и вороны летят.

| *Звезда*, 1931, № 9.

Д. Усов. Из письма к В. Рождественскому

22 марта 1931 года

Вы правы—жить надо во что бы то ни стало (это я первый готов повторить вслед за Вами). Но дело в том, что если глядеть теми глазами, которыми Вы смотрите на мир сейчас, сам я—именно мертвый человек. Вы знаете, что у меня есть чувство долга и ответственности,—но выше сил

моих видеть жизнь там, где для меня и мне подобных есть смерть и разрушение.

Вы смотрите на Анну Андреевну и говорите, что у Вас «духу не хватило сказать себе: ,,Каждый сам выбирает свою судьбу''». Но есть дороги, которые не мы выбираем и сойти с которых возможно только, уйдя из жизни.

В. Рождественский. Из письма к Д. Усову

20 мая 1931 года

<...> Все кругом меня уже изменили своему городу и мало думают о его царственной нищете.

Последний мой собеседник на эту тему — Анна Андреевна. Она, неожиданно для всех, вышла из своего затвора; теперь ее часто можно встретить в окрестностях Летнего Сада, на концертах, в ленкублитовской столовой. Стала она как-то легче и проще, но по-прежнему вся в черном — и только неизъяснимый ее профиль да руки остались у ней от былого величия. Современное поколение не узнает ее — а она не напоминает о себе.

Вчера беседа наша была грустной. А. А. спросила меня, правда ли, что на чужбине скончалась ее младшая товарка, Психея, Царь Девица. Для меня этот слух был новостью, и я не поверил ему. Что слышно по этому поводу в Москве?

Д. Усов. Из письма к Э. Голлербаху

10 августа 1931 года

Пожалуйста, напишите нам, что Вы знаете об Ахматовой. Мне даже странно слышать, что она где-то сняла комнату и, вообще, *живет*.

Д. Усов. Из письма к Е. Архиппову

11 сентября 1932 года

Он <Андрей Звенигородский>, кажется, очень и очень часто посещает О. Мандельштама и однажды встретился там с А. А. Ахматовой, о которой отзывается более чем сдержанно. В записной книжке <...> он *заставил* (форменным образом!) ее записать ему ее стихотворение «Не бывать тебе в живых». Она нацарапала его карандашом, с явным нежеланием.

Цитируемые письма поэта Всеволода Александровича Рождественского (1895—1977) к филологу Дмитрию Сергеевичу Усову (1896—1943) и черновики ответных писем предоставлены нам Львом Владимировичем Горнунгом. Письма Усова к искусствоведу Э. Ф. Голлербаху хранятся в Отделе рукописей и редких книг ГПБ, к литератору Е. Я. Архиппову — в ЦГАЛИ. По-видимому, Д. С. Усов еще не понимает, что могло означать «распространение» стихотворения, написанного по поводу ареста Гумилева. Князь Андрей Владимирович Звенигородский (1878—1961) — поэт. «Психея, Царь Девица» — Марина Цветаева.

Елена Тагер. Из воспоминаний

Не было ни анонсов, ни афиш,— никакой рекламы. Но довольно вместительный зал оказался набит битком. Молодежь стояла в проходах, толпилась в дверях.

Мандельштам читал, не снижая пафоса; как всегда, он стоял с закинутой головой, весь вытягиваясь,— как будто налетевший вихрь сейчас оторвет его от земли. Волосы, сильно уже поредевшие, все так же непреклонно вздымались над крутым и высоким лбом. Но складки усталости и печали легли уже на этот чистый лоб мечтателя.

«Он постарел!» — говорили в толпе.— «Облезлый какой-то стал! А ведь должен быть еще молод...»

Мандельштам читал о своем путешествии по Армении — и Армения возникала перед нами, рожденная в музыке и в свете. Читал о своей юности: «И над лимонной Невою, под хруст сторублевой, мне никогда не плясала цыганка»,— и

казалось, что не слова сердечных признаний, а сгустки сердечной боли падают с его губ. Его слушали, затаив дыхание,— и все росли, все усиливались аплодисменты.

Но по залу шныряли какие-то недовольные люди. Они иронически шептались, они морщились, они пожимали плечами. Один из них подал на эстраду записку. Мандельштам огласил ее: записка была явно провокационного характера. Осипу Эмильевичу предлагалось высказаться о современной советской поэзии. И определить значение старших поэтов, дошедших до нас от предреволюционной поры.

Тысячи глаз видели, как Мандельштам побледнел. Его пальцы сжимали и комкали записку... Поэт подвергался публичному допросу — и не имел возможности от него уклониться. В зале возникла тревожная тишина. Большинство присутствующих, конечно, слушало с безразличным любопытством. Но были такие, которые и сами побледнели. Мандельштам шагнул на край эстрады; как всегда — закинул голову, глаза его засверкали...

— Чего вы ждете от меня? Какого ответа? (Непреклонным певучим голосом): — Я — друг моих друзей!

Полсекунды паузы. Победным восторженным криком:

— Я — современник Ахматовой!

И — гром, шквал, буря рукоплесканий.

Приведенный отрывок из воспоминаний ленинградской поэтессы и прозаика Елены Михайловны Тагер (1895—1964) напечатан впервые в альманахе «Воздушные пути», IV (Нью-Йорк, 1965) — об этой публикации Ахматова говорит в беседе с Н. А. Струве. Е. М. Тагер рассказывает об одном из вечеров Мандельштама в Ленинграде весной 1933 года.

Юрий Олеша. Из книги «Ни дня без строчки»

Анны Ахматовой настоящая фамилия — Горенко. Она родилась под Одессой, на хуторе Нерубайском (как теперь говорят — на Одесщине). Мне приятно думать, что мы из одного края с ней. Ее рисовал Альтман. Горбоносая, худая. О ней писал Мандельштам: о ее голосе, что он «души расковывает недра», о ней самой, что она, по его представлениям, похо-

жа на Рашель — вот так, говорит он, как сидит сейчас перед ним Ахматова, «ложноклассическая Федра, сидела некогда Рашель!» Я считаю ее одним из талантливых поэтов в русском созвездии XX века. Когда я был гимназистом, она уже пользовалась славой. Войдя в известность как писатель, я все никак не мог познакомиться с ней. О себе я очень много думал тогда, имея, впрочем, те основания, что уж очень все «признали» меня. Наконец в Ленинграде, в Европейской гостинице, под вечер, когда я вошел в ресторан и сел за столик, ко мне подошел писатель П. и сказал:

— Идем, познакомлю с Ахматовой.

Я подошел. У меня было желание, может быть, задраться. Во всяком случае, она должна, черт возьми, понять, с кем имеет дело. Я сел за столик. Не знаю, произвело ли на нее впечатление мое появление. Я, как почти перед всеми тогда, кривлялся. И вдруг она заговорила. Она заговорила о том, что переводит «Макбета». Там есть, сказала она, строки, где герой говорит, что его родина похожа более на могилу, нежели на мать, и что люди на его родине умирают раньше, чем вянут цветы у них на шляпах. Все это ей нравится, сказала она. Вернее, не сказала, а показала лицом. Возможно, что, зная о моей славе, она тоже занялась такими же, как и я, мыслями: дать мне почувствовать, кто она. Это выходило у нее замечательно. Я чувствовал себя все тем же мальчиком, гимназистом.

Описываемая встреча, по-видимому, относится к 1933 году, а «писатель П.» — почти наверняка Борис Пильняк. Одно слово исправлено нами по цитируемому контексту — «могилой» вместо «мачехой», ибо у Шекспира сказано, что родина может быть названа могилой.

Черновик перевода сцены из «Макбета»

Макбет
Такого дня горячего не помню.
Банко
Как далеко до Форреса? Кто эти
Иссохшие и дикие созданья,
Которые не кажутся людьми
Земными. Живы ль вы, и можно ль
Вас вопросить? Что поняли меня,
Я заключаю из того, что пальцы
К своим губам мясистым приложили.
Вы женщинами быть могли бы, если
Не видел я бород на ваших лицах.
Макбет
Скажите нам, как можете: кто вы?
I ведьма
Да здравствует Макбет, Гламисский Тан!
II ведьма
Да здравствует Макбет, Кавдорский Тан!
III ведьма
Да здравствует Макбет, король в грядущем.
Банко
Зачем вы испугались, сударь мой,
Вестей столь чудных. Я во имя правды
Вас спрашиваю, наважденье ль вы,
Иль то, чем кажетесь. Партнера моего
Вы подарили честью в настоящем,
В грядущем обещали царский скипетр,
Так что встревожен он. А мне — молчание.
Коль можете взглянуть в посев времен
И указать то семя, что прозябнет,
Мне молвите, который не боится
И милостей не просит.

I II, III ведьма
Да здравствует!
I ведьма
О ты, и меньше Макбета и больше.
II ведьма
Не так счастлив, но более счастлив.
III ведьма
Царей родишь, хотя царем не будешь.
Итак, да здравствуют Макбет и Банко.
Макбет
Скажи мне, больше я узнать хочу.
По смерти Сайнела я Тан Гламисский.
Но как же Кавдор? Тан Кавдорский жив,
Счастливый дворянин. А стать царем —
Ведь это же не больше вероятно,
Чем Кавдором. Скажи, откуда
Вы это знаете? И для чего
Вы в ветреной степи остановили
Наш путь, пророча. Молви, я прошу.
Банко
Земля имеет пузыри, как воды,
И то они. Куда они исчезли?
Макбет
Растаяло, что в них казалось плотским,
Как бы дыханье в буре. Не остались!
Банко
И были ль те, о ком мы говорим,
Или мы съели ядовитый корень
И разум наш в плену.
Макбет
О, королями будут ваши дети.
Банко
Вы — королем.
Макбет
Да, и Кавдорским Таном. Не так ли было?
Банко
Да, так они сказали слово в слово. Кто здесь?
Росс
Король счастливо получил, о Макбет,
Весть о твоем успехе, и когда

4—644

О подвигах твоих он прочитал,
В нем удивление с хвалой боролось.
Не знал он, что тебя достойней. Смолк.
. . . .
Гонец являлся за послом и нес
Хвалу тебе в защите королевства
И изливал ее пред королем.

Ангус

Мы посланы благодарить тебя
И пригласить — а не несем награду.

Росс

И в знак . . . .
Король велел приветствовать тебя
Как Тана Кавдора.

Банко

Что! Может дьявол правду говорить?

Макбет

Тан Кавдора живет. Не облекайте
Меня в чужое платье.

Ангус

Тот, кто был Таном, правда, жив еще,
Но под тяжелым обвиненьем носит
Он эту жизнь, которой недостоин.
В связи ль он был с норвежцами иль тайно
Он помогал повстанцам, я не знаю.
Но, обвинен в измене государству,
Сознался он.

Макбет

Гламис и Тан Кавдорский,
А то, что больше, ждет меня в грядущем.
Благодарю за труд ваш.
Не будут ли царями ваши дети,
Затем что те, что мне сулили танство
Кавдорское, им обещали трон.

Банко

Вера в это
Должна в вас страсть к престолу возбудить...

| *Литературное обозрение*, 1989, № 5

\+ + +

...Среди этих приемов (не слишком добросовестных) обращает на себя внимание один: желание из всего написанного выделить первую книгу («Четки»), объявить ее livre de chevet[1] и тут же затоптать все остальное, т. е. сделать из меня нечто среднее между Сергеем Городецким («Ярь»), т. е. поэтом без творческого пути, и Франсуазой Саган — «мило откровенную» девочку.

Дело в том, что «Четки» вышли в марте 1914 и жизни им было дано два с половиной месяца. В то время литературный сезон кончался в конце мая. Когда мы вернулись из деревни, нас встретила — Война. Второе издание понадобилось примерно через год, при тираже одна тысяча экземпляров.

С «Белой стаей» дело обстояло примерно так же. Она вышла в сентябре 1917 года и из-за отсутствия транспорта не была послана даже в Москву. Однако второе издание понадобилось через год, т. е. ровно так же, как «Четки». Третье напечатал Алянский в 1922 году. Тогда же появилось берлинское (четвертое). Оно же последнее, потому, что после моей поездки в Москву и Харьков в 1924 году по постановлению ЦК меня перестали печатать. И это продолжалось до 1939 года, когда Сталин что-то лестное сказал обо мне (ни одна моя строчка не была напечатана)*.

Уже готовый двухтомник издательства Гессена («Петроград») был уничтожен, брань из эпизодической стала планомерной и продуманной (Лелевич в журнале «На посту», Перцов в «Жизни искусства» и т. д.), достигая местами 12 баллов, т. е. смертоносного шторма. Переводы (кроме писем Рубенса, 30-й год) мне не давали. Однако моя первая

---

[1] Любимая книга (букв. «книга, которую кладут в изголовье» — *фр.*).

пушкинская работа («Последняя сказка Пушкина») была напечатана в «Звезде». Запрещение относилось только к стихам. Такова правда без прикрас. И вот что я узнаю теперь о себе из зарубежной печати. Оказывается, после революции я перестала писать стихи совсем и не писала их до сорокового года. Но отчего же не переиздавались мои книги и мое имя упоминалось только в окружении площадной брани? Очевидно, желание безвозвратно замуровать меня в 10-е годы имеет неотразимую силу и какой-то для меня непонятный соблазн.

Это мое «молчание».

Осип Мандельштам

* * *

Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца,—
Там припомнят кремлевского горца.
Его толстые пальцы, как черви, жирны,
А слова, как пудовые гири, верны.
Тараканьи смеются усища,
И сияют его голенища.
А вокруг его сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей.
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,
Он один лишь бабачит и тычет.
Как подковы кует за указом указ—
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.
Что ни казнь у него,—то малина
И широкая грудь осетина.

1933

Л. В. Яковлева-Шапорина. Из дневника

2 ноября 1933 года

Третьего дня у меня была Анна Ахматова. Вот у кого сохранилась и поступь и благородство былых дней. Я ее мало знаю и ее личная жизнь мне мало понятна — Лурье, Пунин. Но она обаятельна — и она никому не поклонилась и ничем не поступилась. У ее сына ее улыбка. Про него, поговорив с ним, О. Мандельштам сказал Анне Андреевне: «Вам будет трудно уберечь его, в нем есть гибельность». Они были в Третьяковской галерее, в отделе икон. Увидав Владимирскую Божью Матерь — он приложился к ней. «Я, — говорит А. А.,— была в полном ужасе, что ты делаешь? На что он мне спокойно ответил: „Но ведь она же чудотворная!"»

Любовь Васильевна Яковлева-Шапорина (1885—1967) — художница, один из старейших работников советского театра кукол, переводчица, жена композитора Ю. А. Шапорина. Выписки из дневников Л. В. Яковлевой подготовлены для настоящего издания В. Н. Сажиным.

Л. В. Яковлева близко познакомилась с Ахматовой летом 1931 года в Детском Селе. В дневнике она записала об этом лете: «Я часами могла говорить с ней, любуясь ее тонким, нервным лицом».

В записи упоминается близкий друг Ахматовой композитор Артур Сергеевич Лурье (1891—1966).

В. А. Меркурьева. Из письма к К. Л. Архипповой

Москва, 16 ноября 1933

...Была несколько раз у Мандельштама <...> он очарователен, забавен, нелеп, высокомерен и трогателен. Должен был наконец-то достать и показать мне свои стихи последних лет — как раз заболела его жена, к которой он болезненно даже как-то привязан. Она славная, кроткая, грустная, заботливая. Анна Андреевна у них останавливалась в свой приезд последний. Я ее видела одну минуту — она мне открыла дверь — и ослепла. Как расскажешь о ней? Вы-

сокая (не так высокая, как стройная) женщина-птица, руки легкие, в полете, глаза — без цвета, так глубоки и темны (*светлые* глаза), в черном, длинном, в обтяжку платье. Я смотрела на нее и молчала (тщетно вспоминаю, как зовут Мандельштама, о котором спросить), она тоже. Его не было дома, я стала уходить, не прощаясь, молча — онемела, она закрыла за мной дверь со словами: «До свиданья». Вот все. Немного? <...> Но это лицо — живой, с нами, Музы, — теперь не уйдет от меня.

Вера Александровна Меркурьева (1876—1942) — поэтесса, переводчица. Ее письма к Е. Я. Архиппову и его первой жене К. Л. Архипповой хранятся в ЦГАЛИ.

Осип Мандельштам

* * *

Квартира тиха, как бумага —
Пустая без всяких затей,
И слышно, как булькает влага
По трубам внутри батарей.

Имущество в полном порядке,
Лягушкой застыл телефон,
Видавшие виды манатки
На улицу просятся вон.

А стены проклятые тонки,
И некуда больше бежать —
А я как дурак — на гребенке
Обязан кому-то играть...

Наглей комсомольской ячейки
И вузовской песни наглей,
Присевших на школьной скамейке
Учить щебетать палачей.

Пайковые книги читаю,
Пеньковые речи ловлю
И грозное баюшки-баю
Кулацкому паю пою.

Какой-нибудь изобразитель,
Чесатель колхозного льна,
Чернила и крови смеситель
Достоин такого рожна.

Какой-нибудь честный предатель,
Проваренный в чистках, как соль,
Жены и детей содержатель —
Такую ухлопает моль...

И столько мучительной злости
Таит в себе каждый намек,
Как будто вколачивал гвозди
Некрасова здесь молоток.

Давай же с тобой, как на плахе,
За семьдесят лет, начинать,—
Тебе, старику и неряхе,
Пора сапогами стучать.

И вместо ключа Ипокрены
Давнишнего страха струя
Ворвется в халтурные стены
Московского злого жилья.

Ноябрь 1933

Е. И. Замятин. Письмо к З. Шаховской

11 декабря 1933 года

Милая Зинаида Алексеевна, чтобы мне в парижской суете не забыть об Ахматовой — и чтобы Вы тоже не забыли об этом — пишу Вам сейчас же по приезде.

Ахматовой удобнее всего послать посылку по следующему адресу:

Ленинград, Жуковская 29, кв. 16
Аграфене Павловне Гроздовой.

Помимо всего прочего, это удобней для Ахматовой потому, что она больна, идти самой ей на таможню за посылкой — трудно, а тут — все за нее сделают и доставят ей. Так уже ей посылали кое-что раза два. Хорошо, если бы Вы были добры известить меня, что именно пошлете, чтобы потом проверить, все ли получено.

Шаховская З. Отражения. Париж, 1975.

Зинаида Алексеевна Шаховская — поэтесса, впоследствии редактор парижской газеты «Русская мысль». Позднее Замятин писал тому же адресату в Брюссель: «Получили ли мою (еще зимнюю) открытку, где я извещал Вас, что Ахматова получила посланные Вами франки?» Среди тех, кто оказывал денежную помощь Ахматовой в эти годы, был и Георгий Чулков.

А. П. Селивановский. Из книги «Очерки русской поэзии XX века»

Анна Ахматова перестала быть поэтом, перестала печататься, перестала писать.

Причина этого не в том, что, вообще говоря, она оказалась в непримиримой оппозиции к новому порядку вещей, а в том, что ее класс сошел с социально-исторической сцены н а в с е г д а, что жизнь ее класса стала жизнью «без завтрашнего дня»...

Литературная учеба, 1934, № 8.

Л. В. Яковлева-Шапорина.
Ленинград в марте 1935 года

1934 год

7-го декабря, по дороге в город, я купила «Известия». Газета в траурном обрамлении. На первой странице большой снимок: члены правительства несут урну с прахом Кирова. В первой паре Сталин и Ворошилов, за ними Молотов, Каганович, других трудно узнать.

Грозные статьи:

«Его подстерег враг коварный и подло-трусливый... Враг напал на него сзади и пролилась кровь Кирова».

...«Только поджигатели войны, заплечных дел мастера, злые ненавистники и вороги Советского Союза могли направить эту трижды проклятую, омерзительную руку в затылок прекраснейшего товарища, одного из крупнейших кормчих нашего государственного корабля. ...Над прахом дорогого учителя мы клянемся жестоко отомстить за его смерть жалким охвостьям гибнущего старого мира, из-за угла убившего нашего товарища» (из речи М.С. Чудова).

Из речи Д.З. Мануильского: «И в тяжкую годину всенародной скорби миллионы рук тянутся к штабу социалистической стройки и его вождю тов. Сталину, потерявшему в лице т. Кирова и верного соратника и верного друга».

В вагоне только и речи, что о гибели Кирова. Называют убийцу, говорят, что он уже расстрелян, что будто бы расстреляно еще 70 человек.

— Почему 70? Разве за эти дни можно было произвести расследование? Это бабьи рóссказни...

— «Нет, 70, и этого мало! За Кирова надо тысячу расстрелять!»

Слова «расстрел», «расстрелять» стали такими обычными в нашей повседневности, что смысл их был утрачен.

Осталась шелуха, пустое сочетание звуков.

Подлинное значение слова не доходило до сознания. Стерлось, как разменная монета.

10 марта 1935 года

3-го утром к нам, в Детское Село, приехала молоденькая девушка с поручением от жены композитора Николая Михайловича Стрельникова.

«Надежда Семеновна,— говорит Нина,—ниоткуда не ждет помощи, кроме как от Шапорина».

1-го марта в 4 часа ночи пришли к Н. М. с обыском. Обыск был тщательный, перерыли даже все игрушки, вскрывали их, взяли игрушечные офицерские погоны и карточку священника, оставшуюся после старушки няни. «Понравилось ему,— рассказывает Нина,— серебряное кольцо от салфетки, он и его взял, но я при нем же, у него на глазах, положила кольцо на место. Он ничего не сказал. Стал он все белье из комода вытряхивать и кидать, а я ему говорю: «Как вы, гражданин, труда не уважаете, я это белье крахмалила, ночь гладила, а вы все перемяли». Тут он стал аккуратнее вынимать».

Известие об аресте Стрельникова меня поразило. Чем могло это быть вызвано?

С первых же дней революции Николай Михайлович, как юрист по образованию, стал работать в Наркомате юстиции и был назначен председателем окружного суда по увечным делам. Позже он перешел в Наркомпрос и вместе с Вл. Вл. Щербачевым работал в Музыкальном отделе.

Неповторимое хорошее время — те первые годы революции! Тогда закладывался фундамент советской культуры; в те труднейшие времена создавались новые формы жизни, новые формы театра. Люди были одержимы жаждой творчества, созидания.

К этой плеяде высокоталантливых и образованных людей принадлежал и композитор Н. М. Стрельников. Он читал лекции по музыкальным вопросам в военных частях, клубах, заводах, был одним из видных сотрудников «Жизни Искусства», где вел музыкальный отдел. С 1922 года заведовал музыкальной частью в Театре юных зрителей. В 1927—28 году Н. М. Стрельников написал блестящую и остроумную оперетту «Холопка», а в 1932—33 годах — оперу «Беглец». Работал, и как работал, у всех на виду. А теперь — арест?

6 марта утром слышу — в передней меня кто-то спрашивает. И — на пороге Стрельников. Я очень обрадовалась, значит, освобожден. Радость была преждевременной.

5-го вечером ему объявили, что он должен собраться в пятидневный срок и 10-го марта выехать с семьей из Ленинграда. Он получил так называемый минус 15. Дали карту, предложили выбрать,— он выбрал Саратов.

Состояние Николая Михайловича было близко к невменяемости.

«Чем я заслужил, чтобы со мной поступали как с последним бродягой. Без объявления причин, без суда и следствия хватают, высылают в пятидневный срок! В конце концов, я ничего не имею против отъезда,— но дай же собраться. У меня семья: жена, двое детей, племянница, архив, библиотека, работа...

Сколько раз я проходил мимо людей, у которых, вероятно, тоже было горе; я не думал об этом. Я приехал к Вам, зная, что Вы мне друг. Перед чужими, посторонними, я держусь, но больше не могу, не могу».

Он ходил взад и вперед по комнате, говорил, говорил не останавливаясь, в бессильном отчаянии, оскорбленный до глубины души.

Ю. А. Шапорин был в Москве и мне было известно, что 8-го марта состоится правительственный просмотр его оперы у Горького. Там будет и Ягода.

В тот же день я послала с Московского вокзала телеграмму и спешные письма со всеми подробностями Юрию Алексеевичу и сыну, который у него гостил. Только бы письма дошли вовремя.

Хлопоты Союза композиторов и Театра юных зрителей в Смольном, в НКВД были безуспешны. Брянцев обратился к Угарову,— отказ.

8-го поехала к Стрельниковым,— квартира была вверх дном. Ящики, рогожи, солома, упаковщики; все вещи на полу.

Надежда Семеновна сидит у окна, закрыв лицо руками и тихо плачет. Мальчики сдержанные,— спокойны.

Большую часть вещей решили брать с собой. Чего нельзя было взять, я предложила перевезти на Канонерскую в комнату Шапорина,—люстру, часть книг, картины.

На 10-е в 8 вечера был назначен отъезд. Я пришла к ним.

Отъезд не состоялся.

В 6 часов вечера к ним прибежали впопыхах два милиционера в страшном беспокойстве: «а ну, как уже уехали?» Из Москвы по прямому проводу передано: «приостановить». Хлопоты в Москве, по-видимому, имели успех, что-то изменилось, но надолго ли — неизвестно.

Стрельников заговорил о Юрии Александровиче, глаза его были полны слез, да и я чувствовала себя как после тяжелой болезни.

Стрельниковы продолжали сидеть на своих ящиках, вопрос оставался открытым, лишь через два дня выяснилось, что их высылку отменили совсем.

Прошло несколько дней. И потянулись, поползли слухи один другого невероятнее — тот арестован и другой, этих высылают. И еще, и еще. Называют известные имена...

Дамоклов меч висел над М. Л. Лозинским и его семьей.

Крупнейший литературовед, лингвист, знающий все европейские языки, замечательный переводчик и поэт, собравший огромную библиотеку, приговорен к высылке из Ленинграда.

Впрочем, удивляться тут нечему: были же приговорены к ссылке в Сибирь в самом начале 20-х годов двадцать два ученых и профессора с всемирно известным философом Николаем Бердяевым во главе. Лишь благодаря заступничеству некоторых лиц ссылку в Сибирь заменили высылкой за границу.

За Лозинского хлопотали Союз писателей и А. Н. Толстой, гостивший тогда в Москве. Удалось отвести беду.

Вчера я репетирую в Союзе писателей марионеточное обозрение к юбилею Чапыгина. Меня окликают. Вижу в дверях мою приятельницу, бледную и расстроенную: «Все Козловские арестованы, я еду к вам» (она жила у К.).

Маруся Т. рассказывает, что у них дома настоящий переселенческий пункт, высылают родных, друзей...

Все эти аресты и высылки необъяснимы, ничем не оправданы.

И неотвратимы, как стихийное бедствие. Никто не застрахован. Каждый вечер, перед сном, я приготовляю все необходимое, на случай ареста.

Все мы — без вины виноватые. Если ты не расстрелян, не сослан (и не выслан), благодари только счастливую случайность.

Зашла к Морозовым *. У них-то, думаю, наверно, все спокойно — вот где я отдохну.

А у них полон дом людей, пришедших проститься. Высылают семерых сотрудников института Лесгафта, 3 семьи политкаторжан...

Спрашиваю шепотом у Ник. Ал.: «Чем вызваны эти высылки, где причина?»

Он, тоже шепотом:

— Говорят — это ответ на убийство Кирова... Месть...

— Но причем же...

Николай Александрович только рукой махнул.

Людей высылают в Вилюйск, Тургай, Атбасар, Кокчетав...

По слухам, непроверенным, высылают в такие места, где ездят только на верблюдах, и на север, где ездят только на собаках.

«По вас верблюды плачут, Л. В.», — сострила Н. В. Толстая.

Не до острот сейчас.

В несчастном Ленинграде стон стоит. Будь еще целы колокола, кажется, слышен был бы похоронный звон.

Высылка для многих смерть. Дима Уваров, юноша больной туберкулезом и гемофилией, что будет он делать в Тургае с больной матерью, теткой и старой няней? Чем заработает на хлеб?

Высылают детей, глубоких стариков и старух.

При обыске у писателя Пинегина следователь заметил фотографию полярного исследователя Седова. «Знаем мы вас, карточки царских офицеров на стенки вешаете»!

Март месяц.

Словно какая-то ужасная, из страшного сна лавина проползла над городом, разрушая семьи, дома...

Все это настолько неправдоподобно, что вот было и есть, а не веришь.

* Николай Александрович Морозов был директором института Лесгафта. До 1905 года — Шлиссельбургский узник. С его женой, Ксен. Ал., мы дружили со школьной скамьи.

13 марта мне позвонила из города Лидия Павловна Брюллова — по мужу Владимирова. Меня не было дома. Утром 14-го звоню им. Соседка отвечает: «Лидия Павловна ушла по делам, 16-го они уезжают.— Куда? — В Казахстан, все трое». Мы были знакомы с Лидой с юных лет. Неужели высылка?

В три часа я была у них. Разгромленная комната, голые стены. Люди выходят, выносят вещи. В соседней комнате, тоже пустой и голой, стоит рояль. Около него группа молодежи. Кто-то наигрывает «Под крышами Парижа».

Это товарищи старшего сына Владимировых, умершего несколько лет тому назад от туберкулеза. Они помогают укладываться, упаковывать... Столько дела и так мало дней. Надо спешить.

Рояль уже продан. В последний раз юноши играют на нем любимые песенки ушедшего друга.

Месяц тому назад мы пили у них чай, как было уютно! <...>

12 марта был обыск. Следователь перерыл все бумаги и отложил номер газеты «Новое время» с некрологом Павла Александровича Брюллова — отца Лидии Павловны, художника, племянника знаменитого Карла Брюллова.

«Назовите всех графов и князей, с которыми вы знакомы,— потребовал следователь.— Среди моих знакомых нет ни князей, ни графов,— отвечал Д. П. Владимиров.— А это что? — следователь торжественно помахал номером «Нового времени» —Он же был императорский, а вы говорите...»

В некрологе черным по белому стояло: «П. А. Брюллов, профессор императорской Академии Художеств»!

День отъезда был назначен на 15-е марта. Еле удалось выторговать еще один день.

Ехать в Кокчетав в Казахстане. Рояль, шкаф удалось продать, кое-что распихали по знакомым. Тот же тюзовский шофер отвез некоторые вещи к нам. <...>

Я каждый день бывала у Владимировых. Пришла и 16-го перед отъездом: комната голая, мы сидели у соседки. Милая З.Я.М. принесла валенки.

Все поехали на вокзал, я осталась поджидать спасительную телеграмму из Москвы. Не дождалась и уехала.

Сердце сжималось, когда я подъезжала к вокзалу. Было

страшно. Но того, что я там увидала, не расскажешь, не передашь.

Несметные толпы на перроне. Какая-то мгла в воздухе, может быть, дым.

Казалось, горит город, дома охвачены пламенем и пожар выгнал на улицу тысячи обездоленных людей. Они пытаются спасти что возможно из своего скарба, вынести из огня, сколько хватит сил.

На платформе рояль, какие-то шкафы. Почему это все здесь? Верно, надеялись погрузить в поезд, но сил не хватило, а может быть, у них и не приняли.

Привычные, обжитые вещи, с ними больно расставаться. Ведь они стояли в семье десятки лет, около них подрастали поколения...

Теперь все спешно продается за гроши, расплачиваются с шоферами грузовиков.

И слезы, слезы... Плачут уезжающие, плачут остающиеся — останемся, но надолго ли? Никто не уверен в завтрашнем дне.

Вагоны набиты до отказа.

В толпе нахожу Владимировых. Выдержка Лиды безгранична, Наташа улыбается поклонникам. Более взволнован Дмитрий Петрович. А у нас,— провожающих— слезы льются сами. Как тут не плакать?

В толпе, у задней площадки друзья провожают человека средних лет — это писатель Пинегин. С ними девочка лет 12-ти, его дочь. Высылка ее миновала. Она плачет навзрыд, прижимаясь к отцу.

Надо прощаться. Поцелуи, слезы. Говорить никто не может. Лида не выдерживает и вся в слезах быстро поднимается на площадку.

Поезд трогается. Раздается крик,— такой вопль отчаяния, что он перекрывает рыдания всей толпы. Это девочка Пинегина. Она бежит у вагона, того и гляди свалится под поезд. Отец прыгает на платформу, крепко обнимает ребенка, целует ее и на ускоряющемся ходу вскакивает в вагон.

Мы молча идем вместе с толпой за поездом, долго смотрим ему вслед, молча плачем и молча расходимся. Я боюсь заговорить. Нету сил.

В те же дни в «Вечерней Красной газете» была заметка:

«„*День птицы*". В этот день все школьники, пионерские и комсомольские организации будут строить *скворешники* и водружать их в садах и скверах, чтобы прилетающие птицы находили себе готовый кров».

Трогательно!

16 марта Шапорин телеграфировал в НКВД, прося выделить из высылаемой семьи Владимировых дочь, являющуюся незарегистрированной женой его сына. Это была ложь, но, как говорится, ложь во спасение, единственный способ задержать Наташу в Ленинграде.

На другой день, 17-го, пришло распоряжение—ссылка в Кокчетав заменяется — минус 15.

Это была радостная весть. Они смогут поехать в Ташкент, где у Лиды есть родня. Я пошла в НКВД к следователю, который вел дело Владимировых, просила телеграфировать в Кокчетав о замене их ссылки. Обещали.

Мы известили Владимировых об этом, но оттуда, с дороги, из Петропавловска, из Атбасара телеграмма за телеграммой,— распоряжение не переслали. Каждую неделю я наведывалась у следователя —ответ: послано.

В одно из моих посещений НКВД, пока я ждала аудиенции, пришла молодая женщина с девочкой лет двух на руках. Девочка славненькая, голубоглазая, улыбалась, а на щечках стояли две крупные слезинки.

Женщина вызвала следователя: «Я не могу завтра ехать, у меня нет ни гроша денег, куда я с ребенком без гроша поеду.— Продавайте вещи.— Я продаю, но что я могу продать в три дня, связанная ребенком». Он ушел.

Она стала целовать девочку, целовала, как будто всю любовь хотела вложить в эти поцелуи, и приговаривала: «Чьи это глазки? — Мамины.— А Туся чья? — Тоже мамина». И опять целовала, верно, черпая силы в своей любви.

Я не в силах была больше смотреть на нее. Следователь куда-то их увел, и чем дело кончилось, не знаю.

...Опять жду следователя. У стола сидит пожилая интеллигентная женщина, мне видны только ее щека, седые волосы и очки.

— Гражданка, выбирайте скорей,— грубо кричит на нее следователь. Она растерянно отвечает: «Что же мне вы-

брать, я нигде никого не знаю.— Скорей, гражданка.— Ну, Вологду. Можно Вологду?»

Поедет эта старуха в Вологду, а дальше что?

К следователю подбегает женщина моложе: «Мы должны завтра ехать, а мужа все не выпускают из тюрьмы! Что же делать? Что делать?»

Надо добавить, что у всех этих жертв сразу отобрали паспорта, а в комиссионных магазинах перестали принимать вещи без предъявления паспорта. Люди бросают свой скарб, едут без гроша, без надежды на работу, неведомо куда.

Ходила я к этому следователю больше месяца. В последний раз он закричал на меня: «Да вы что, гражданка, воображаете? Есть нам время еще телеграммы рассылать!»

Приятельница Владимировых была в Москве у военного прокурора — распоряжение было отправлено...

Но... 26 марта 1936 года, ровно через год, Лида мне пишет: «Сидим в Кокчетаве среди бескрайних снегов, казахов и верблюдов и ждем, когда Атбасар перешлет по нашей телеграфной просьбе разрешение Ленинграда. Тогда двинемся в Ташкент. Ни в Кокчетаве, ни в Атбасаре работы не найти».

Владимировы вскоре переехали.

Не верю, не могу поверить. Высылают Тверского.

Константин Константинович Тверской (Кузьмин-Караваев), главный режиссер Большого Драматического театра, заслуженный деятель искусств. Что же это такое? <...>

В 1913 году он вошел в небольшую группу передовых деятелей театра, и они основали и издавали очень интересный театральный журнал «Любовь к трем апельсинам». Главным редактором был доктор Дапертутто, т. е. Вс. Э. Мейерхольд.

1914 год. Первая мировая война. К.К. был все время на фронте, а с начала 18-го года или с конца 17-го уже работал в Петроградском отделе театров и зрелищ, комиссаром которого была Мария Федоровна Андреева, красивая и умная жена Максима Горького.

В 18-м году я задумала организовать театр марионеток. Тверской увлекся этой затеей и помог мне осуществить

мою давнюю мечту. М. Ф. Андреева поддерживала и поощряла все новое и свежее. Казалось, воздух тех дней и лет был насыщен бодростью и отвагой. Люди рвались к творческой работе. Это настроение было особенно ощутимо в театре. Недаром же побывавший тогда в России Герберт Уэллс был озадачен. Как же так, все гибнет, «Россия во мгле», а театры как ни в чем не бывало стоят на своих местах, никто их не разрушает, они всегда полны, а некоторые даже... даже получают дотацию. Непостижимо!

«Гордый взор иноплеменный» не заметил, что творческая жизнь в театре тех лет не только не угасала, но била ключом и бурлила как никогда еще. <...>

Тверской, образованный, культурный, талантливый человек, стоял в самой гуще этого движения.

А теперь — высылка.

Прихожу к нему проститься.

Комнаты пусты. Единственный стул стоит посередине, как неприкаянный.

«Вот, Любовь Васильевна, еще новый этап жизни. Вы уезжали за границу,— я думал, не вернетесь. Теперь я уезжаю — вернусь ли?»

Тверской ехал в Саратов, куда незадолго перед этим его приглашал для постановки Драматический театр.

Константин Константинович Тверской не вернулся. Не вернулись и Владимировы.

Кого же высылают? По каким признакам? Что общего между всеми этими людьми?

ЭТО — ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ. И В БОЛЬШИНСТВЕ СВОЕМ — КОРЕННЫЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ.

\+ + +

Зачем вы отравили воду
И с грязью мой смешали хлеб?
Зачем последнюю свободу
Вы превращаете в вертеп?
За то, что я не издевалась
Над горькой гибелью друзей?
За то, что я верна осталась
Печальной родине моей?
Пусть так. Без палача и плахи
Поэту на земле не быть.
Нам — покаянные рубахи,
Нам со свечой идти и выть.

1935

\+ + +

12 июля 1935

Милый Осип Эмильевич, спасибо за письмо и память. Вот уже месяц, как я совсем больна. На днях лягу в больницу на исследование. Если все кончится благополучно — непременно побываю у Вас.

Лето ледяное — бессонница и слабость меня совсем замучали.

Вчера звонил Пастернак, который по дороге из Парижа в Москву очутился здесь. Кажется, я его не увижу — он сказал мне, что погибает от тяжелой психастении. Что это за мир такой? Уж Вы не болейте, дорогой Осип Эмильевич, и не теряйте бодрости.

С моей книжкой вышла какая-то задержка. До свидания.

Крепко жму Вашу руку и целую Надюшу.

Ваша Ахматова.

Е. С. Булгакова. Из дневника

1935

7 апреля. <...> Обедала Ахматова. Она приехала хлопотать за какую-то свою знакомую, которую выслали из Ленинграда.

13 апреля. Миша днем сегодня выходил к Ахматовой, которая остановилась у Мандельштам.

Ахматовскую книжку хотят печатать, но с большим выбором. <...>

30 октября. Днем позвонили в квартиру. Выхожу — Ахматова — с таким ужасным лицом, до того исхудавшая, что я ее не узнала и Миша тоже. Оказалось, что у нее в одну ночь арестовали и мужа (Пунина), и сына (Гумилева). Приехала подавать письмо Иосифу Виссарионовичу. В явном расстройстве, бормочет что-то про себя.

31 октября. Анна Андреевна переписала от руки письмо И.В.С. Вечером машина увезла ее к Пильняку.

Цитируется по книге: *Чудакова М.* Жизнеописание Михаила Булгакова. М., 1988. Об октябрьских днях 1935 года вспоминала и Н. Г. Чулкова: «Ночевала она у нас. Всю ночь не спала, а наутро отправила с одним из своих друзей письмо тов. Сталину — и на другой же день после этого муж и сын были освобождены, о чем они сами сообщили ей по телефону в Москву. Накануне разбитая горем, она вдруг ожила и расцвела от радости».

Терень Масенко. Из романа «Вита почтовая»

...За овальным столом сидели — хозяин дома Борис Андреевич, его жена Кира Георгиевна, дед Андрей Вогау, его внук Андрюша, Наум Калюжный и незнакомая женщина. <...>

Лицо незнакомки примечательно суровостью взгляда. <...> Мне кажется, что я ослышался, когда Борис Андреевич сказал громко:

— Познакомьтесь, Германович, с Анной Андреевной Ахматовой. <...>

Высокая женщина с горделивой осанкой, одета в черное. Лицо нервное, резкость движений. Нос с горбинкой. Бледно-синие глаза, взгляд открытый, строгий. Выражение энергии, ума, душевной силы. <...>

Молодежь знала о пережитых ею бедах, о трагедии Гумилева. Жертва времени, в которой много загадочного. В молве жила легенда о помиловании, телеграмме, которая опоздала. И вот снова ее беда. Я узнал позже от Наташи.

Чуткость Пильняка к Ахматовой — это настоящее мужское рыцарство. Я восхищаюсь им. И связываю воедино слова на вечере. Перед ужином хозяин дома предложил распить бутылку шампанского. Хлопнула пробка. Пильняк говорит: «Первый тост — за здоровье Анны Андреевны». Будто случайно взглянул на меня, Наташу.

— На Украине, в отряде степной вольницы на тачанке написали лозунг: «Хай живе, а що — самі знаємо!» Выпьем за это.

Он говорит фразу на чистом украинском языке. У меня доброе чувство к нему. Гляжу в глаза Наташе, спрашивая: «Не к нам ли относится — „А що, самі знаємо?“»...

Она не понимает вопроса.

Но это изречение относится не к нам. Когда остались в девичьей келии одни, Наташа говорит:

— Вы не знаете, за что поднимали тост в гостиной?

— Не могу догадаться.

— И догадаться нельзя. Папе удалось вчера добиться освобождения сына Анны Андреевны.

— Он совершил подвиг беспримерный. Случай один на сто тысяч. Я преклоняюсь перед ним.

<...> Горько и тяжко думать теперь: через два года уже никто не мог помочь ему самому...

Отрывки из автобиографического романа украинского поэта Тереня Германовича Масенко (1903—1970) печатаются по варианту, опубликованному Е. М. Ольшанской в журнале «Литературное обозрение», 1989, № 5. Т. Масенко был дружен с дочерью Пильняка Наташей.

ПАМЯТИ БОРИСА ПИЛЬНЯКА

Все это разгадаешь ты один...
Когда бессонный мрак вокруг клокочет,
Тот солнечный, тот ландышевый клин
Врывается во тьму декабрьской ночи.
И по тропинке я к тебе иду.
И ты смеешься беззаботным смехом.
Но хвойный лес и камыши в пруду
Ответствуют каким-то странным эхом...
О, если этим мертвого бужу,
Прости меня, я не могу иначе:
Я о тебе, как о своем, тужу
И каждому завидую, кто плачет,
Кто может плакать в этот страшный час
О тех, кто там лежит на дне оврага...
Но выкипела, не дойдя до глаз,
Глаза мои не освежила влага.

1938

\+ + +

И вовсе я не пророчица,
Жизнь моя светла, как ручей.
А просто мне петь не хочется
Под звон тюремных ключей.

1930-е гг.

Надежда Мандельштам. Из воспоминаний

А я помню, как я приходила к ней в Фонтанный дом, где она, еще тоненькая и гибкая, с прозрачными руками, полулежала на неуклюжем пунинском диване, покрытая гарусным одеялом. Никакая фотография, никакой портрет не могут передать наклон этой покорной шеи, сладостную и горькую линию рта и странную горбинку на носу, которая делала ее похожей на финикийскую рабыню. А дальше горячим, как сказал О. М., шепотом она сообщала, кого взяли, в чем обвиняют — дело Академии, дело Русского музея, дело Эрмитажа, их было столько в разные времена, что не перечтешь, но она всегда понимала, что нельзя спрашивать: «За что взяли?» — «Всех берут ни за что»,— мы никогда в этом не сомневались. И дальше: у кого из жен взяли, а у кого не приняли передачу и — Господи! — когда же все это кончится! Это в тот период, когда мы живем в Ленинграде, в Царском Селе, в Крыму или приезжаем из Москвы. Потом ее приезды к нам в Москву. Она была один раз и в Воронеже, а чаще приезжала для встречи со мной в Москву. В 37/38 годах, когда мы жили в стоверстной зоне, мы раза три ездили в Ленинград, сидели с ней за пунинским столом и даже ночевали за Левиной занавеской. В последний приезд О. М. уже лег, когда она подошла к нему и села на кровать. Он прочел ей «Киевлянку». Это в тот приезд: «не столицею европейской с первым призом за красоту, страшной ссылкою енисейской, пересадкою на Читу, на Ишим, на Иргиз безводный, на прославленный Атбасар, пересадкой на город Свободный в чумный запах гниющих нар показался мне

город этот этой полночью голубой — он, воспетый первым поэтом, нами грешными и тобой»... Но за динамикой нашей жизни угнаться нельзя: все перечисленные ею места ссылки к этому времени уже не казались такими страшными, потому что осваивалась Колыма с ее непревзойденным ужасом. А между тем А. А., сидя у себя в комнате, всегда была поразительно осведомленным человеком. Мне даже не удалось ей рассказать, какую воду пьют в Казахстане на полевых работах — она знала и это. Она знала всё и всегда. Даже блаженным неведеньем ей нельзя было спастись от действительности.

Выдержки из первого варианта мемуарной книги Н. Я. Мандельштам воспроизводятся по публикации П. Нерлера в журнале «Литературная учеба», 1989, № 3.

НЕМНОГО ГЕОГРАФИИ

О. М.

Не столицею европейской
С первым призом за красоту —
Душной ссылкою енисейской,
Пересадкою на Читу,
На Ишим, на Иргиз безводный,
На прославленный Атбасар
Пересылкою в лагерь Свободный,
В трупный запах прогнивших нар, —
Показался мне город этот
Этой полночью голубой,
Он, воспетый первым поэтом,
Нами грешными — и тобой.

1937

Листки из дневника

...и смерть Лозинского каким-то таинственным образом оборвала нить моих воспоминаний. Я больше не смею вспомнить что-то, что он уже не может подтвердить (о цехе поэтов, акмеизме, журнале «Гиперборей» и т. д.). Последние годы из-за его болезни мы очень редко встречались, и я не успела договорить с ним чего-то очень важного и прочесть ему мои стихи тридцатых годов (т. е. «Реквием»). От этого он в какой-то мере продолжал считать меня такой, какой он знал меня когда-то в Царском. Это я выяснила, когда в 1940 г. мы смотрели вместе корректуру сборника «Из шести книг».

. . . .

Что-то в этом роде было и с Мандельштамом (который, конечно, все мои стихи знал), но по-другому. Он вспоминать не умел, вернее, это был у него какой-то иной процесс, названья которому сейчас не подберу, но который, несомненно, близок к творчеству. (Пример — Петербург в «Шуме времени», увиденный сияющими глазами 5-летнего ребенка).

Мандельштам был одним из самых блестящих собеседников: он слушал не самого себя и отвечал не самому себе, как сейчас делают почти все. В беседе был учтив, находчив и бесконечно разнообразен. Я никогда не слышала, чтобы он повторялся или пускал заигранные пластинки. С необычайной легкостью О. Э. выучивал языки. «Божественную комедию» читал наизусть страницами по-итальянски. Незадолго до смерти просил Надю выучить его английскому языку, которого совсем не знал. О стихах говорил ослепительно пристрастно и иногда бывал чудовищно несправедлив, например, к Блоку. О Пастернаке говорил: «Я так много думал о нем, что даже устал» и «Я уверен, что он не прочел ни одной моей строчки»*. О Марине: — «Я антицветаевец».

В музыке О. был дома, и это крайне редкое свойство. Больше всего на свете боялся собственной немоты, называя ее удушьем. Когда она настигала его, он метался в ужасе и придумывал какие-то нелепые причины для объяснения этого бедствия. Вторым и частым его огорчением были читатели. Ему постоянно казалось, что его любят не те, кто надо. Он хорошо знал и помнил чужие стихи, часто влюблялся в отдельные строчки. Например: «На грязь горячую от топота коней/Ложится белая одежда брата-снега»... (Я помню это только с его голоса. Чье это?) Легко запоминал прочитанное ему. Любил говорить про что-то, что называл своим «истуканством». Иногда, желая меня потешить, рассказывал какие-то милые пустяки. Например, стих Малларме: «La jeune mère allaitant son enfant», он будто в ранней юности перевел так: «И молодая мать кормящая со сна». Смешили мы

* Будущее показало, что он был прав (см. Автобиографию Пастернака, где он пишет, что в свое время не оценил четырех поэтов: Гумилева, Хлебникова, Багрицкого и Мандельштама).

друг друга так, что падали на поющий всеми пружинами диван на «Тучке» и хохотали до обморочного состояния, как кондитерские девушки в «Улиссе» Джойса.

Я познакомилась с Мандельштамом на «Башне» Вячеслава Иванова весной 1911 года. Тогда он был худощавым мальчиком с ландышем в петлице, с высоко закинутой головой, с ресницами в полщеки. Второй раз я видела его у Толстых на Староневском, он не узнал меня, и А. Н. стал его расспрашивать, какая жена у Гумилева, и он показал руками, какая на мне была большая шляпа. Я испугалась, что произойдет что-то непоправимое, и назвала себя.

Это был мой первый Мандельштам, автор зеленого «Камня» (изд. «Акмэ») с такой надписью: «Анне Ахматовой — вспышки сознания в беспамятстве дней. Почтительно — Автор».

Со свойственной ему прелестной самоиронией Осип любил рассказывать, как старый еврей, хозяин типографии, где печатался «Камень», поздравлял его с выходом книги, пожал ему руку и сказал: «Молодой человек, вы будете писать все лучше и лучше».

Я вижу его как бы сквозь редкий дым — туман Васильевского острова и в ресторане бывш. «Кинши» *, где когда-то по легенде Ломоносов пропил казенные часы, и куда мы (Гумилев и я) иногда ходили завтракать с «Тучки» **.

Этот Мандельштам — щедрый сотрудник, если не соавтор «Антологии античной глупости», которую члены Цеха поэтов сочиняли (почти все, кроме меня) за ужином. («Лесбия, где ты была», «Сын Леонида был скуп», «Странник! откуда идешь? — Я был в гостях у Шилея».

Дивно живет человек, за обедом кушает гуся,
Кнопки ль коснется рукой, сам зажигается свет.

* Угол 2-ой линии и Большого проспекта. Теперь там парикмахерская.

** Никаких собраний на «Тучке» не бывало и быть не могло. Это просто студенческая комната Николая Степановича, где и сидеть-то было не на чем. Описания файфоклока на «Тучке» (Георгий Иванов: «Поэты») выдуманы до последнего слова. Н. В. Н. не переступал порога «Тучки».

Если такие живут на Четвертой Рождественской люди —
Странник! Ответствуй, молю, кто же живет на Восьмой?

Помнится,— это работа Осипа. Зенкевич того же мнения *. Эпиграмма на Осипа: — «Пепел на левом плече и молчи —
Ужас друзей: — Златозуб».
(Это — «Ужас морей — однозуб»).

Это может быть даже Гумилев. Куря, Осип всегда стряхивал пепел как бы за плечо, однако на плече обычно нарастала горка пепла.

Может быть, стоит сохранить обрывки сочиненной «Цехом» пародии на знаменитый сонет Пушкина (Суровый Дант не презирал сонета):

Valère Brussoff не презирал сонета,
Венки из них Иванов заплетал,
Размеры их любил супруг Анеты,
Не плоше ль их Волошин лопотал.
И многие пленялись им поэты,
Кузмин его извощиком избрал,
Когда, забыв воланы и ракеты,
Скакал за Блоком, да не доскакал!
Владимир Нарбут, <этот> волк заправский
В метафизический сюртук <его?> облек
И для него Зенкевич пренебрег
Алмазными росинками Моравской.

Вот стихи (триолеты) об этих пятницах (кажется, В. В. Гиппиуса).

1.

По пятницам в Гиперборее
Расцвет литературных роз
. . . .
Выходит Михаил Лозинский,
Покуривая и шутя,
Рукой лаская исполинской
Свое журнальное дитя.

* См. «Воздушные пути», № 3.

2.

У Николая Гумилева
Высоко задрана нога
Для романтического сева
Разбрасывая жемчуга.
Пусть в Царском громко плачет Лева,
У Николая Гумилева
Высоко задрана нога.

3.

Печальным взором и манящим
Глядит Ахматова на всех,
Был выхухолем настоящим
Ее благоуханный мех,
Глядит в глаза гостей молчащих
. . . .
. . . .

4.

...Мандельштам Иосиф
В акмеистическое ландо сев...

Недавно найдены письма О.Э. к Вячеславу Иванову (1909). Это письма участника Проакадемии (по Башне). Это Мандельштам — символист. Следов того, что Вяч. Иванов ему отвечал, пока нет. Их писал мальчик 18-ти лет, но можно поклясться, что автору их, этих писем — 40 лет. Там же множество стихов. Они хороши, но в них нет того, что мы называем — Мандельштамом.

Воспоминания сестры Аделаиды Герцык утверждают, что Вяч. Иванов не признавал нас всех. В 1911 никакого пиетета к Вяч. Иванову в Мандельштаме не было.

Когда в 191[5] году Вяч. Иванов приехал в Петербург, он был у Сологубов на Разъезжей. Необычайно парадный вечер и великолепный ужин. В гостиной подошел ко мне Мандельштам и сказал: — «Мне кажется, что один мэтр — зрелище величественное, а два — немного смешное».

Цех бойкотировал Академию Стиха. См., например:

Вячеслав, Чеслав Иванов
Телом крепкий, как орех,
Академию диванов
Колесом пустил на цех...

В десятые годы мы, естественно, всюду встречались: в редакциях, у знакомых, на пятницах в Гиперборее, т. е. у Лозинского, в «Бродячей собаке», где он, между прочим, представил мне Маяковского *, о чем очень потешно рассказывал Харджиеву в 30-х годах, в «Академии Стиха» (Общество ревнителей художественного слова, где царил Вячеслав Иванов), и на враждебных этой академии собраниях Цеха поэтов, где Мандельштам очень скоро стал первой скрипкой. Тогда же он написал таинственное (и не очень удачное) стихотворение про черного ангела на снегу. Надя утверждает, что оно относится ко мне.

С этим «Черным Ангелом» дело обстоит, мне думается, довольно сложно. Стихотворение для тогдашнего Мандельштама слабое и невнятное. Оно, кажется, никогда не было напечатано. По-видимому, это результат бесед с Вл. К. Шилейко, который тогда нечто подобное говорил обо мне. Но Осип тогда еще «не умел» (его выражение) писать стихи «женщине и о женщине». «Черный Ангел», вероятно первая проба, и этим объясняется его близость к моим строчкам:

Черных ангелов крылья остры,
Скоро будет последний суд,
И малиновые костры,
Словно розы в снегу растут («Четки»).

Мне эти стихи Мандельштам никогда не читал. Известно, что беседы с Шилейко вдохновили его на стихотворение «Египтянин».

Гумилев рано и хорошо оценил Мандельштама. Они по-

* Как-то раз в «Собаке», когда все ужинали и гремели посудой, Маяковский вздумал читать стихи. О. Э. подошел к нему и сказал: «Маяковский, перестаньте читать стихи. Вы не румынский оркестр». Это было при мне, остроумный Маяковский не нашелся, что ответить.

знакомились в Париже (см. конец стихотворения Осипа о Гумилеве. Там говорилось, что Н. С. был напудрен и в цилиндре).

Но в Петербурге акмеист мне ближе,
Чем романтический Пьеро в Париже.

Символисты никогда его не приняли. Приезжал О. Э. в Царское. Когда он влюблялся, что происходило довольно часто, я несколько раз была его конфиденткой. Первой на моей памяти была Анна Михайловна Зельманова-Чудовская, красавица-художница. Она написала его на синем фоне с закинутой головой (1914). На Алексеевской улице. Анне Михайловне он стихов не писал, на что сам горько жаловался — еще не умел писать любовные стихи. Второй была Цветаева, к которой были обращены крымские и московские стихи, третьей — Саломея Андроникова (Андреева, теперь Гальперн, которую Мандельштам обессмертил в книге «Tristia» —

Когда соломинка...*)

В Варшаву О. Э. действительно ездил, и его там поразило гетто (это помнит и М. А. Зенкевич), но о попытке самоубийства его, о котором сообщает Георгий Иванов, даже Надя не слыхивала, как и о дочке Липочке, которую она, якобы, родила.

В начале революции (1920) в то время, когда я жила в полном уединении и даже с ним не встречалась, он был одно время влюблен в актрису Александринского театра Ольгу Арбенину, ставшую женой Ю. Юркуна, и писал ей стихи. («За то, что я руки твои...»). Рукописи, якобы, пропали во время блокады, однако я недавно видела их у Х.

Замечательные стихи обращены к Ольге Ваксель и к ее тени: «В холодной стокгольмской могиле...» (Ей же — «Хочешь, валенки сниму»).

Всех этих дореволюционных дам (боюсь, что между про-

* Там был стих: «Что знает женщина одна о смертном часе...» Сравнить мое — «Не смертного ль часа жду».
Я помню эту великолепную спальню Саломеи на Васильевском острове.

чим и меня) он через много лет назвал — «нежными европеянками»:

И от красавиц тогдашних, от тех европеянок нежных
Сколько я принял смущенья, надсады и горя!

В 1933—34 гг. Осип Эмильевич был бурно, коротко и безответно влюблен в Марию Сергеевну Петровых. Ей посвящено, вернее, к ней обращено стихотворение «Турчанка» (заглавие мое), лучшее, на мой взгляд, любовное стихотворение 20 века. («Мастерица виноватых взоров...»). Мария Сергеевна говорит, что было еще одно совершенно волшебное стихотворение о белом цвете. Рукопись, по-видимому, пропала. Несколько строк М. С. знает на память.

Дама, которая «через плечо поглядела»,— это так называемая «Бяка» *, тогда подруга жизни С. Ю. Судейкина, а ныне супруга Игоря Стравинского.

В Воронеже Осип дружил с Наташей Штемпель.

Легенда о его увлечении Анной Радловой ни на чем не основана.

«Архистратиг вошел в иконостас...
В ночной тиши запахло валерьяном» **
Архистратиг мне задает вопросы
К чему тебе... косы
И плеч твоих сияющий атлас...»,—

т. е. пародию на стихи Анны Радловой он сочинил из веселого зловредства, а не par dépit и с притворным ужасом где-то в гостях шепнул мне: «Архистратиг дошел!», т. е. Радловой кто-то сообщил об этом стихотворении.

Десятые годы — время очень важное в творческом пути Мандельштама, и об этом еще будут много думать и писать. (Вийон, Чаадаев, католичество...). О его контакте с группой «Гилея» см. воспоминания Зенкевича.

Как воспоминание о пребывании Осипа в Петербурге в 1920 году, кроме изумительных стихов к Арбениной в «Tristia», остались еще живые, выцветшие, как наполеоновские

* Вера Артуровна.
** Намек на Валерьяна Адольфовича Чудовского — верного рыцаря Радловой.

знамена, афиши того времени — о вечерах поэзии, где имя Мандельштама стоит рядом с Гумилевым и Блоком.

Все старые петербургские вывески были еще на своих местах, но за ними, кроме пыли, мрака и зияющей пустоты, ничего не было. Сыпняк, голод, расстрелы, темнота в квартирах, сырые дрова, опухшие до неузнаваемости люди. В Гостином дворе можно было собрать большой букет полевых цветов. Догнивали знаменитые петербургские торцы. Из подвальных окон «Крафта» (угол Садовой и Итальянской) еще пахло шоколадом. Все кладбища были разгромлены. Город не просто изменился, а решительно превратился в свою противоположность. Но стихи любили (главным образом, молодежь). Почти такие, как сейчас, т. е. в 1964 г.

В Царском, тогда Детское имени тов. Урицкого, почти у всех были козы, и их почему-то звали — Тамара.

Мандельштам довольно усердно посещал собрания «Цеха», но в зиму 13—14 (после разгрома акмеизма) мы стали тяготиться «Цехом» и даже дали Городецкому и Гумилеву составленное Осипом и мной Прошение о закрытии «Цеха». С. Городецкий наложил резолюцию: «Всех повесить, а Ахматову заточить.— (Малая 63)». Было это в редакции «Сев<ерных> зап<исок>».

Цех поэтов 1911—1914

ГУМИЛЕВ

синдики

ГОРОДЕЦКИЙ

Дм. КУЗЬМИН-КАРАВАЕВ — стряпчий

О. МАНДЕЛЬШТАМ

ВЛ. НАРБУТ

М. ЗЕНКЕВИЧ

Н. БРУНИ

ГЕОРГИЙ ИВАНОВ

<Г.В.> АДАМОВИЧ

ВАС. ВАС. ГИППИУС

М. МОРАВСКАЯ

ЕЛ. КУЗЬМИНА-КАРАВАЕВА

<В.С.> ЧЕРНЯВСКИЙ

М. ЛОЗИНСКИЙ

П. РАДИМОВ

<В.А.> ЮНГЕР

Н. БУРЛЮК

ВЕЛ. ХЛЕБНИКОВ

Гр. ВАС. АЛ. КОМАРОВСКИЙ

5—644

(Первое собрание — у Городецких на Фонтанке, был Блок, французы...Второе — у Лизы на Манежной площади, потом у Бруни — в Ак. Художеств. Акмеизм был решен у нас — Ц.С., Малая, 63).

Революцию Мандельштам встретил вполне сложившимся и уже, хотя и в узком кругу, известным поэтом. Мандельштам одним из первых стал писать стихи на гражданские темы. Революция была для него огромным событием, и слово н а р о д не случайно фигурирует в его стихах.

Особенно часто я встречалась с Мандельштамом в 1917—18 гг., когда жила на Выборгской у Срезневских (Боткинская, 9), не в сумасшедшем доме, а в квартире старшего врача Вяч. Вяч. Срезневского, мужа моей подруги Валерии Сергеевны.

Мандельштам часто заходил за мной, и мы ехали на извозчике по невероятным ухабам революционной зимы среди знаменитых костров, которые горели чуть ли не до мая, слушая неизвестно откуда несущуюся ружейную трескотню. Так мы ездили на выступления в Академию Художеств, где происходили вечера в пользу раненых и где мы оба несколько раз выступали. Был со мной О.Э. и на концерте Бутомо-Названовой в консерватории, где она пела Шуберта (см. «Нам пели Шуберта...»). К этому времени относятся все обращенные ко мне стихи: «Я не искал в цветущие мгновенья»* (декабрь 1917 г.), «Твое чудесное произношенье»; ко мне относится странное, отчасти сбывшееся предсказание:

«Когда-нибудь в столице шалой
На диком празднике у берега Невы
Под звуки омерзительного бала
Сорвут платок с прекрасной головы...»

А следующее — «Что поют часы кузнечик (Это мы вместе

* Кроме того, ко мне в разное время обращены четыре четверостишия: 1) «Вы хотите быть игрушечной» (1911), 2) «Черты лица искажены» (10-е годы), 3) «Привыкают к пчеловоду пчелы» (30-е годы). 4) «Знакомства нашего на склоне» (30-е годы).

топили печку; у меня жар — я мерю температуру), /Лихорадка шелестит,/И шуршит сухая печка,/Это красный шелк горит...»

После некоторых колебаний решаюсь вспомнить в этих записках, что мне пришлось объяснить Осипу, что нам не следует так часто встречаться, что это может дать людям материал для превратного толкования наших отношений.

После этого, примерно в марте, Мандельштам исчез. Тогда все исчезали и никто этому не удивлялся.

В Москве Мандельштам становится постоянным сотрудником «Знамени труда». Таинственное стихотворение «Телефон», возможно, относится к этому времени.

Телефон

На этом диком страшном свете
Ты, друг полночных похорон,
В высоком строгом кабинете
Самоубийцы — телефон!

Асфальта черные озера
Изрыты яростью копыт,
И скоро будет солнце: скоро
Безумный петел прокричит.

А там дубовая Валгалла
И старый пиршественный сон;
Судьба велела, ночь решала,
Когда проснулся телефон.

Весь воздух выпили тяжелые портьеры.
На театральной площади темно.
Звонок — и закружили сферы:
Самоубийство решено.

Куда бежать от жизни гулкой,
От этой каменной уйти?
Молчи, проклятая шкатулка!
На дне морском цветет: прости!

И только голос, голос-птица
Летит на пиршественный сон.
Ты — избавленье и зарница
Самоубийства — телефон!

Снова и совершенно мельком я видела Мандельштама в Москве осенью 1918 года. В 1920 году он раз или два приходил ко мне на Сергиевскую (в Петербурге), когда я работала в библиотеке Агрономического института и там жила. Тогда я узнала, что в Крыму он был арестован белыми; в Тифлисе — меньшевиками. Тогда же он сообщил мне, что в декабре 19 года умер Н. В. Н<едоброво>.

Летом 1924 года О. Э. привел ко мне (Фонтанка, 2) свою молодую жену. Надюша была то, что французы называют laide mais charmant. С этого дня началась моя дружба с Надюшей и продолжается она по сей день.

Осип любил Надю невероятно, неправдоподобно. Когда ей резали аппендикс в Киеве, он не выходил из больницы и все время жил в каморке у больничного швейцара. Он не отпускал Надю от себя ни на шаг, не позволял ей работать, бешено ревновал, просил ее советов о каждом слове в стихах. Вообще я ничего подобного в своей жизни не видела. Сохранившиеся письма Мандельштама к жене полностью подтверждают это мое впечатление.

В 1925 году я жила с Мандельштамом в одном коридоре в пансионе Зайцева в Царском Селе. И Надя, и я были тяжело больны, лежали, мерили температуру, которая была неизменно повышенной, и, кажется, так и не гуляли ни разу в парке, который был рядом. О. Э. каждый день уезжал в Ленинград, пытаясь наладить работу, получить за что-то деньги. Там он прочел мне совершенно по секрету стихи к О. Ваксель, которые я запомнила и также по секрету записала («Хочешь, валенки сниму»). Там он диктовал П. Н. Л<укницкому> свои воспоминания о Гумилеве.

Одну зиму Мандельштамы (из-за Надиного здоровья) жили в Царском Селе, в лицее. Я была у них несколько раз — приезжала кататься на лыжах. Жить они хотели в полуциркуле Большого дворца, но там дымили печки или текли крыши. Таким образом возник Лицей. Жить там Осипу не нравилось. Он люто ненавидел так называемый царско-

сельский сюсюк Голлербаха и Рождественского и спекуляцию на имени Пушкина. К Пушкину у Мандельштама было какое-то небывалое, почти грозное отношение — в нем мне чудится какой-то венец сверхчеловеческого целомудрия. Всякий пушкинизм ему был противен. О том, что: «*Вчерашнее солнце на черных носилках несут*» — Пушкин,— ни я, ни даже Надя не знали, и это выяснилось только теперь из черновиков (50-е годы).

Мою «Последнюю сказку» (статью о «Золотом петушке») он сам взял у меня на столе, прочел и сказал: «Прямо — шахматная партия».

«Сияло солнце Александра
Сто лет тому назад, сияло всем» (декабрь 1917) —

конечно, тоже Пушкин (так он передает мои слова).

Была я у Мандельштамов и летом в Китайской деревне, где они жили с Лившицами. В комнатах абсолютно не было никакой мебели и зияли дыры прогнивших полов. Для О. Э. нисколько не было интересно, что там когда-то жили и Жуковский, и Карамзин. Уверена, что он нарочно, приглашая меня вместе с ними идти покупать папиросы или сахар, говорил: «Пойдем в европейскую часть города», будто это Бахчисарай или что-то столь же экзотическое. То же подчеркнутое невнимание в строке — «Там улыбаются уланы». В Царском сроду уланов не было, а были гусары, желтые кирасиры и конвой.

В 1928 году Мандельштамы были в Крыму. Вот письмо Осипа от 25-го августа: день смерти Н. С. <Гумилева>.

Дорогая Анна Андреевна,

Пишем Вам с П. Н. Лукницким из Ялты, где все трое ведем суровую трудовую жизнь.

Хочеться домой, хочется видеть вас. Знаете, что я обладаю способностью вести воображаемую беседу только с двумя людьми — с Николаем Степановичем и с вами. Беседа с Колей не прервалась и никогда не прервется.

В Петербург мы вернемся ненадолго в октябре. Зимовать там Наде не велено.

Мы уговорили П. Н. остаться в Ялте из эгоистических соображений. Напишите нам.

Ваш О. Мандельштам.

Юг и море были ему так же необходимы, как Надя.

(На вершок бы мне синего моря,
На игольное только ушко).

Попытки устроиться в Ленинграде были неудачными. Надя не любила все, связанное в этим городом, и тянулась в Москву, где жил ее любимый брат Евгений Яковлевич Хазин. Осипу казалось, что его кто-то знает, кто-то ценит в Москве, а было как раз наоборот.

Я довольно долго не видела Осипа и Надю. В 1933 г. Мандельштамы приехали в Ленинград по чьему-то приглашению. Они остановились в Европейской гостинице. У Осипа было два вечера. Он только что выучил итальянский язык и бредил Дантом. «Божественную комедию» читал наизусть страницами. Мы стали говорить о «Чистилище», и я прочла кусок из XXX песни (явление Беатриче):

Sopra candido vel cinta d'oliva
Donna m'apparve, sotto verde manto,
Vestita di color di fiamma viva.
. . . .
. . . .«Men che dramma
Di sangue m'e rimaso non tremi;
Conosco i segni dell' antica fiamma» *

Осип заплакал. Я испугалась — «Что такое?» — «Нет, ничего, только эти слова и вашим голосом».

В венке олив, под белым покрывалом,
Предстала женщина, облачена
В зеленый плащ, и в платье огне-алом.
. . . .
. . . .«Всю кровь мою
Пронизывает трепет несказанный:
Следы огня былого узнаю!»

(Перевод М. Лозинского)

Не моя очередь вспоминать об этом. Если Надя хочет, пусть вспоминает.

Осип читал мне на память отрывки из стихотворения Н. Клюева «Хулители искусства» — причину гибели несчастного Николая Алексеевича. Я своими глазами видела у Варвары Клычковой заявление Клюева (из лагеря о помиловании): «Я, осужденный за мое стихотворение «Хулители искусства» и за безумные строки моих черновиков». Оттуда я взяла два стиха, как эпиграф — «Решку», а когда я что-то неодобрительное говорила об Есенине — возражал, что может простить Есенину что угодно за строку: — «Не расстреливал несчастных по темницам».

В этой биографии поражает меня одна частность: в то время как (в 1933 г.) О. встречали в Ленинграде как великого поэта, persona grata и т. п. — к нему в Европейскую гостиницу на поклон пошел весь тогдашний литературный Ленинград (Тынянов, Эйхенбаум, Гуковский*) и его приезд и вечера были событием, о котором вспоминали много лет и вспоминают еще и сейчас (1962), — в Москве никто не хотел его знать, и кроме двух-трех молодых и неизвестных ученых-естественников, О. Э. ни с кем не дружил. (Знакомство с Белым было коктебельского происхождения). Пастернак как-то мялся, уклонялся, любил только грузин и их «красавиц жен». Союзное начальство вело себя подозрительно сдержанно.

Из ленинградских литературоведов всегда хранили верность Мандельштаму — Лидия Яковлевна Гинзбург и Борис Яковлевич Бухштаб — великие знатоки поэзии Мандельштама. Следует в этой связи не забывать и Цезаря Вольпе, который, несмотря на запрещение цензуры, напечатал в «Звезде» конец «Путешествия в Армению» (подражание древнеармянскому).

Из писателей-современников Мандельштам высоко ценил Бабеля и Зощенко. Михаил М<ихайлович> знал это и очень этим гордился. Больше всего почему-то М. ненавидел Леонова.

* Григорий Александрович Гуковский бывал у Мандельштамов и в Москве.

Кто-то сказал, что Н. Ч<уковск>ий написал роман. Осип отнесся к этому недоверчиво. Он сказал, что для романа нужна по крайней мере каторга Достоевского и десятины Льва Толстого.

Осенью 1933 года Мандельштам, наконец, получил (воспетую им) квартиру* в Нащокинском переулке («Квартира бела, как бумага...»), и бродячая жизнь как будто кончилась. Там впервые у Осипа завелись книги, главным образом старинные издания итальянских поэтов (Данте, Петрарка). На самом деле ничего не кончилось. Все время надо было куда-то звонить, чего-то ждать, на что-то надеяться. И никогда из всего этого ничего не выходило. О. Э. был врагом стихотворных переводов. Он при мне на Нащокинском говорил Пастернаку: «Ваше полное собрание сочинений будет состоять из двенадцати томов переводов и одного тома ваших собственных стихов». Мандельштам знал, что в переводах утекает творческая энергия, и заставить его переводить было почти невозможно. Кругом завелось много людей, часто довольно мутных и почти всегда ненужных. Несмотря на то, что время было сравнительно вегетарианское, тень неблагополучия и обреченности лежала на этом доме. Мы шли по Пречистенке (февраль 1934 года), о чем говорили, не помню. Свернули на Гоголевский бульвар, и Осип сказал: «Я к смерти готов». Вот уже 28 лет я вспоминаю эту минуту, когда проезжаю мимо этого места. Жить, в общем, было не на что — какие-то полупереводы, полурецензии, полуобещания. Пенсии едва хватало, чтобы заплатить за квартиру и выкупить паек.

К этому времени Мандельштам внешне очень изменился, отяжелел, поседел, стал плохо дышать — производил впечатление старика (ему было всего 42 года), но глаза попрежнему сверкали. Стихи становились все лучше, проза тоже. Эта проза, так и неуслышанная, забытая, только сейчас начинает доходить до читателя, но зато я постоянно слышу, главным образом от молодежи, которая от нее с ума сходит, что во всем 20 веке не было такой прозы. Это так называемая — «Четвертая проза».

* Две комнаты, пятый этаж — без лифта (газовой плиты и ванны еще не было).

Я очень запомнила один из наших тогдашних разговоров о поэзии. О. Э, который очень болезненно переносил то, что сейчас называется культом личности, сказал мне: «Стихи сейчас должны быть гражданскими» и прочел: «Под собой мы не чуем...» Примерно тогда же возникла его теория знакомства слов. Много позже он утверждал, что стихи пишутся *только* как результат сильных потрясений, как радостных, так и трагических. О своих стихах, где он хвалит Сталина*, он сказал мне: «Я теперь понимаю, что это была болезнь».

Когда я прочла Осипу мое стихотворение «Уводили тебя на рассвете» (1935), он сказал: «Благодарю вас». Стихи эти в «Реквиеме» и относятся к аресту Н. Н. П<унина> в 1935 году. На свой счет М. принял (справедливо) и последний стих в стихотворении «Немного географии» («Не столицею европейской»): «Он, воспетый первым поэтом, / Нами грешными и *тобой*».

13 мая 1934 года его арестовали. В этот самый день я после града телеграмм и телефонных звонков приехала к Мандельштамам из Ленинграда (где незадолго до этого произошло его столкновение с Толстым). Мы все были тогда такими бедными, что для того, чтобы купить билет обратно, я взяла с собой мой орденский знак Обезьяньей Палаты — последний, данный Ремизовым** в России, и статуэтку (работы Данько, мой портрет 1924 г.) для продажи. (Их купила С. Толстая для музея Союза писателей). Ордер на арест был подписан самим Ягодой. Обыск продолжался всю ночь. Искали стихи, ходили по выброшенным из сундучка рукописям. Мы все сидели в одной комнате. Было очень тихо. За стеной у Кирсанова играла гавайская гитара. Следователь при мне нашел «Волка» и показал О. Э. Он молча кивнул. Прощаясь, поцеловал меня. Его увели в семь утра. Было совсем светло. Надя пошла к брату и к Чулковым на Смоленский бульвар, и мы условились где-то встретиться. Вернувшись домой вместе, убрали квартиру, сели завтракать. Опять стук, опять они, опять обыск. Евг. Я. Хазин

* «Мне хочется сказать не Сталин — Джугашвили» (1935).
** Мне принесли его уже после бегства Ремизова (1921)

сказал: «Если они придут еще раз, то уведут вас с собой». Пастернак, у которого я была в тот же день, пошел просить за Мандельштама в «Известия» к Бухарину, я — в Кремль к Енукидзе. (Тогда проникнуть в Кремль было почти чудом. Это устроил актер Русланов, через секретаря Енукидзе). Енукидзе был довольно вежлив, но сразу спросил: «А может быть, какие-нибудь стихи?» Этим мы ускорили и, вероятно, смягчили развязку. (Приговор — три года Чердыни, где Осип выбросился из окна больницы, потому что ему показалось, что за ним пришли — см. «Стансы», строфа 4 — и сломал себе руку. Надя послала телеграмму в ЦК. Сталин велел пересмотреть дело и позволил выбрать другое место, потом позвонил Пастернаку*. Остальное слишком известно.

Вместе с Пастернаком я была у Усиевич, где мы застали и союзное начальство и много тогдашней марксистской

* Все связанное с этим звонком требует особого рассмотрения. Об этом пишут обе вдовы — и Надя, и Зина, и существует бесконечный фольклор. Какая-то Триолешка даже осмелилась написать (конечно, в Пастернаковские дни), что Борис погубил Осипа. Мы с Надей считаем, что Пастернак вел себя на крепкую четверку.

Еще более поразительными сведениями о М. обладает Х. в книге о Пастернаке: там чудовищно описана внешность М. и история с телефонным звонком Сталина. Все это припахивает информацией Зинаиды Николаевны Пастернак, которая люто ненавидела Мандельштамов и считала, что они компрометируют ее «лояльного мужа».

Надя никогда не ходила к Бор<ису> Леон<идовичу> и ни о чем его не просила, как пишет Роберт Пейн. Эти сведения идут от Зины, которая знаменита бессмертной фразой: мои мальчики (сыновья) больше всего любят Сталина — потом маму. Женщин приходило много. Мне запомнилось, что они были красивые и очень нарядные, в свежих весенних платьях: еще не тронутая бедствиями Сима Нарбут, красавица «пленная турчанка» (как мы ее прозвали) — жена Зенкевича, ясноокая, стройная и необыкновенно спокойная Нина Ольшевская.

молодежи. Была и у Пильняка, где видела Балтрушайтиса, Шпета и С. Прокофьева. Навестить Надю из мужчин пришел один Перец Маркиш. (А в это время бывший синдик «Цеха поэтов», бывший Сергей Городецкий, выступая где-то, произнес следующую бессмертную фразу: «Это строки той Ахматовой, которая ушла в контрреволюцию», так что даже в «Лит. газете», которая напечатала отчет об этом собрании, подлинные слова были смягчены — см. «Лит. газету» 34 г., май).

Б<ухари>н в конце своего письма к С<талин>у написал: «И П<астерна>к тоже волнуется». Сталин сообщил, что отдано распоряжение, что с Мандельштамом будет все в порядке. Он спросил Пастернака, почему тот не хлопотал. «Если б мой друг попал в беду, я бы лез на стену, чтобы его спасти». Пастернак ответил, что если бы он не хлопотал, то Сталин бы не узнал об этом деле».— «Почему вы не обратились ко мне или в писательские организации?» — «Писательские организации не занимаются этим с 1927 года».— «Но ведь он ваш друг?» Пастернак замялся, и С<тали>н после недолгой паузы продолжил вопрос: «Но ведь он же мастер, мастер?» Пастернак ответил: «Это не имеет значения»... (Б. Л. думал, что С<тали>н его проверяет, знает ли он про стихи, этим он объяснял свои шаткие ответы).

...«Почему мы все говорим о Мандельштаме и Мандельштаме, я так давно хотел с вами поговорить».— «О чем?» — «О жизни и смерти»,— Сталин повесил трубку.

Мы с Надей сидели в мятых вязанках, желтые и одеревеневшие. С нами была Эмма Герштейн и брат Нади.

Через пятнадцать дней Наде позвонили и предложили, если она хочет ехать с мужем, быть на Казанском вокзале. Все было кончено. Нина Ольшевская пошла собирать деньги на отъезд. Давали много. Елена Сергеевна Булгакова заплакала и сунула мне в руку все содержимое сумочки.

На вокзал мы приехали с Надей вдвоем. Заехали на Лубянку за документами. День был ясный и светлый. Из каждого окна на нас глядели тараканьи усища «виновника торжества». Осипа очень долго не везли. Он был в таком состоянии, что даже они не могли посадить его в тюремную

карету. Мой поезд (с Ленинградского вокзала) уходил, и я не дождалась. Братья, т. е. Евгений Яковлевич Хазин и Александр Эмильевич Мандельштам, проводили меня, вернулись на Казанский вокзал, и только тогда привезли Осипа, с которым уже не было разрешено общаться. Очень плохо, что я его не дождалась и он меня не видел, потому что от этого ему в Чердыни стало казаться, что я непременно погибла. (Ехали они под конвоем читавших Пушкина «славных ребят из железных ворот ГПУ»).

В это время шла подготовка к 1-му съезду писателей (1934), мне тоже прислали анкету для заполнения. Арест Осипа произвел на меня такое впечатление, что у меня рука не поднялась, чтобы заполнить анкету. На этом съезде Бухарин объявил первым поэтом Пастернака (к ужасу Д. Бедного), обругал меня и, вероятно, не сказал ни слова об Осипе.

В феврале 1936 года я была у Мандельштамов в Воронеже и узнала все подробности его «дела». Он рассказал мне, как в припадке умоисступления бегал по Чердыни и разыскивал мой расстрелянный труп, о чем громко говорил кому попало, а арки в честь челюскинцев считал поставленными в честь своего приезда.

Пастернак и я ходили к очередному верховному прокурору просить за Мандельштама, но тогда уже начался террор, и все было напрасно.

Поразительно, что простор, широта, глубокое дыхание появились в стихах Мандельштама именно в Воронеже, когда он был совсем не свободен.

И в голосе моем после удушья
Звучит земля — последнее оружье...

Вернувшись от Мандельштама, я написала стихотворение «Воронеж». Вот его конец:

А в комнате опального поэта
Дежурят страх и муза в свой черед,
И ночь идет,
Которая не ведает рассвета.

О себе в Воронеже Осип говорил: «Я по природе — ожидальщик, оттого мне здесь еще труднее».

В начале двадцатых годов (1922) Мандельштам дважды очень резко нападал на мои стихи в печати (*Русское искусство*, № 1, 2). Этого мы с ним никогда не обсуждали. Но и о своем славословии моих стихов он тоже не говорил, и я прочла его только теперь (рецензия на «Альманах Муз» и «Письмо о русской поэзии», 1922, Харьков).

Там (в Воронеже) его не с очень чистыми побуждениями заставили прочесть доклад об акмеизме. Не должно быть забыто, что он сказал в 1937 году: «Я не отрекаюсь ни от живых, ни от мертвых». На вопрос, что такое акмеизм, Мандельштам ответил: «Тоска по мировой культуре».

В Воронеже при Мандельштаме был Сергей Борисович Рудаков, который, к сожалению, оказался совсем не таким уж хорошим, как мы думали. Он, очевидно, страдал какой-то разновидностью мании величия, если ему казалось, что стихи пишет не Осип, а он, Рудаков. Рудаков убит на войне и не хочется подробно описывать его поведение в Воронеже. Однако все идущее от него надо принимать с великой осторожностью.

Все, что пишет о Мандельштаме в своих бульварных мемуарах «Петербургские зимы» Георгий Иванов, который уехал из России в самом начале двадцатых годов, и зрелого Мандельштама вовсе не знал, мелко, пусто и несущественно. Сочинение таких мемуаров дело немудреное. Не надо ни памяти, ни внимания, ни любви, ни чувства эпохи *. Все годится и все приемлется с благодарностью невзыскательными потребителями. Хуже, конечно, что это иногда попадает в серьезные литературоведческие труды. Вот что сделал Леонид Шацкий (Страховский) с Мандельштамом: у автора под рукой две-три книги достаточно «пикантных» мемуаров («Петербургские зимы» Г. Иванова, «Полутораглазый стрелец» Бен. Лившица, «Портреты русских поэтов» Эренбурга, 1922). Эти книги использованы полностью. Материальная часть черпается из очень раннего справочника Козьмина «Писатели современной эпохи», М. 1928. Затем

* Там фигурируют «саратовская деревня» Блока, рыжий Комаровский и я, собирающая подаяние.

из сборника Мандельштама «Стихотворения» (1928) извлекается стихотворение «Музыка на вокзале» — даже не последнее по времени в этой книге. Оно объявляется вообще последним произведением поэта. Дата смерти устанавливается произвольно — 1945 (на семь лет позже действительной смерти — 27 декабря 1938 года). То, что в ряде журналов и газет печатались стихи Мандельштама — хотя бы великолепный цикл «Армения» в «Новом мире» в 1930 г., Шацкого нисколько не интересует. Он очень развязно объявляет, что на стихотворении «Музыка на вокзале» Мандельштам кончился, перестал быть поэтом, сделался жалким переводчиком, бродил по кабакам и т. д. Это уже, вероятно, устная информация какого-нибудь парижского Георгия Иванова.

И вместо трагической фигуры редкостного поэта, который и в годы воронежской ссылки продолжал писать вещи неизреченной красоты и мощи, — мы имеем «городского сумасшедшего», проходимца, опустившееся существо. И все это в книге, вышедшей под эгидой лучшего, старейшего и т. п. университета Америки (Гарвардского), с чем и поздравляем лучший, старейший университет Америки.

Чудак? Конечно, чудак! Он, например, выгнал молодого поэта, который пришел жаловаться, что его не печатают. Смущенный юноша спускался по лестнице, а Осип стоял на верхней площадке и кричал вслед: «А Андрея Шенье печатали? А Сафо печатали? А Иисуса Христа печатали?»

С. Липкин и А. Тарковский и посейчас охотно повествуют, как Мандельштам ругал их юные стихи.

Артур Сергеевич Лурье, который близко знал Мандельштама и который очень достойно написал об отношении О. М. к музыке, рассказывал мне (10-е годы), что как-то шел с Мандельштамом по Невскому и они встретили невероятно великолепную даму. Осип находчиво предложил своему спутнику: «Отнимем у нее все это и отдадим Анне Андреевне» (точность можно еще проверить у Лурье).

Очень ему не нравилось, когда молодые женщины любили «Четки». Рассказывают, что он был как-то у Катаевых и приятно беседовал с красивой женой хозяина дома. Под конец ему захотелось проверить вкус дамы и он спросил ее:

«Вы любите Ахматову?» На что та, естественно, ответила: «Я ее не читала», после чего гость пришел в ярость, нагрубил и в бешенстве убежал. Мне он этого не рассказывал.

Зимой в 1933—34 гг., когда я гостила у Мандельштамов на Нащокинском в феврале 1934 г., меня пригласили на вечер Булгаковы. Осип волновался: «Вас хотят сводить с московской литературой!» Чтобы его успокоить, я неудачно сказала: «Нет, Булгаков сам изгой. Вероятно, там будет кто-нибудь из МХАТ'а». Осип совсем рассердился. Он бегал по комнате и кричал: «Как оторвать Ахматову от МХАТ'а?»

Одажды Надя привезла Осипа встречать меня на вокзал. Он встал рано, был не в духе. Когда я вышла из вагона, сказал мне: «Вы приехали со скоростью Анны Карениной».

Комнатку (будущую кухню), где я у них жила, Осип прозвал — Капище. Свою назвал Запястье (потому что в первой комнате жил Пяст). А Надю называл Маманас (наша мама).

Почему мемуаристы известного склада (Шацкий, Страховский, Миндлин, С. Маковский, Г. Иванов, Бен. Лившиц) так бережно и любовно собирают и хранят любые сплетни, вздор, главным образом обывательскую точку зрения на поэта, а не склонив головы перед таким огромным и ни с чем несравнимым событием, как явление поэта, первые же стихи которого поражают совершенством и ниоткуда не идут?

У Мандельштама нет учителя. Вот о чем стоило бы подумать. Я не знаю в мировой поэзии подобного факта, мы знаем истоки Пушкина и Блока, но кто укажет, откуда донеслась до нас эта новая божественная гармония, которую называют стихами Осипа Мандельштама.

В мае 1937 года Мандельштамы вернулись в Москву к «себе» в Нащокинский. Я в это время гостила у Ардовых в том же доме. Осип был уже больным, много лежал. Прочел мне свои новые стихи, но переписывать не давал никому. Много говорил о Наташе (Штемпель), с которой дружил в Воронеже. (К ней обращены два стихотворения — «Клейкой клятвой пахнут почки» и «К пустой земле невольно припадая»).

Уже год, как все нарастая, вокруг бушевал террор. Одна из двух комнат Мандельштамов была занята человеком, ко-

торый писал на них ложные доносы, и скоро им стало нельзя показываться в этой квартире. Разрешения остаться в столице Осип не получил. X. сказал ему: «Вы слишком нервный». Работы не было. Они приезжали из Калинина и сидели на бульваре. Это, вероятно, тогда Осип говорил Наде: «Надо уметь менять профессию. Теперь мы — нищие» и «Нищим летом всегда легче».

Еще не умер ты, еще ты не один,
Покуда с нищенкой подругой
Ты наслаждаешься величием равнин
И мглой, и холодом, и вьюгой.

Последнее стихотворение, которое я слышала от Осипа,— «Как по улицам Киева-Вия» (1937). Это было так. Мандельштамам было негде ночевать. Я оставила их у себя (в Фонтанном доме). Постелила Осипу на диване. Зачем-то вышла, а когда вернулась, он уже засыпал, но очнулся и прочел мне стихи. Я повторила их. Он сказал: «Благодарю вас» и заснул. В это время в Шереметевском доме был так называемый «Дом занимательной науки». Проходить к нам надо было через это сомнительное заведение. Осип озабоченно спросил меня: «А, может быть, есть другой занимательный выход?»

В то же время мы с ним одновременно читали «Улисса» Джойса. Он в хорошем немецком переводе, я в подлиннике. Несколько раз мы принимались говорить об «Улиссе», но было уже не до книг.

Так они прожили год. Осип был уже тяжело болен, но он с непонятным упорством требовал, чтобы в Союзе писателей устроили его вечер. Вечер был даже назначен, но, по-видимому, «забыли» послать повестки, и никто не пришел. О. Э. по телефону пригласил Асеева. Тот ответил: «Я иду на «Снегурочку», а Сельвинский, когда Мандельштам попросил у него, встретившись на бульваре, денег, дал три рубля.

В последний раз я видела Мандельштама осенью 1937 года. Они — он и Надя — приехали в Ленинград дня на два. Время было апокалиптическое. Беда ходила по пятам за всеми нами. Жить им было уже совершенно негде. Осип плохо дышал, ловил воздух губами. Я пришла, чтобы пови-

даться с ними, не помню, куда. Все было как в страшном сне. Кто-то пришедший после меня сказал, что у отца Осипа Эмильевича (у «деда») нет теплой одежды. Осип снял бывший у него под пиджаком свитер и отдал его для передачи отцу. Мой сын говорит, что ему во время следствия читали показания О. Э. о нем и обо мне и что они были безукоризненны. Многие ли наши современники, увы, могут сказать это о себе.

Второй раз его арестовали 2 мая 1938 года в нервном санатории около станции Черустье (в разгаре террора). В это время мой сын сидел на Шпалерной уже два месяца (с 10 марта). О пытках все говорили громко. Надя приехала в Ленинград. У нее были страшные глаза. Она сказала: «Я успокоюсь только тогда, когда узнаю, что он умер».

В начале 1939 года я получила короткое письмо от московской приятельницы (Эммы Григорьевны Герштейн): «У подружки Лены (Осмеркиной) родилась девочка, а подружка Надюша овдовела»,— писала она.

От Осипа было только одно письмо (брату Александру) из того места, где он умер. Письмо у Нади. Она показала мне его. «Где моя Надинька?» — писал Осип и просил теплые вещи. Посылку послали. Она вернулась, не застав его в живых.

Настоящим другом Нади все эти очень для нее трудные годы была Василиса Георгиевна Шкловская и ее дочь Варя.

Сейчас Осип Мандельштам — великий поэт, признанный всем миром. О нем пишут книги — защищают диссертации. Быть его другом — честь, врагом — позор*.

Для меня он не только великий поэт, но и человек, который, узнав (вероятно, от Нади), как мне плохо в Фонтанном доме, сказал мне, прощаясь — это было на Московском вокзале в Ленинграде: «Аннушка (он никогда в жизни не называл меня так), всегда помните, что мой дом — ваш». Это могло быть только перед самой гибелью, т. е. в 1938 году.

8 июля 1963 — Комарово

* Готовят академическое издание его произведений. Находка одного его письма — событие.

Дополнения к «Листкам из дневника»

С. Маковский напечатал нас почти одновременно в «Аполлоне». Мне Маковский по этому поводу сказал: «Он смелее Вас» и причем-то еще было слово «дерзает». Это было наше начало (1911 г.) — см. «Воспоминания» С. Маковского, которые я не читала.

Когда я стояла в очереди «на прикрепление» на март 1921 г. в Доме Ученых, в соседней очереди оказался Н. С. Гумилев, с которым я тогда редко встречалась. Очутившись со мной рядом, он заговорил о стихах Мандельштама и особенно восхищался стихами о Трое («За то, что я руки твои...»). Он всегда очень высоко ценил поэзию О. Э.

Символисты в общем дурно относились к М. Известны (уже напечатанные) отзывы Блока.

Брюсов: а) в разговоре с М. чрезвычайно расхваливал какие-то строки, делая вид, что они принадлежат Осипу. Строки эти принадлежали перу поэта Маккавейского; б) очень любезно предлагал ему (М.) паек, якобы принимая О. Э. за его однофамильца адвоката Мандельштама (начало 20-х годов).

Сологуб был, как ему и свойственно, непримирим. Вяч. Иванов тоже не расслышал Мандельштама. <...>

М. всегда говорил, что у Георгия Иванова мелкий и злобный ум и что Городецкий обладает живостью, которая заменяет ему ум (1923). Потоки клеветы, которую извергало это чудовище на обоих погибших товарищей (Гумилева и Мандельштама), не имеют себе равных (Ташкент, эвакуация). Покойный Макридин, человек сериозный и порядочный, нахлебавшись этого пойла, с ужасом спросил меня: «Уж не он ли их обоих погубил? — или он совсем сумасшедший».

Он неожиданно очень грозно обиделся на меня и совсем перестал бывать на Боткинской. Однако тогда все вокруг было так раздрызгано, бесформенно, кто-то уезжал навсегда, кто-то не навсегда и всем казалось, что они почему-то

на периферии (конечно, не в теперешнем значении этого слова), а центра-то и не было (наблюдение Лозинского), что исчезновение О. М. меня не удивило. О. М. в 3-ем Зачатьевском.

В один из приездов в Ленинград О. Э. подарил своей маленькой племяннице свою книжечку («Два трамвая»). Когда он спросил, понравилась ли ей, она ответила: «Да, дядя Ося. А можно это перерисовать на Муху-Цокотуху?» Осип прибежал ко мне в Фонтанный Дом и с восторгом об этом рассказывал.

С. М. Бонди рассказывал, что Осип слушал Баха (пластинки) у какого-то собирателя пластинок. Тот, ставя новую вещь, что-то якобы остроумное приговаривал. Осип не выдержал и накричал на растерявшегося хозяина.

О. М. и Федин.

В 30-х годах в Ленинграде О. М., встретив Федина где-то в редакции, сказал ему: «Ваш роман («Похищение Европы») — голландское какао на резиновой подошве, а резина-то советская». (Рассказал в тот же день, придя ко мне).

О М<арине> И<вановне> — «Я — антицветаевец». Может быть оттого, что зарубежная Цветаева осталась ему неизвестной.

Говорил: «У меня рифм нет — рифмы у Асеева».

Мандельштам говорил: «Я — смысловик».

При мне назвал свое стихотворение, где про обрывок шотландского пледа — узловым.

Когда, приехав в Воронеж (1936), я рассказала Наде со слов Пильняка, что Сталин, принимая киношников, досадовал на Б. Пастернака за «дружбу» с О. Э., он сказал мне: «Вы Надю кормили отравленными конфетками».

Я с М<андельштама>ми на блинах у Тышлера (1934).

У Осмеркина был портрет-рисунок Мандельштама (очень хороший), который он обещал подарить мне (когда сделан?).

На портрете Митурича похожи только ресницы.

К похвале М. был глуховат, но всякое порицание его очень волновало.

У нас у всех троих (у Пастернака, у Мандельштама и у меня) были многолетние перерывы в писании стихов — у Бориса между «Вторым рождением» и девятью стихотворениями из книги «На ранних поездах» (которые он прочел мне в июне 1941 г.). У Мандельштама между «Музыкой на вокзале» и... У меня между 1924 г. и 1936 г. («Художнику» — и цикл 36 г.). И что это значит, одному Богу известно.

«Листки из дневника» печатаются по одному из авторизованных списков. «Дополнения» любезно сообщены архивистом Н. И. Крайневой. Опыт реконструкции ахматовских воспоминаний о Мандельштаме см. в публикации В. Я. Виленкина (*Вопросы литературы,* 1989, № 2).

Поясним выборочно некоторые имена и обстоятельства.

Строчки «На грязь горячую от топота коней...» принадлежат поэту Тихону Чурилину.

Эпизод с Н. В. Недоброво на «Тучке» (квартире в Тучковом переулке) в очерке Г. Иванова «Поэты» выглядит так: «Редкий гость на «Тучке» Н. В. Недоброво, барин-дилетант, высоким голосом с английским акцентом просит извинения, что стихи, которые он сейчас прочтет, не отделаны, так как недавно написаны — всего пять лет назад. Отделанные или нет, его сонеты несколько тяжелы. Есть такие строчки:

В искусстве чувств труд изощрить чтеца...

или:

Мощь мышц от тела тяжесть отняла...»

(первая строчка принадлежит на самом деле поэту Е. Г. Лисенкову).

Пародируемая строка «И ужас морей — однозуб» — из баллады Шиллера «Кубок» в переводе Жуковского, а «златозуб» означает обладателя золотой коронки.

В цеховом сонете «супруг Анеты» — Гумилев, Нарбут назван «Волком» по своему одноименному стихотворению, а Мария Людвиговна Моравская (1889—1947) — участница Цеха поэтов.

Письма Мандельштама к Вяч. Иванову были сообщены Ахматовой литературоведом Александром Анатольевичем Морозовым, впо-

следствии их опубликовавшим. Он же сообщил Ахматовой текст стихотворения «Телефон».

В воспоминаниях сестры поэтессы А. К. Герцык — Евгении Казимировны Герцык рассказывается о «Башне» Вяч. Иванова: «Каждый вечер студенты Модест Гофман, Ивойлов, изредка Гумилев, Ахматова, совсем юные, ставшие впоследствии поэтами. <...> Однажды бабушка привела внука на суд к В. Иванову, и мы очень веселились на эту поэтову бабушку и на самого мальчика Мандельштама, читавшего четкие фарфоровые стихи».

Бяка — Вера Артуровна Шиллинг (де Боссе), которая жила с Судейкиным летом 1917 года в Крыму и отразилась в тогдашнем алуштинском стихотворении Мандельштама «Золотистого меда струя из бутылки текла...»

Поэтесса Анна Дмитриевна Радлова (1891—1951) в стихах, посвященных критику В. А. Чудовскому, писала: «Ты будешь мне Архистратигом сниться...»

Группа «Гилея» — объединение кубофутуристов, с которыми Мандельштам ненадолго сблизился осенью 1913 года.

Кандзо Наруми (1899—1974) — известный японский филолог-русист.

Николай Васильевич Макридин (1888—1942) — инженер-мелиоратор, член Цеха поэтов.

\+ + +

О. Мандельштаму

Я над ними склонюсь, как над чашей,
В них заветных заметок не счесть —
Окровавленной юности нашей
Это черная нежная весть.

Тем же воздухом, так же над бездной
Я дышала когда-то в ночи,
В той ночи и пустой и железной,
Где напрасно зови и кричи.

О, как пряно дыханье гвоздики,
Мне когда-то приснившийся там,—
Это кружатся Эвридики,
Бык Европу везет по волнам.

Это наши проносятся тени
Над Невой, над Невой, над Невой,
Это плещет Нева о ступени,
Это пропуск в бессмертие твой.

Это ключики от квартиры,
О которой теперь ни гу-гу...
Это голос таинственной лиры,
На загробном гостящей лугу.

1957

\+ + +

27 дек. 1963. Москва

Надя,

посылаю Вам три странички — это в «Листки из Блокнота», которыми я продолжаю постоянно заниматься. Вероятно, кончится небольшой книгой.

Думали ли мы с Вами, что доживем до сегодняшнего Дня — Дня слез и Славы. Нам надо побыть вместе — давно пора.

У Вас, то есть у Осипа Эмильевича, все хорошо. Сейчас позвоню Вашему Жене.

Спасибо за письмо

Ваша Ахматова

Л. В. Яковлева-Шапорина. Из дневника

16 января 1967

Анна Андреевна мне рассказала. Ее пригласили однажды явиться в НКВД (кажется, это было вскоре после реабилитации Е. М. Тагер). Ей дали список посетителей (их было 79) и сказали, что обращаются к ней, как к уважаемой писательнице и лояльной советской гражданке с просьбой прочесть этот список оговоренных и оклеветанных писателей и высказать о них свое мнение.

79 имен. Среди них и Федин, и Тихонов, и многие другие.— (Очевидно, 80 была я сама,— догадалась Ахматова).

Никого там не было такого, кого она могла бы заподозрить в предательстве и вредительстве. Так она им и сказала.

Из этого списка, продиктованного чекистами людям, измученным пытками и побоями... брали по собственному вкусу: так был арестован и сослан поэт Спасский, он после освобождения недолго прожил, сердце устало.

Многие пострадали,— не помню имен. А список, по-видимому, был составлен, вернее, написан под диктовку, Б. Лившицем и Юркуном, которых тоже нет на белом свете. Людей, домученных до предательства, уничтожают, как нежелательных свидетелей.

\+ \+ \+

. . . .
Я знаю, с места не сдвинуться
От тяжести Виевых век.
О, если бы вдруг откинуться
В какой-то семнадцатый век.

С душистою веткой березовой
Под Троицу в церкви стоять,
С боярынею Морозовой
Сладимый медок попивать,

А после на дровнях в сумерки
В навозном снегу тонуть...
Какой сумасшедший Суриков
Мой последний напишет путь?

1939 <?>

М. Зенкевич

Памяти Владимира Нарбута

«Жизнь моя, как летопись, загублена.
Киноварь не вьется по письму,
Ну, скажи: не знаешь — почему
Мне рука вторая не обрублена?»
Эх, Володя, что твоя рука!
До руки ли, до соленой влаги ли,
Если жизнь прошел ты от ЦК
По этапам топким до концлагеря.

Как сполохами сияет здание
Подписью ЦК ВКП(б) — (большевиков),
Горло сжали, как петля, рыдания.
Где ж твой пропуск? Или не готов?
Этих букв сверкающая светопись
Будоражит мировую тьму...
Жизнь твоя загублена, как летопись,
Киноварь не вьется по письму.
Стоп... Окно... Но где китайгородская,
Белокаменная где стена?
Видишь: ледяная ширь Охотская
Заполняет глубину окна...
В зале заседанья так накурено,
И без оселедца, неживой —
Восковой папировкой Мичурина
В дыме виснет голый череп твой.
Там встречался ты с поэтом-тезкою,
Приносил стихи он в прессбюро,
При тебе подчас с усмешкой жесткою,
Чтоб исправить, брался за перо.
Вновь весна! Надежда — как проталина...
Он не раз в присутствии твоем
Все просил, чтоб как-нибудь у Сталина
Для него устроили прием.
И дворец из стали нержавеющей
В честь его под площадью возник,
А тебе открылся мрачно веющий
Вечной мерзлотой земли — рудник.
Два поэта, над стихами мучаясь,
Отливали кровью буквы строк,
И трагической, но разной участью
Наградил их беспощадный рок!
Ты мечтал, цынгою обескровленный,
Что с любимою в полночный час
На звезде заранее условленной —
Встретишься лучистой лаской глаз.
На мороз ты шел, как бы оправиться,
Ноги вспухшие чуть волоча,
Чтоб в глаза звездой могли уставиться
Два ответных ласковых луча.

Всей душою в лучезарной мгле топись!
Позабудь про скорбь, скорбут и тьму!
Жизнь твоя загублена, как летопись,
Кровь твоя стекает по письму!
Ведь и смерть, как жизнь, лишь дело случая,
И досками хлюпкими дрожа,
Затянула в трюм тебя скрипучая,
Ссыльная рудничная баржа.

Но свиданье, что тебе обещано,
Не разъять бушующей воде:
Два влюбленных взгляда вечно скрещены
На далекой золотой звезде.

6—10 сентября 1940

С. А. Аскольдов. Из письма к А. А. Золотареву

2 марта 1939

Мне было чрезвычайно приятно прочитать Вашу цитату из Ахматовой. Мы, кажется, ее прежде и мало знали, и не ценили. Я ее очень высоко ставлю и люблю. Я с ней был слегка знаком в период 25—28 годов. Вот уже два года я все добиваюсь ее адреса, чтобы именно теперь, когда она сошла со сцены, засвидетельствовать ей мое уважение и прочая и прочая. В самом конце января мне, наконец, удалось ее повидать. Но она была нездорова и приняла меня в постели. Я посидел у нее 1/4 часа; поговорить очень мало удалось (да и она вообще очень, очень молчалива). Но я получил впечатление, что в ней еще большой запас жизни и, вероятно, творчества.

Литературное обозрение, 1989, № 5.
Аскольдов (Алексеев) Сергей Алексеевич (1871—1945) — известный русский философ. Письмо адресовано бывшему товарищу по заключению.

\+ + +

На стеклах нарастает лед.
Часы твердят: «Не трусь!»
Услышать, что́ ко мне идет,
И мертвой я боюсь.

Как идола, молю я дверь:
«Не пропускай беду!»
Кто воет за стеной, как зверь,
Что прячется в саду?

Лидия Жукова. Из книги «Эпилоги»

Первая встреча

В очереди, в которой ничего не дают, ни мерзлого мяса, ни селедок, ни заграничных сапог,— в них бы так уютно ногам, когда мороз щиплет кончики пальцев, ехидно и больно щиплет,— в долгой, послушной очереди без склочного «вы тут не стояли», в эти тягучие часы, когда прислониться бы к стене или опуститься на пол от дурноты, и когда все-таки держишься и покорно топчешься, и ждешь, когда же будет это счастье сунуть в зарешеченное окошко передачу, те рубли, которые полагаются, я впервые увидела Ахматову.

На Шпалерной,— я ходила туда узнать о брате,— разговор был краток: «от кого—кому». Вот и ее черед, она подошла к окошку-щелке,— там какие-то петлицы и неприступный манекен; негромко, не разжимая рта, она произнесла положенное: «Ахматова — Гумилеву». Я потом замечала эту ее манеру говорить едва шевеля губами, складывая рот трубочкой. Она иногда говорила очень внятно, низким, «поставленным» голосом. А иногда вот так, когда трудно, едва шевеля губами, складывая рот трубочкой, своим осо-

бым ахматовским шепотом. «Ахматова — Гумилеву!» По застывшей очереди волной отзывались эти имена. Льва Гумилева, сына двух поэтов, наказывали за грехи отцов, быть может, только за то, что они поэты. А она все тащилась на эту кому неведомую Шпалерную со своим уже автоматическим и жутковатым,— «Ахматова — Гумилеву». В чем-то длинном, темном, тяжелом, она показалась мне фантомом прошлого, мне и в голову не приходило, что эта старомодная дама в неуклюжем пальто и шляпке напишет еще столько новых гениальных стихов, и мне посчастливится слышать их от нее самой, из этих неразжимающихся губ, чтоб я не записывала, а запоминала, что великий поэт, она иной раз спустится ко мне вниз, в мою ташкентскую комнатушку, и вместе будем мы вталкивать в себя неостывшую рисовую кашу, дошедшую наконец на этом упрямом азиатском чугунке.

Л. Жукова. Эпилоги. Нью-Йорк, кн. I, 1983.
Лидия Львовна Жукова — сестра ленинградского театрального критика С. Л. Цимбала.

Л. В. Яковлева-Шапорина. Из дневника

17 июля 1939 года

Сволочи. Я не могу — меня переполняет такая невероятная злоба, ненависть, презрение,— и что можно сделать? Ни одного журналиста не осталось из тех, кто имел голос и голову на плечах — Радек, Бухарин, Старчаков. Жив ли умница А.О? Ему инкриминировали (и он признался в этом!) покушение на Ворошилова! Мы знаем, как при Ежове, да и не только при Ежове, люди сознавались в несуществующих преступлениях. Как Крейслер видел пол, залитый кровью в комнате, куда его ввели на допрос. Его били по щекам. А. Ахматова рассказывала мне со слов сына,— что в прошлом июне 1938 г. были такие избиения, что людям переламывали ребра, ключицы. Сын Ахматовой обвиняется в покушении на Жданова.

В записи упоминаются критик Александр Осипович Старчаков (1892—1938) и журналист Д. Крейслер.

ПОДРАЖАНИЕ АРМЯНСКОМУ

Я приснюсь тебе черной овцою
На нетвердых, сухих ногах,
Подойду, заблею, завою:
«Сладко ль ужинал, падишах?
Ты вселенную держишь, как бусу,
Светлой волей Аллаха храним...
И пришелся ль сынок мой по вкусу
И тебе, и деткам твоим?»

\+ + +

С Новым годом! С новым горем!
Вот он пляшет, озорник,
Над Балтийским дымным морем
Кривоног, горбат и дик.
И какой он жребий вынул
Тем, кого застенок минул?
Вышли в поле умирать.
Им светите, звезды неба!
Им уже земного хлеба,
Глаз любимых — не видать.

Январь 1940

\+ + +

В саду голосуют деревья
Н. З.

И вот, наперекор тому,
Что смерть глядит в глаза,—
Опять, по слову твоему,
Я голосую з а:
То, чтобы дверью стала дверь,
Замок опять замком,
Чтоб сердцем стал угрюмый зверь
В груди... А дело в том,
Что суждено нам всем узнать,
Что значит третий год не спать,
Что значит утром узнавать
О тех, кто в ночь погиб.

1940

ПАМЯТИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА

Вот это я тебе, взамен могильных роз,
Взамен кадильного куренья;
Ты так сурово жил и до конца донес
Великолепное презренье.
Ты пил вино, ты как никто шутил
И в душных стенах задыхался,
И гостью страшную ты сам к себе впустил,
И с ней наедине остался.
И нет тебя, и все вокруг молчит
О скорбной и высокой жизни,
Лишь голос мой, как флейта, прозвучит
И на твоей безмолвной тризне.
О, кто поверить смел, что полоумной мне,
Мне, плакальщице дней погибших,
Мне, тлеющей на медленном огне,
Все потерявшей, всех забывшей,—

Придется поминать того, кто, полный сил
И светлых замыслов, и воли,
Как будто бы вчера со мною говорил,
Скрывая дрожь смертельной боли.

Март 1940
Фонтанный Дом

СТАНСЫ

Стрелецкая луна. Замоскворечье. Ночь.
Как крестный ход идут часы Страстной недели.
Мне снится страшный сон. Неужто в самом деле
Никто, никто, никто не может мне помочь?

«В Кремле не можно жить»,— Преображенец прав,
Там зверства древнего еще кишат микробы:
Бориса дикий страх, всех Иоаннов злобы,
И Самозванца спесь — взамен народных прав.

1940, апрель. Москва

В. Перцов. Читая Ахматову

Поэзия Ахматовой «затонула» на многие годы — последняя ее книга вышла в 1923 году. Ахматова продолжала писать стихи, которых мы не читали. И вот через 17 советских лет — период времени геологический — появляется ее новая книга.

В начале помещены новые стихи, вслед за ними в обратно-хронологическом порядке избранные стихи из прежних пяти книг. Материал расположен в правильной последовательности: нетерпеливый любитель поэзии с первой страницы получает возможность сказать себе: Ахматова 1940 года пишет по-прежнему хорошо. И даже лучше, чем раньше. Такая же, как и прежде, ясность высказывания поэта, хотя речь идет о вещах, по самому своему существу

неясных, нечетких, дрожащих и туманных. Ни малейшей претенциозности в слове, несмотря на излом в чувстве. Никакого перемигивания с искусством «полутонов» и намеков, в котором зачастую, под видом ложной значительности, скрывается отсутствие точной лирической мысли. Такая же, как и раньше, железная логика в развертывании лирической мысли, в расположении «доказательств», в смыкании «посылок» и «выводов». И наряду с изысканным ажурным словом — верное чутье народных форм родного языка.

Мастер не устал, не состарился, не растерял и себя, несмотря на столько лет уединенной жизни. И, напротив, кое в чем утвердился на позициях своей молодости и стал писать лучше. Разговор с Музой, которая в стихах Анны Ахматовой представляет собой вполне реальный персонаж и даже характер, в 1940 году ведется еще более серьезно (и я бы сказал — решающе) по сравнению с прежними книгами. Вот этот разговор в книге «Белая стая» (1917):

Муза ушла по дороге,
Осенней, узкой, крутой,
И были смуглые ноги
Обрызганы крупной росой.

Я долго ее просила
Зимы со мной подождать.
Но сказала: «Ведь здесь могила,
Как ты можешь еще дышать?»
. . . .
Я глядя ей вслед, молчала,
Я любила ее одну,
А в небе заря стояла,
Как ворота в ее страну.

Новое стихотворение «Муза» — такое:

Когда я ночью жду ее прихода,
Жизнь, кажется, висит на волоске.
Что почести, что юность, что свобода
Пред милой гостьей с дудочкой в руке.

И вот вошла. Откинув покрывало,
Внимательно взглянула на меня.
Ей говорю: «Ты ль Данту диктовала
Страницы Ада?» Отвечает: «Я».

И Муза здесь сознательнее, и у поэта настоящий темперамент.

Если после новых стихов Ахматовой восстановить в памяти весь ее прежний творческий путь по сборнику «Из шести книг» и опять вернуться к новым стихам, то можно заметить в них и одну новую особенность. Нельзя еще считать поворотом к большой эпической форме такие новые произведения, как «Клевета» и «Лотова жена». Но, во всяком случае, в них чувствуется стремление выйти из круга субъективных переживаний к объективной теме. Такое же значение имеют стихи «Данте» и «Клеопатра». Ахматова умеет изображать в своих новых «повествовательных» стихах большие душевные движения, безоглядную трагическую страсть.

Особую славу, как известно, стяжали себе стихи Ахматовой о любви. Постоянная тема Ахматовой — странная, трагическая любовь, любовь — кара и мука, на которую женщина — героиня ее поэзии — сама обрекает себя:

Сжала руки под темной вуалью...
«Отчего ты сегодня бледна?»
— Оттого, что я терпкой печалью
Напоила его допьяна.

Ахматова создала в своей поэзии образ женщины, пожертвовавшей собой для любви. Этот образ возник в поэзии Ахматовой на фоне разнузданной, упадочной литературы, которая пользовалась особенным успехом у реакционного обывателя в годы литературного дебюта автора «Четок» и «Белой стаи».

Перечитывая сейчас стихи Ахматовой 1911—12 годов, понимаешь ее поэтическую заслугу, которая выражается в том, что в самом близком соседстве с модной темой и на том же материале Ахматова сумела в этих давних стихах силой личного своеобразия, искусства и вкуса создать женский образ, не лишенный обаяния и для нас.

6—644

Вряд ли кто-нибудь станет упрекать Ахматову за то, что этот образ не созвучен с нашим идеалом женщины и далек от образов замечательных русских женщин, которых мы любим у Пушкина и Некрасова. Стихи Ахматовой написаны давно, в трудное время буржуазного распада семьи.

Есть другой признак, относящийся уже не столько к качеству этих старых стихов, сколько к современному их восприятию. Об этом признаке нужно сказать, чтобы понять место Ахматовой в нашем культурном сознании и в нашей поэзии.

Очень неширок круг явлений жизни, освещенный в творчестве этого незаурядного мастера. Сквозь шесть ее книг идешь, как между стен ущелья. Отношения любящих людей Ахматова изображает всегда в одном и том же разрезе — любовного самораспятья женщины. Когда читаешь подряд много замечательных ахматовских стихов,—нехватает воздуха. Ведь отношения любви в реальной жизни настолько богаче и содержательнее того, о чем пишет Ахматова, и складываются в таких разных плоскостях, что для деятельного человека нашего времени эта мастерская поэзия становится просто монотонной. Подразумеваю при этом, что сей деятельный человек влюблен и отвергнут, т. е. по отношению к восприятию стихов Ахматовой находится в самом лучшем положении.

На восприятии этих стихов как бы проверяется качество нашей новой жизненной установки, ее многопланность и направленность к общему, а не к частному, к судьбам человечества. И качество любви нашей другое — она, как сказал Маяковский, «пограндиознее онегинской любви». Героиня Ахматовой и мы — люди слишком разные. Это и не может не сказаться, несмотря на былое и настоящее мастерство поэта.

Р. В. Иванов-Разумник. Из книги «Писательские судьбы»

Но вот имя, которое можно назвать: Анна Ахматова. В течение двадцати лет она — печатно — молчала; поэзия ее была «не актуальна»... Правда, в конце двадцатых или начале тридцатых годов «Издательство писателей в Ленинграде» получило цензурное разрешение издать в двух томах собрание стихов Анны Ахматовой — под редакцией, с комментариями и со вступительной статьей Демьяна Бедного... От этой чести Анна Ахматова категорически отказалась, предпочитая оставаться неизданной. <...> Возвращаюсь в Анне Ахматовой: вдруг случилось невероятное, было свыше разрешено издать том избранных ее стихотворений, который и вышел в 1940 году, под заглавием «Шестикнижие» и, надо думать, дошел и до «русских в Европе», почему я о нем и не распространяюсь. Не знаю, известно ли зато окончание всей этой эпопеи? Прошло всего полгода после выхода в свет этой книги, как появление ее было признано ошибкой, книга была негласно изъята из продажи и из библиотек... Анне Ахматовой более идет быть задушенной цензурой, чем преуспевающей. К слову сказать, за эти годы молчания ей удалось сделать ценный вклад в пушкиноведенье, указав на истоки «Золотого Петушка» в произведениях Вашингтона Ирвинга (статья об этом Анны Ахматовой была напечатана, если не ошибаюсь, в журнале «Звезда»).

Р. Иванов-Разумник. Писательские судьбы. Нью-Йорк, 1951.
«Иванов-Разумник» — псевдоним Разумника Васильевича Иванова (1878—1946) — критика, публициста «неонароднического» толка, который подвергался в 1920—1930 годах репрессиям за былые связи с левыми эсерами. О сборнике «Четки» Иванов-Разумник писал скорее осуждающее: «... значительная часть ее стихотворений посвящена узким переживаниям, происходящим около ресторанного столика». Но после выхода «Anno Domini» говорил о поэзии Ахматовой как «личной, острой, глубокой».

Из передовой статьи «Ленинградской правды» «Активизировать творческую работу писателей»

<...> А разве не следовало, например, обратить внимание на вышедшую недавно книгу стихов А. Ахматовой, книгу, в которую беспечными редакторами включены и стихи неудачные, проникнутые настроениями упадочничества? <...>

С. Нагорный. Из статьи «Следующий номер»

<...> Как о безвозвратно прошедшем И. Гринберг пишет: «Двадцать лет тому назад критики любили сопоставлять и противопоставлять Маяковского и Ахматову». Дальше автор дает понять, что сейчас нельзя этого делать, что, мол, произошла «примечательная встреча двух поэтов...»

И. Гринберг советует поэтам учиться у А. Ахматовой «чувству времени», которое, якобы, «озаряет все стихотворение» — одно из тех, что «написаны в последние годы». По его мнению, именно в стихах Ахматовой больше, чем у кого-нибудь другого, «присутствует чувство времени, присутствует память о широком мире».

Мы позволили себе не согласиться с этим. Стихи Ахматовой глубоко чужды самому духу советского общества. <...>

А. Сурков. Из отчета об обсуждении книг о Маяковском

<...> Мне казалось, что разговор должен был начаться с выяснения политического смысла таких явлений, как попытки выдвинуть кандидатуру Анны Ахматовой на соискание сталинской премии по поэзии или утверждения ленинградского критика Гринберга о том, что эта явно «не с нами поющая» поэтесса — единственная после Маяковского выразительница «чувства времени» <...>

> Цитаты взяты из «Ленинградской правды» за 27 сентября 1940 года и «Литературной газеты» за 29 сентября и 1 декабря 1940 года.

\+ + +

Прокаженный молился...
Брюсов

То, что я делаю, способен делать каждый.
Я не тонул во льдах, не изнывал от жажды,
И с горсткой храбрецов не брал финляндский дот,
И в бурю не спасал какой-то пароход.
Ложиться спать, вставать, съедать обед убогий
И даже посидеть на камне у дороги,
И даже, повстречав падучую звезду
Иль серых облаков знакомую гряду,
Им улыбнуться вдруг — поди куда как трудно,
Тем более дивлюсь своей судьбине чудной
И, привыкая к ней, привыкнуть не могу
Как к неотступному и зоркому врагу.
Затем, что из двухсот советских миллионов,
Живущих в благости отеческих законов,
Найдется ль кто-нибудь, кто свой горчайший час
На мой бы променял — я спрашиваю вас,
И не откинул бы с улыбкою сердитой
Мое прозвание как корень ядовитый?
О Господи! Воззри на легкий подвиг мой
И с миром отпусти свершившего домой.

Январь 1941
Фонтанный Дом

\+ + +

И осталось из всего земного
Только хлеб насущный Твой,
Человека ласковое слово,
Чистый голос полевой.

1941

Павел Лукницкий. Из дневника

28 сентября 1941 г. 10 утра

Вчера во время воздушной тревоги я вышел из Гослитиздата на улицу, надумал зайти на канал Грибоедова, повидать людей, живущих в надстройке писателей. Здесь, в коридоре, между полуподвальными квартирами, в санитарной комнате, я увидел детей и несколько жен писателей. Лишний раз убедился я, как шутки и веселый тон помогают снять оцепенение, в котором пребывают испуганные бомбежкой женщины. Узнал, что эвакуируемая по решению горкома партии А. А. Ахматова должна улететь наутро и что несколько дней назад она переселилась из своей квартиры на Фонтанке — сюда. Мне захотелось попрощаться с нею. Анна Андреевна выбралась в коридор из темной лачуги убитого дворника Епишкина; в шубе, в платке, слабая, нездоровая, присела со мной на скамеечку.

Лукницкий П. Сквозь всю блокаду. Л., 1964, с. 99.

Надежда Чулкова. Из воспоминаний

Наступила война 1941 г. Вот что я записала тогда в своем дневнике:

«9-ое окт. 1941 г. Сейчас была у меня Анна Андреевна. Ее эвакуирует государство из Ленинграда в Чистополь Казанской области. Она пробыла у меня час. Я угостила ее яичницей и кофе со сливками. Она удивилась, что я предложила такое угощение, и сказала: «Вы даже теперь угощаете меня такими вкусными вещами...» В Ленинграде в это время уже голодали. Она провела все это время с начала войны в Ленинграде и, видимо, очень настрадалась. Сказала, что по дороге в Москву в самолете она сочинила стихотворение — оно начинается так: «Черные птицы летают в зените...» (птицы — это самолеты). «Слышен стон Ленинграда: «хлеба, хлеба...», и сыны его на дне Балтийского моря грезят и просят во сне: «Помогите, помогите Ленинграду!..»

Летела она вместе с писателем Зощенко. Их самолет эскортировали семь самолетов. Она сказала: «Надо было давно уехать. Мы, ленинградцы, были легкомысленны, когда отказывались от эвакуации. Но в то время там было так тепло, все были нарядные, было много цветов, и не верилось в возможность этого ужаса, какой теперь переживают ленинградцы!»

Она еще рассказывала мне: «Когда мы сидели в «щели» в нашем садике — я и семья рабочего, моего соседа по комнате (его ребенок был у меня на руках), я вдруг услышала такой рев, свист и визг, какого никогда в жизни не слыхала*, это были какие-то адские звуки, мне казалось, что сейчас я умру». Я спросила: «Что вы подумали в это время?» «Я подумала,— сказала она,— как плохо я прожила свою жизнь и как я не готова к смерти».— «Но ведь можно и в один миг покаяться и получить прощение?» — сказала я. «Нет, надо раньше готовиться к смерти»,—ответила Анна Андреевна.

Вспоминали покончившую с собой в Чистополе несчастную поэтессу Марину Цветаеву.

Перевезли Ахматову из Ленинграда бесплатно в Москву, а в Москве Литфонд снабжает ее в дорогу продуктами. Ан-

на Андреевна сказала, что она надеется на хороший прием у татар благодаря своей татарской фамилии.

Но Ахматова не попала в Чистополь и жила все время в Ташкенте в числе других московских писателей. В одном с нею доме жили Цявловский с женой и Городецкие.

*

Разорвалась фугасная бомба.

В. А. Меркурьева.
Из письма к Е. Я. Архиппову

5 апреля 1942 года

Что еще о ней? Хочется все крупинки подобрать. Говорила, что «20 лет жила пещерной жизнью — не писала ни одной строчки, вдруг написала в прошлом году одно стихотворение и потом год до войны писала непрестанно, не зная, как остановить этот поток стихов». «Советский писатель» собрался издавать стихи того года — война остановила. Ташкент ей нравится, любит бродить по его улицам, обсаженным тополями, карагачами, с канавками проточной воды — арыками — вдоль улиц. Здесь много зелени, садов, скверов, дворы — сплошные сады, но цветов сравнительно мало — кроме чайных роз, которые в каждом узбекском дворе не боятся зимы. Уже прошли фиалки, сегодня Катя принесла тюльпаны. Недели через две — сирень, а там розы и жара.

\+ + +

Любо вам под половицей
Перекликнуться с синицей
И присниться кой-кому,
Кто от вас во сне застонет,
Но и слова не проронит
Даже другу своему.

1942

Сергей Спасский. Из статьи *«Письма о поэзии»*

В трудном 42 году прозвучало стихотворение Ахматовой о мужестве. Оно четко, как латинская надпись. Это — слова присяги, данные всей русской литературой:

Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мертвыми лечь,
Не горько остаться без крова,—
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесем,
И внукам дадим, и от плена спасем
Навеки!

Множество мыслей излучается из этого стихотворения, а в нем несколько спокойных строк. Но чтобы создать их, нужен был большой поэтический опыт.

Звезда, 1945, № 1.

Юзеф Чапский. Из книги «На жестокой земле»

Польский аристократ, художник-авангардист, выпускник Петербургского университета, хорошо знавший Д. В. Философова и З. Н. Гиппиус, кавалерийский офицер Юзеф Гутен-Чапский (р. 1896) участвовал в двух мировых войнах. В сентябре 1939 года он попал в плен и был отправлен в лагерь под Старобельском вместе с двумя тысячами других польских офицеров. Чапский и 78 его товарищей были переведены в июне 1940 года в другой лагерь — в Грязовец под Вологдой. В конце августа 1941 года в лагерь прилетел польский генерал Андерс, который 14 августа был доставлен в Кремль прямо с Лубянки и договорился со Сталиным о создании польской армии в России. Опираясь на палку после ранения, под эскортом офицеров НКВД, он заявил перед строем поляков: «Сейчас мы должны забыть все и сражаться с нашим общим врагом, плечо к плечу с нашим союзником — с Красной Армией».

Поляки — пленные солдаты, депортированные мирные жители,— стали постепенно собираться в городке Тоцке под Оренбургом, в старом казачьем лагере, где формировалась польская армия. Скоро выяснилось, что пятнадцати тысяч пленных офицеров нигде нет. Никто даже не мог ничего о них рассказать. В их числе оказались и две тысячи старобельских товарищей Чапского. Андерс поручил Чапскому их розыск. Но ни в Москве, ни в Куйбышеве, ни в управлении ГУЛАГа в Чкалове ему ничего не сказали об их судьбе.

В 1942 году Чапский ведал культурной работой в штабе генерала Андерса в Янги-Юле под Ташкентом. Андерс рекомендовал ему пригласить находившегося в Ташкенте Алексея Толстого. Толстой был в штабе и пригласил Чапского нанести ему ответный визит. На этом вечере у Толстого он познакомился с Ахматовой.

В 1943 году польская армия генерала Андерса переправилась в Иран и позже вступила в войну на итальянском фронте. Польское правительство после окончания войны лишило гражданства солдат и офицеров армии Андерса. С тех пор Чапский живет в Париже.

Сразу после войны Чапский написал книгу о своей одиссее, исполненную горечи и теплоты к нашей стране, которую он хорошо знал и любил.

По рассказам Лидии Корнеевны Чуковской, были и еще встречи Чапского с нею и с Ахматовой помимо тех, которые он описал. Однако все свои контакты Чапский был обязан согласовывать с приставленным к нему офицером НКВД Соколовским, и о тех встречах, когда ему удавалось избавиться от надзора, он решил умолчать, слишком хорошо представляя себе обстановку тех лет и боясь повредить Ахматовой.

Встрече с Чапским, возможно, посвящено стихотворение «В ту ночь мы сошли друг от друга с ума...» Еще одна встреча Ахматовой с ним состоялась в 1965 году в Париже.

В недавно опубликованных воспоминаниях Чапский рассказывает, что от Толстого они с Ахматовой вышли вместе: «Мы с ней совершили длинную прогулку, во время которой она совершенно преобразилась. Ахматова с болью и горечью говорила о том, что она целовала сапоги всех знатных большевиков, чтобы они ей сказали, жив или умер ее сын, но ничего от них не узнала. Мы были удивлены, что стали вдруг так близки друг другу, а это оказалось возможным из-за того, что я был в польском мундире, и она мне абсолютно поверила, что я не шпион. Об этом я, конечно, не мог написать в книге, которая вышла еще при жизни Ахматовой» (*Русская мысль*, 1989, 10 марта).

Толстой пригласил только переводчиков и нескольких русских писателей: среди них была Анна Ахматова, с которой я тогда познакомился. Был еще Тихонов, старый друг Горького, известный издатель, очень скромного вида. Была и невестка Горького. Около десяти часов мы все собрались в большой гостиной вокруг стола, уставленного винами, изумительным «кишмишем» и закусками. Жара спала, стало прохладно и легко.

Было решено, что Тихонов займется подготовкой к публикации тома стихов, и что этот том будет состоять из трех разделов: стихов, написанных в оккупированной Польше, которые нам кто-нибудь доставит через Лондон; стихов, написанных поэтами в эмиграции, и, наконец, стихов поэтов, которые служат в польской армии в СССР. Как в Янги-Юле, меня попросили читать и переводить «с листа».

Общий дух и отклик присутствовавших русских превзошли все мои самые смелые ожидания. Я вижу, как сейчас, слезы в больших глазах молчаливой Ахматовой, когда я неловко переводил последнюю строфу «Варшавского Рождества»:

Но если все же надо явить ее миру
В тени развалин Варшавы
От самого ее рождения — то распните ее на кресте.

«Баллада о двух свечах» и «Родина Шопена» Балинского, так же как и «Набат над Варшавой» Слонимского, всех потрясли. Меня заставили их переводить строка за строкой, не

позволяя перескочить ни через одну. Я много раз уже пробовал передать иностранцам, в частности, французам, обаяние польской поэзии, но обычно с минимальным успехом. Никогда еще я не встречал такого внимания, никогда я еще не чувствовал так сильно ответной реакции, как со стороны русских.

Ахматова согласилась перевести «Варшавское Рождество», хотя, как она подчеркнула, она никогда не переводила стихов. Толстой возмущался, что никто в СССР не написал ничего подобного о России и спрашивал, «почему наши сегодня пишут такие холодные и такие искусственные стихи о родине».

В тот вечер я был поражен пустотой, которую оставили в России двадцать с лишним лет «руководимого искусства». Я заметил также, как изголодались в России по поэзии. Великая поэтическая традиция от Державина и Пушкина до Блока, Маяковского и Есенина была разбита, уцелели только редкие люди, избежавшие разгрома, как Пастернак и Ахматова. Какие же, мне тогда казалось, открываются возможности для глубокого и бескорыстного соприкосновения двух культур, какая великая отрада общаться поэзией, передавая звучание стихов одного языка на другом вплоть до мельчайших нюансов.

Толстой уверял меня, что никто в России не знает ни польской поэзии, ни польской литературы. Я читал на память некоторых поэтов XIX века, Словацкого и Норвида... <...>

Я принес с собой письма Норвида. Я перевел одно из писем 1864 года, где Норвид утверждает, что патриотизм это «созидательная сила, а не форма самоотделения и самоиссушения»... Норвид говорит дальше, что «чувство национальности питается способностью к усвоению, а не пуританской исключительностью». Толстой пришел в восторг от этой фразы, уверял, что мы посвятим отдельный вечер Норвиду, утверждал, что именно ему удалось, наконец, найти определение патриотизма.

Что до Ахматовой, то я знал ее стихи уже очень давно. Я знал, что она была женою Гумилева, русского поэта, расстрелянного большевиками в 1921 году, и что ее сын, студент, арестован и сослан в 1938 году. Он был студентом Института Восточных языков в Москве и мечтал отправиться

в Центральную Азию. Никто не знал, почему он арестован и куда сослан. До войны думали, что он в Норильске, позже прошел слух, что его видели в Находке по пути на Колыму. Что же делала эта женщина, эта мать осужденного в доме писателя, душой и телом преданного режиму?

Мне рассказывали, что Сталин восхищался одним из стихотворений Ахматовой и поэтому ее не только повсюду терпели, но она пользовалась специальной защитой. Правда, в 1946 Ахматова подверглась злобной атаке Центрального Комитета Коммунистической партии и Жданова за то, что «отказывалась идти вместе с народом», и было запрещено публиковать ее стихи. Но тогда, в 1942, она еще находилась под «высшей защитой». Говорили, что Сталин лично направил за нею самолет, чтобы вывезти ее из осажденного и голодающего Ленинграда.

В тот вечер Ахматова сидела у лампы одетая в платье из легкой ткани очень простого покроя — среднее между саком и монашеским одеянием: ее седеющие волосы были гладко зачесаны и повязаны цветным шарфом. Вероятно, она была прежде очень красива со своими правильными чертами, классическим овалом лица и большими серыми глазами.

Она пила вино и говорила очень мало и в немного странной манере, как будто она наполовину подшучивала даже по поводу самых печальных предметов. Когда я кончил читать стихи польских поэтов, то мы стали просить ее прочесть свои стихи. Она согласилась, не заставляя себя упрашивать.

Она выбрала несколько кусков из своей еще не опубликованной «Поэмы о Ленинграде». Все относились к ней с повышенным вниманием, давая мне понять, что передо мной великий русский поэт. Строфы, которые Ахматова декламировала в странной напевной манере, немножко в духе того, как это когда-то делал русский поэт Игорь Северянин, не содержали никакой оптимистической пропаганды, ни прославления советской власти или советских героев, «справедливых и чистых», которые без конца появлялись даже в писаниях Толстого. Между тем именно «Поэма о Ленинграде» была тем единственным поэтическим произведением, которое меня взволновало и позволило на миг почув-

ствовать оборону этого героического города, голодающего и разрушенного. Поэма Ахматовой начиналась с воспоминаний ее молодости: сложные метафоры, commedia dell'arte, павлины, фиалки, влюбленные, клен с пожелтевшими листьями перед окном старинного Шереметевского дворца — и кончалась Ленинградом под бомбами, голодным и холодным осажденным Ленинградом. Мне запомнилась строфа о маленьком мальчике, который приносит во время бомбежки, осенью или весной, травинки, выросшие между камнями мостовой.

Мне очень хотелось продолжить мое знакомство с этой женщиной, увидеть ее в более домашней обстановке, глубже войти в тот мир, в котором она жила, но я не посмел этого сделать. Однажды уже я попробовал навестить одну даму без Соколовского, и это имело для нее трагические последствия.

У меня сохранилось воспоминание об Ахматовой как о женщине довольно «своеобразной», с которой трудно войти в близкие отношения, оттого ли, что она сознательно сохраняет некоторую дистанцию, или же просто оттого, что она смотрит на все иначе, чем другие. Было впечатление, что имеешь дело с человеком раненым, который прячет свои раны, маскируясь несколько искусственной манерой поведения.

Перевод М. К. Поливанова

\+ + +

Какая есть. Желаю вам другую,
Получше.
Больше счастьем не торгую,
Как шарлатаны и оптовики...
Пока вы мирно отдыхали в Сочи,
Ко мне уже ползли такие ночи,
И я такие слышала звонки!

Над Азией весенние туманы,
И яркие до ужаса тюльпаны
Ковром заткали много сотен миль.
О, что мне делать с этой чистотою,
Что делать с неподкупностью простою?
О, что мне делать с этими людьми!

Мне зрительницей быть не удавалось,
И почему-то я всегда вторгалась
В запретнейшие зоны естества.
Целительница нежного недуга,
Чужих мужей вернейшая подруга
И многих — безутешная вдова.

Седой венец достался мне недаром,
И щеки, опаленные пожаром,
Уже людей пугают смуглотой.
Но близится конец моей гордыне,
Как той, другой — страдалице Марине,—
Придется мне напиться пустотой.

И ты придешь под черной епанчою,
С зеленоватой страшною свечою,
И не откроешь предо мной лица...
Но мне недолго мучиться загадкой —
Чья там рука под белою перчаткой
И кто прислал ночного пришлеца.

1942. Ташкент

В ТИФУ

Где-то ночка молодая,
Звездная, морозная...
Ой, худая, ой, худая
Голова тифозная.
Про себя воображает,
На подушке мечется,
Знать не знает, знать не знает,
Что во всем ответчица,
Что за речкой, что за садом
Кляча с гробом тащится.
Меня пóд землю не надо б,
Я одна — рассказчица.

1942. Ташкент

Надежда Мандельштам. Из воспоминаний

Сочинение ненаписанной книги началось в Ташкенте и продолжалось много лет. А. А. называла это «моя книга» или «исследование о природе клеветы», а я уверяла ее, что «книгу» можно защитить как диссертацию по социальной психологии. Ведь эти частные, но свойственные человеческому уму искажения и сдвиги распространялись в обществе, образуя то, что называется общественным мнением. Крайние типы этих искажений давали чувствительную легенду и подлую клевету, которые часто оставались закрепленные за человеком и после его смерти — в истории. А. А. ненавидела легенды, украшения и смягчения, но для нас особенно опасной считала клевету, какой бы фантастической она ни была. <...>

А. А. с упорством первоклассного следователя прослеживала клевету до ее первоисточника. Первым она ставила вопрос: кто пустил этот слух? зачем это понадобилось? кому это полезно? какую потребность общества удовлетворяет эта клевета или легенда? А дальше она классифицировала сдвиг или искажение с точки зрения индивидуальной и социальной психики.

«Моя книга», или исследования об особенностях человеческого мышления, индивидуального и коллективного, сочинялась в течение нескольких лет, но это было устное сочинительство и на бумагу оно не попало. Исследуя индивидуальные особенности, А. А. подходила и к социальному преломлению фактов,—ведь представления сообщаются, передаются от одного ума к другому, уже общими «приличиями» подготовленному к их восприятию, живут в «обществе умов», как они живут в отдельных людях. И лучше не задумываться о том, что́ в каждый данный момент согласно подхватить это пресловутое «общество умов». А. А., например, блистательно доказывала (мне очень не хотелось в это поверить), что сталинские казни, безумные обвинения во вредительстве, шпионаже, диверсиях и тому подобных вещах поддерживались всем обществом, зарождались в нем, импонировали ему. В это никто не хочет поверить. <...>

Кроме ненаписанной книги, есть еще написанная, но не существующая драма под названием «Пролог». История ее

достаточно трагична, впрочем, не трагичнее всех наших многомиллионных судеб и жизней. <...>

Стихи потом удалось восстановить по памяти. Этим отличаются стихи — их помнит сам автор и его друзья. Вспомнили почти все. Знакомые «дарили» ей ее собственные стихи. Я подарила ей «De profundis» и еще кое-что — четверостишья, часть «Китежанки»... Но драму восстановить не удалось — она в свое время не позволила ее запоминать, а с голоса это было почти невозможно. Она погибла.

В шестидесятых годах А. А. вздумала восстановить свою драму. Она расспрашивала всех, кому она ее раньше читала, не помнят ли чего, но люди поразительно поверхностные читатели, а со слуха вообще ничего не запоминают. Самой А. А. казалось, что она помнит свой «Пролог», и вскоре она начала записывать куски. <...>

Первый «Пролог» был острым и хищным смысловым сочинением. Для оформления сцены она позаботилась только о том, чтобы перетащить на сцену лестницу балаханы, и героиня без церемонии под взглядами зрителей спускается по ней в одной ночной рубахе, потому что ее вызвали на судилище, не дав ей одеться. «Пролог» чудесным образом предвещал всю кутерьму, вызванную ждановским постановлением. (Для нас, кстати, все это было не новостью — ничего другого вообще мы не видели; а вот для Зощенко это оказалось и неожиданностью, и ударом). На сцене большой стол, за которым расселся литературный суд. Со всех сторон сбегаются писатели. У одного в руках пакет, из которого торчит рыбий хвост, у другого такой же пакет, но с рыбьей головой. Все пристают к секретарше нечеловеческой красоты: где же, наконец, состоится суд. Каждому лестно там побывать и высказаться. Секретарша отвечает знаменитой формулой: «Вас много, а я одна». Героиню судят, и весь смысл в том, что ей предъявляют обвинения, которых она не понимает и не может понять, а суд и зрители сердятся, что она отвечает невпопад. Для них эти обвинения вполне ясны и нормальны. Вся драма была написана в прозе, и каждая реплика резала, как теннисный мяч. Эти реплики — донельзя сгущенные формулы официальной литературы и идеологии. Героиня в ночной рубашке иногда лепечет полубе-

зумные стихи. Ей даже не страшно. Это уже не страх, а глубокое сознание, что человек попал в мир нежити и нелюди. Беспомощная героиня сильна тем, что она человек среди нелюди. Из всех чувств ей доступно одно — удивление — нежить не может лишить ее жизни, потому что суд происходит вне жизни. Если жизнь есть — она не здесь. В тюрьме героиня тоже свободна, потому что воли нет — на воле есть только писатели с рыбьими головами, хвостами.

Первые слушатели сравнивали эту пьесу с гоголевским «театральным разъездом» и с Сухово-Кобылиным. Могли бы сравнить ее и с Кафкой, но тогда его еще не знали. Еще меньше это Набоков с его заключенным, где авторское презрение к людям делает их механическими уродцами. На самом деле эта пьеса могла быть написана только Ахматовой периода своей беспощадной зрелости с точной оценкой своей собственной судьбы. А все разговоры героев — самые обычные, «моча в норме», как говорила А. А., точно такие, как зафиксированные в различных судилищах и отречениях, чьи протоколы велись хотя и безграмотными, но внимательными секретаршами нечеловеческой красоты. Лирическая героиня — это та женщина, у которой не было ничего, кроме пепельницы и плевательницы. А нас таких было сколько угодно, но мало кто из нас писал стихи. Это дано не каждому.

Первый вариант «Второй книги» Н. Я. Мандельштам сохранился у Н. Е. Штемпель. Текст любезно сообщен П. Нерлером.

РАЗРОЗНЕННЫЕ ФРАГМЕНТЫ ИЗ ДРАМЫ «СОН ВО СНЕ»

Просцениум

Две тени

Первая

Мир не видел такой нищеты,
Существа он не знает бесправней,
Даже ветер со мною на ты
Там, за той оборвавшейся ставней.
    Но за те восемнадцать строчек
    Подари мне «вдовий кусочек».
    Расскажи всем мою судьбу
    И к какому бреду столбу.
Дорогою ценой и нежданной
Поняла, что он помнит и ждет,
А быть может и место найдет
Он могилы моей безымянной.

Вторая

Ах! Тебе еще мало по-русски
И ты хочешь на всех языках
Знать, как круты подъемы и спуски,
И почем у нас совесть и страх.

Страх-то дешев, а с совестью худо,
Не достать нам ее ниоткуда.

(*Проходят*).

Перед занавесом, упавшим в глубине сцены.

Младший. Видел — первую скрипку вперед ногами выволокли?
Как без него и пьесу кончать будут!

Старший. А полковница в III-ей ложе. Муж бушует, матерится, жаловаться, говорит, будет. Интересно, кому только?

Младший. Не очнулась? А иностранец...

Старший. (*перебивает*). С пластырем на глазу?

Младший. Да. Лежит у директора. Сообщили кому надо?

Старший. А как же. Может, это условный знак. Время — военное.

(*Проходит безмолвная фигура в парандже*).

Он. Они убьют тебя? — Убьют ее.

Она. Нет, хуже. Сегодня они убьют только мою душу.

Он. Как же ты будешь жить?

Она. Никак. Я буду не жить, а ждать Последнюю Беду, а она придет нескоро.

Он. Хочешь, я совсем не приду.

Она. Конечно, хочу, но ты все равно придешь.

Он. Я уже вспоминаю наши пять встреч в старинном полумертвом городе в проклятом доме — в твоей тюрьме в новогодние дни, когда ты из своих бедных нищих рук вернешь главное, что есть у человека — чувство Родины, а я за это погублю тебя.

Гость. Ты устала?

X. Да. Я говорила с ними.

Гость. Кто они?

X. Мертвые.

Гость. Что они тебе сказали?

X (*молчит*).

(*Появляется вереница теней. Кому-то из них X кланяется в ноги. Другого целует в лоб. Шествие теней исчезает*).

Гость. Я хочу быть твоей последней бедой... Я больше никому не скажу те слова, которые я скажу тебе.

Х. Нет, ты повторишь их много раз и даже мое самое любимое: «Что вы наделали — как же я теперь буду жить!»

Гость. Как, даже это?

Х. Не только это — и про лицо: «Я никогда не женюсь, потому что могу влюбиться в женщину только тогда, когда мне больно от ее лица...»

Гость. И я забуду тебя?

Х. Да. Но дух твой без твоего ведома будет прилетать ко мне.

Пещера с отверстием в своде. Оттуда зеленые беспощадные лучи луны. На полу остатки костра. Стены, почерневшие от саксаульного дыма. Наверху появляется Х. Пляшет. Сходит вниз по почти отвесной стене. Молится и ложится на овчину в углу.

...Влетают вороны.

Орел (*просыпаясь, спрашивает*). Как, что...

Вороны (*хором*). Плохо, совсем плохо.

Орел. Опять?

Вороны. Стреляли в нее.

Орел. Кто стрелял?

Вороны. Из толпы.

Орел. Зачем толпа? (*Старшему ворону.*) Рассказывай ты.

Старший ворон. Она шла, как всегда, по карнизу. И вдруг вошла в окно, где была музыка. Мы думали — ничего, и вдруг слышим — она плачет. Вышла и пошла дальше, за ней человек...

Орел. На смерть?

Вороны (*хором*). Конечно, конечно!!! Собрались люди — кричали: призрак-привидение! Другие: «религиозная пропаганда! Муллы подстроили!»

Орел. А кто стрелял?

Вороны. Солдаты.

Орел. А что говорили?

Вороны. А мы почем знаем? По-русски. Мы узбекские вороны — мы по-русски не обязаны... А она идет, вся светится, ничего не слышит и как спустилась — непонятно и все бормочет... Послушай, я запомнил. Хочешь, сыграю на бубне.

Орел. Тише, разбудишь.

Х. (*приподнимается на локте*). Да, да,— это я. Можно.

На стене проступает кто-то.

Кто-то. Ты звала меня?

Она. Да, я хотела сказать тебе, что до нашей первой встречи осталось ровно три года.

Кто-то. Как долго, сделай, чтоб скорее.

Она. Я не могу, я ничего не могу.

Кто-то. Или все.

Она. Нет, я только вас вижу.

Кто-то. Как я найду тебя?

Она. Ты сначала найдешь не меня, а маленькую белую книжку и начнешь говорить со мною по ночам во сне. И это будет слаще всего, что ты знал.

Кто-то. Это уже случилось, но в книжке нет твоего голоса. А я хочу так, как сейчас. А почему я пойду к тебе?

Она. Из чистейшего, злого низменного любопытства, чтобы убедиться, как я непохожа на свою книгу.

Кто-то. А дальше?

Она. А когда ты войдешь, то сразу поймешь, что все пропало. И ты скажешь мне те слова, которые мы оба так хотели бы забыть. Забыть,— разве такое счастье бывает на земле!

Он. Увы! — я уже сейчас помню, как будет пахнуть трагическая осень, по которой я приду к тебе, чтобы погубить тебя, не коснувшись твоей руки, не поглядев в твои глаза.

Она. И уйдешь, и оставишь дверь открытой таким бедам, о которых не имеешь представления.

Он. А ты?

Она. Я долго и странно буду верна тебе и холодными глазами буду смотреть на все беды, пока не придет Последняя.

Он. Какая?

Она. Та, что была за поворотом и мне ее не показали, когда во время тифозного бреда я видела все, что случится со мной. Все... до поворота.

Театральная уборная. X. и Фрося.
(*Фрося гримирует X. Та ломает руки*).

X. Нет, это невозможно. я не успела кончить — там всего пол-пьесы. Будет скандал.

Фрося. Скандал все равно будет: мировой и еще какой. У нас все можно.

Входит высокая женщина в парандже с корзиной фиалок.

X. (*почти плачет*). Я не могу, я не могу.

Женщина. Бери паранджу и иди в сквер продавать фиалки — я за тебя сыграю.

X. Там играть нечего.

Женщина сбрасывает паранджу — оказывается двойником X.

X (*пятится*). Кто ты?

Женщина. Я — ты ночная. (*Фросе.*) А ну дай роль. (*Та протягивает мятые листы*).

X. Там пол-пьесы.

Женщина. Ничего, я сейчас сделаю конец.

X. Там стихи.

Женщина. Стихи-то все равно я пишу. Какое там последнее слово?

X. Неизвестный становится на одно колено и с смертельным криком исчезает.

Женщина. Ладно. (Пишет.) Знаю.

Орел Федя. Беда!... Слышна музыка.

X. (*бормочет*). Прощай, прощай!!!

Неожиданно налетает <ветер> дикой силы. Гаснут свечи на судейском столе. Пыль столбом. Минуту зритель ничего не видит, а когда свет снова загорается, за судейским столом рядом с самым толстым сидит некто в голубой фуражке.

Некто (*очень громко, читает*). Г-ка X привлекается к ответственности, согласно статье Уголовного кодекса... пункт... по обвинению в убийстве...

X (*перебивает*). Кого?

И все с ужасом видят, что она наконец открыла глаза, но ее огромная грива совершенно седая.

Некто в голубой фуражке (*грубо*). А вы сколько убийств совершили?

Соперница. Я как общественный обвинитель должна до начала разбирательства зачитать список ее жертв.

Лучшая подруга (*уже в прокурорском мундире, перебивает ее*). Я бы сначала хотела бы выслушать свидетеля защиты. (*Двое конвойных выводят под руки слепого юродивого Васю*).

Вася. Вы чего меня держите? Я и так скажу. Она добрая, она мне яблочки давала.

Она. (*кричит*). Вася!

Лучшая подруга (*в прокурорском обличье*). Тайно давала отравленные яблоки для раздачи населению. Число отравленных еще не выявлено. (*Конвою.*) Уведите подсудимого. (*Васю уводят*).

Свидетелями обвинения оказываются все находящиеся на сцене, кроме неподвижной и безмолвной фигуры в парандже, продающей фиалки у входа в сквер. Ссоры в очереди свидетелей обвинения. Отдельные восклицания:

— При мне хвалила Джойса.

— Некоторые думают, что заброшена к нам неприятелем и спустилась на парашюте...

— Я сам видел, как что-то летело с неба...

— Торговала на Алайском рынке паспортами...

— Перебегала границу... Переплыла реку Пяндж...

— Украла подводную лодку...

Красавица. Увела у меня трех мужей.

Ханжа. У меня одного, который жил со мной пятьдесят лет. Мы ворковали, как голубки.

Новый муж Ханжи (*в ужасе*). Боже, сколько ж тебе лет?

Двое убийц из Первого действия (*к чьей-то спине*). Зайди, парень, в аптеку, достань кокаину. (*Показывая что-то блестящее.*) Хорош браслетик?

Некто в голубой фуражке (*подзывая их*). Если опознаете ее, катись дальше.

Они. Что вы, гражданин начальник. Мы разве что. А ее знаем, как облупленную. Она это Зайченко и Ахметову сманила. Все показать можем.

Она. Кого я убила?

Кабинет директора

Помреж (*вбегает*). Не дать ли занавес?

Директор. А что?

Помреж. Да она не то говорит. Всех нас погубит.

Директор. (*испуганно*). Политическое?

Помреж. Нет, нет... бред какой-то любовный, и все стихами...

Директор (*успокоясь*). Стихами? Вздор! Послушать разве? Я сам когда-то в молодости писал стихи. О публике не беспокойтесь. Кто это когда-нибудь заметил отсебятину на сцене?

Подхалим. Как это верно.

Ее голос.

Этот рай, где мы не согрешили,
Тошен нам.
Этот запах смертоносных лилий
И еще не стыдный срам.
Снится улыбающейся Еве,
Что ее сквозь грозные века
С будущим убийцею во чреве
Поведет любимая рука.

Она. Ты знаешь, что если подойдешь — мы оба проснемся, а где и кем окажемся?.. И это будет вечная разлука.

Он. (*молча закрывает лицо руками*). Зачем ты такая, что тебя нельзя защитить. Я ненавижу тебя за это. Скажи, ты боишься?

Она. (*протягивая руки*). Я боюсь всего, а больше всего — тебя. Спаси меня!

Он. Будь проклята!

Она. Ты лучше всех знаешь, что я проклята и кем и за что?

Он. Ты знаешь, что ждет тебя?

Она. Ждет, ждет... Жданов. (*Слетаются вороны и хором повторяют последнее слово адского смычка.*) Я разбудила моих птичек. Смотри, не проснись и ты.

Он. Я проснусь только, если коснусь тебя. (*Выходит из стены и становится на одно колено.*) Все равно — я больше не могу терпеть. Все лучше, чем эта жажда. Дай мне руку. (Удар грома).

Железный занавес.

Лидия Жукова. Из книги «Эпилоги»

Связь между нашими комнатами была несложной. Либо она стучала мне палкой об пол, либо я колотила в потолок длинной метлой. Это был наш телефон. Моя метла означала приглашение к столу. Она охотно спускалась со своих небес: каша, так каша! Она приходила с новостями: письмо от Владимира Георгиевича Гаршина! А однажды,— она так радовалась,— пришел денежный перевод на двести рублей. Двести рублей — это буханка хлеба и еще оставалась мелочь. С Надеждой Яковлевной Мандельштам мы отправились на знаменитый Алайский базар. Он подавлял фламандским великолепием. Но что нам до этих благоухающих дынь, до ощерившихся свои кровавые пасти арбузов. И этот виноград, как хрусталь! Все это не для нас, и не для Ахматовой!

\+ + +

Глаза не свожу с горизонта,
Где метели пляшут чардаш.
Между нами, друг мой, три фронта:
Наш, и вражий, и снова наш.

<1942?>
Ташкент

\+ + +

Ленинградские голубые,
Три года в небо глядевшие,
Взгляните с неба на нас.

1943

ПОСЛЕСЛОВИЕ К «ЛЕНИНГРАДСКОМУ ЦИКЛУ»

Разве не я тогда у креста,
Разве не я тонула в море,
Разве забыли мои уста
Вкус твой, горе!

Январь 1944

27 ЯНВАРЯ 1944 ГОДА

И в ночи январской беззвездной,
Сам дивясь небывалой судьбе,
Возвращенный из смертной бездны,
Ленинград салютует себе.

\+ \+ \+

Последнюю и высшую награду —
Мое молчанье — отдаю
Великомученику Ленинграду.

1944. Ташкент

НАДПИСЬ НА ПОЭМЕ

И ты ко мне вернулась знаменитой,
Темно-зеленой веточкой повитой,
Изящна, равнодушна и горда...
Я не такой тебя когда-то знала,
И я не для того тебя спасала
Из месива кровавого тогда.
Не буду я делить с тобой удачу,
Я не ликую над тобой, а плачу,
И ты прекрасно знаешь почему.
И ночь идет, и сил осталось мало,
Спаси ж меня, как я тебя спасала,
И не пускай в клокочущую тьму.

6 января 1943
Ташкент

\+ \+ \+

Когда я называю по привычке
Моих друзей заветных имена,
Всегда на этой странной перекличке
Мне отвечает только тишина.

8 ноября 1943. Ташкент

СТЕКЛЯННЫЙ ЗВОНОК

Стеклянный звонок
Бежит со всех ног.
Неужто сегодня срок?
Постой у порога,
Подожди немного,
Меня не трогай
        Ради Бога!

1944

\+ \+ \+

Лучше б я по самые плечи
Вбила в землю проклятое тело,
Если бы знала, чему навстречу,
Обгоняя солнце, летела.

1944, июнь
Ленинград

Надежда Чулкова. Из воспоминаний

Анна Андреевна всегда делилась со мною своим горем и скорбями и называла себя моим старым другом. Я видела ее и в расцвете славы и в постигших ее несчастьях и обидах. Она все переживала с достоинством и несла мужественно тяготу и горечь житейских невзгод. Редко кому выпадало такое множество перемен и испытаний в жизни, как досталось ей.

Она несколько раз соединяла свою жизнь с полюбившимся ей человеком, но эта связь, иногда довольно продолжительная, обрывалась, и снова одиночество, и снова стихи, полные горечи и мужества. Должно быть, никогда не была она понята любимым человеком до конца, а может быть, поэту и не суждено быть понятым?

Я как-то, услышав стороной, что она опять полюбила кого-то, спросила: любит ли она теперь кого-нибудь. Она сказала: «Живу я одна», делая ударение на слове «живу».

Еще однажды я спросила ее: «У вас уютно?» Анна Андреевна ответила: «Я как Евгений у Пушкина, помните? — Он оглушен был шумом внутренней тревоги». И я вспомнила при этом еще одну строфу из ее стихотворения:

Ты уюта захотела,
Знаешь, где он — твой уют?

Я видела ее и в старых худых башмаках и поношенном платье, и в роскошном наряде, с драгоценной шалью на плечах (она почти всегда носила большую шаль), но в чем бы она ни была, какое бы горе ни терзало ее, она всегда выступала спокойной поступью и не гнулась от уничижающих ее оскорблений.

Л. В. Яковлева-Шапорина. Из дневника

22 сентября 1944 года

Встретила на улице Анну Ахматову. Она стояла на углу Пантелеймоновской и кого-то ждала. Она стала грузной женщиной, но профиль все тот же или почти. Что-то есть немного старческое в нижней части лица. Разговорились: «Впечатление от города ужасное, чудовищное. Эти дома, эти 2 миллиона теней, которые над ними витают, теней, умерших с голода. Это нельзя было допустить, надо было эвакуировать всех в августе, в сентябре. Оставить 50 000 — на них бы хватило продуктов. Это чудовищная ошибка властей. Все здесь ужасно. Во всех людях моральное разрушение, падение. (Ахматова говорила страшно озлобленно и все сильнее озлобляясь, буквально с пеной у рта, летели брызги слюны) — «Все женщины ненормальные».— «Не вижу,— вставила я реплику,— Л. Я. Рыбакову».— «Л. Я. никуда не выходила, ничего не видала. Все ненормальные. Со мною дверь в дверь жила семья Смирновых,— жена мне рассказала, что как-то муж ее спросил, которого из детей мы зарежем первого. А я этих детей на руках вынянчила. Никаких героев здесь нет, и если женщины более стойко вынесли голод — то все дело здесь в жировых прослойках, клетчатке, а не в героизме. Вы думаете, я хотела уезжать — я не хотела этого, мне два раза предлагали самолет и, наконец, сказали, что за мной приедет летчик. Все здесь ужасно, ужасно».

В записи упоминается добрая знакомая Ахматовой Лидия Яковлевна Рыбакова (1885—1953), в семье которой Ахматова жила по возвращении в Ленинград в 1944 году.

ПРИЧИТАНИЕ

Ленинградскую беду
Руками не разведу,
Слезами не смою,
В землю не зарою.
За версту я обойду
Ленинградскую беду.
Я не песенкой наемной,
Я не похвалой нескромной,
Я не взглядом, не намеком,
Я не словом, не попреком,
Я земным поклоном
В поле зеленом
Помяну.

1944. Ленинград

\+ \+ \+

И, как всегда бывает в дни разрыва,
К нам постучался призрак первых дней,
И ворвалась серебряная ива
Седым великолепием ветвей.
Нам, исступленным, горьким и надменным,
Не смеющим глаза поднять с земли,
Запела птица голосом блаженным
О том, как мы друг друга берегли.

1944

7—644

Н. Н. Пунин. Из дневника

23 февраля 1945 года

Вчера у Ани были Иогансон и Осмеркин; принесли бутылку шампанского, вина и крабов. Аня выпила две пиалушки и была такой, какой она всегда бывает, когда немного выпьет; читала стихи, а я уходил по хозяйству.

Когда все ушли (в первом часу), я вернулся, чтобы помочь ей убрать посуду, она закрыла лицо руками и стала плакать. Оказывается, Осмеркин сказал мимоходом (у него ведь все мимоходом), что Лева в штрафном батальоне. Она села в кресла и стала горько жаловаться на свою судьбу. Давно не видел ее в таком горе. «Чего они от меня хотят, от меня и от Левы... они не успокоятся, пока не убьют его и меня. Штрафной батальон — это расстрел, второй раз он приговорен к расстрелу... Что он видал, мой мальчик? Он никогда никаким образом контрреволюционером не был... Способный, молодой, полный сил — ему завидуют и сейчас используют то, что он сын Гумилева... Как из меня сделали вдову Гумилева...»

Выписки из дневников Н. Н. Пунина любезно предоставлены Никой Валентиновной Казимировой (Ленинград).

\+ + +

Кого когда-то называли люди
Царем в насмешку, Богом в самом деле,
Кто был убит — и чье орудье пытки
Согрето теплотой моей груди...

Вкусили смерть свидетели Христовы,
И сплетницы-старухи, и солдаты,
И прокуратор Рима — все прошли.
Там, где когда-то возвышалась арка,
Где море билось, где чернел утес,—
Их выпили в вине, вдохнули с пылью жаркой
И с запахом бессмертных роз.

Ржавеет золото и истлевает сталь,
Крошится мрамор — к смерти все готово.
Всего прочнее на земле печаль
И долговечней — царственное слово.

1945 <?>

Н. Н. Пунин. Из дневника

16 ноября 1945 года

На ту половину приехал с фронта Лева Гумилев. Он приехал два дня тому назад, поздно вечером. Акума пришла в страшное возбуждение, бегала по всей квартире и плакала громко.

Юлиан Оксман. Из письма к А. П. Оксман

26 ноября 1945

<...> Над чем работает Анна Андреевна? Передай ей самый сердечный привет от меня. Я ее очень часто вспоминаю и не раз перечитывал за эти годы в самых неподходящих для ее книг условиях (в 1940—1941 гг.). Совсем, совсем по-новому (или, точнее, еще и совсем другое выявилось в них) стали звучать ее вещи, ничего не теряя, а приобретая ту многозначность, которая отличает подлинное от подделки, вечное от преходящего. <...>

Письмо выдающегося советского литературоведа Юлиана Григорьевича Оксмана (1894—1970) из концлагеря к жене цитируется по публикации: Из переписки Ю. Г. Оксмана.— Вступительная статья и примечания М. О. Чудаковой и Е. А. Тоддеса.— В кн.: Четвертые Тыняновские чтения. Тезисы докладов и материалы для обсуждения. Рига, 1988, с. 151.

+ + +

Звук шагов тех, которых нету,
По сияющему паркету,
И сигары синий дымок.
И во всех зеркалах отразился
Человек, что не появился
И проникнуть в тот зал не мог.
Он не лучше других и не хуже,
Но не веет Летейской стужей,
И в руке его теплота.
Гость из Будущего! — Неужели
Он придет ко мне в самом деле,
Повернув налево с моста?

Из «Поэмы без героя»

Исайя Берлин. Из очерка «Встречи с русскими писателями»

Всякая попытка связных мемуаров — это фальшивка. Ни одна человеческая память не устроена так, чтобы помнить все подряд. Письма и дневники часто оказываются плохими помощниками.

Анна Ахматова

Летом 1945 года я был временным сотрудником британского посольства в Вашингтоне. В один прекрасный день мне сообщили, что на несколько месяцев меня переводят в распоряжение нашего посольства в Москве. Там не хвата-

ло людей, и было решено, что, поскольку я владею русским языком и у меня была возможность на Сан-Францискской конференции (и еще задолго до нее) кое-что узнать об официальном и неофициальном отношении американцев к Советскому Союзу, я смогу оказать помощь в работе посольства. Предполагалось, что я пробуду в таком качестве до Нового года, а там высвободится для работы в Москве какой-нибудь более профессиональный дипломат.

Война окончилась. Потсдамская конференция не привела к открытому разрыву между победоносными союзниками. Несмотря на мрачные предчувствия в некоторых кругах на Западе, общее настроение в официальных сферах Вашингтона и Лондона было осторожно оптимистическое, а широкая публика и пресса и вовсе полны были надежд и даже энтузиазма. Так исключительна была храбрость, проявленная советскими людьми в войне с Гитлером, столь ужасающи принесенные ими жертвы, что колоссальная волна симпатии к России, поднявшаяся в середине 1945 года, заставила замолчать многих критиков советской системы и ее методов. Повсюду было заметно горячее стремление к взаимному пониманию и сотрудничеству во всем. Я выехал в Москву как раз в разгар этого периода добрых чувств, которые, если верить рассказам, равно царили в Советском Союзе и в Англии...

Не был я в России с 1919 года, когда наша семья уехала оттуда. Мне было тогда 10 лет. Москвы я не видел никогда. Я приехал в Москву ранней осенью, получил в свое веденье стол в посольской канцелярии и окунулся в текущие мелочи. Хотя я и являлся в посольство на работу каждое утро, мои обязанности (единственные, кстати, возложенные на меня) — чтение, резюмирование и комментирование советской прессы — были, по правде сказать, не слишком обременительными. По сравнению с западной, содержание советской периодики было до крайности одноцветным, повторяющимся, наперед предсказуемым — везде, во всех газетах, одно и то же: и факты те же, и пропаганда та же. В результате у меня оставалось много свободного времени. Я ходил в музеи и театры, посещал исторические достопримечательности и архитектурные памятники, заходил в книжные лавки, праздно бродил по улицам. Но только, в отли-

чие от других иностранцев, во всяком случае, тех из них, кто, как и я, приехал с Запада и не был коммунистом, я мог считать, что мне необычайно повезло: я познакомился с целым рядом советских пиателей, среди которых были по крайней мере, двое, отмеченных печатью исключительной гениальности *.

<...> Я прослышал , что книги в Ленинграде в магазинах, называемых в Советском Союзе «антикварными», стоят гораздо дешевле, чем в Москве. Чрезвычайно высокая смертность и возможность обменять книги на еду во время блокады города привели к тому, что много книг, особенно принадлежавших старой интеллигенции, оказались на прилавках государственных букинистических магазинов. Рассказывали, что некоторые ленинградцы настолько ослабели из-за голода и болезней, что у них не было сил относить книги в магазин, поэтому зачастую друзья раздирали для них книги на отдельные страницы и главы, и в таком виде книги оказывались на прилавках у букинистов, а там их можно было купить. Я бы сделал все возможное, чтобы попасть в Ленинград в любом случае: мне не терпелось своими глазами снова увидеть город, где я провел четыре года моего детства. Книжный соблазн лишь еще сильнее разжигал мое желание. После обычной волокиты мне дали разрешение провести в Ленинграде две ночи в старой гостинице «Астория», в обществе представителя Британского Совета в Советском Союзе, мисс Бренды Трипп, весьма умной и симпатичной барышни, специализировавшейся в области органической химии. Мы приехали в Ленинград серым осенним днем в конце ноября.

---

* Я никогда не вел дневника, и в этих заметках опирался на то, что помнил непосредственно во время работы над настоящим текстом, или на то, что, как мне помнилось, я хранил в памяти в течение последних тридцати с лишним лет и не раз рассказывал друзьям. Я слишком хорошо знаю, что память, во всяком случае, моя память — не всегда недежный свидетель событий и фактов. В особенности это касается разговоров, которые я иногда пытаюсь здесь приводить дословно. Могу лишь сказать, что я записал все факты в точности так, как я их помню. Я буду рад любым документальным или иным свидетельствам, в свете которых настоящее изложение сможет быть дополнено или исправлено.

Я не был в этом городе с 1919 года, когда мне было 10 лет и моей семье разрешили вернуться в нашу родную Ригу, столицу в то время независимой республики. В Ленинграде воспоминания детства вернулись ко мне с необычайной отчетливостью. Я был невыразимо тронут видом улиц, домов, статуй, набережных, рынков, внезапно знакомых сломанных перил в маленькой лавочке, где чинили самовары — в подвале дома, где мы жили. Внутренний двор дома выглядел таким же заброшенным и грязным, как и тогда, в первые годы революции. Воспоминания об отдельных событиях, эпизодах, переживаниях как бы стали между мною и окружающей действительностью. Я как будто бы бродил по легендарному городу и сам был частью этой яркой, полузабытой легенды. Одновременно я смотрел на все это с позиции стороннего наблюдателя. Город был сильно поврежден, но тогда, в 1945 году, он оставался еще неописуемо стройным и прекрасным. Когда я посетил его снова через одиннадцать лет, он казался уже полностью восстановленным. Я направился прямо к цели моего путешествия, на Невский проспект, в Книжную лавку Писателей, о которой я был много наслышан. В то время (наверное, и сейчас) в некоторых русских книжных магазинах были две половины: одна, внешняя, для общей публики, в которой книги лежали по ту сторону прилавка, и другая — внутренняя, со свободным доступом к полкам, куда допускались писатели, журналисты и другие привилегированные лица. Поскольку мисс Трипп и я были иностранцами, нас допустили во внутреннее святилище. Рассматривая книги, я вступил в разговор с человеком, перелистывавшим книжку стихов. Он оказался известным критиком и историком литературы. Мы разговорились о недавних событиях, и он рассказал мне об ужасной участи Ленинграда во время блокады, о мученичестве и героизме ленинградцев. Он сказал, что многие умерли от голода и холода, другие — особенно те, кто помоложе,— выжили, некоторых эвакуировали. Я спросил его о судьбе писателей-ленинградцев. Он ответил: «Вы имеете в виду Зощенко и Ахматову?» Ахматова была для меня фигурой из далекого прошлого. Морис Баура, переводивший некоторые из ее стихов, говорил, что о ней не было слышно со времени первой мировой войны. «А Ахматова еще жи-

ва?» — спросил я. «Ахматова, Анна Андреевна? — сказал он. — Да, конечно. Она живет недалеко отсюда, на Фонтанке, в Фонтанном Доме. Хотите встретиться с ней?» Для меня это прозвучало так, как будто бы меня вдруг пригласили встретиться с английской поэтессой прошлого века мисс Кристиной Россетти. Я с трудом нашелся, что сказать, и пробормотал, что очень бы желал с ней встретиться. «Я позвоню ей», — ответил мой новый знакомец и возвратился с известием, что она примет нас в три часа дня. Мне надо было придти обратно в Книжную лавку, откуда мы должны были вместе отправиться к Ахматовой. Я тем временем возвратился в «Асторию» к мисс Трипп и спросил ее, хочет ли она посетить поэта, на что она ответила, что не может, поскольку у нее уже что-то было назначено на это время.

Я вернулся к назначенному часу. Критик и я вышли из Книжной лавки, повернули налево, перешли через Аничков мост и снова повернули налево вдоль набережной Фонтанки. Фонтанный Дом, дворец Шереметевых, — прекрасное здание в стиле позднего барокко, с воротами тончайшего художественного чугунного литья, которым так знаменит Ленинград. Внутри — просторная зеленая площадка, напоминающая четырехугольные дворы какого-нибудь большого колледжа в Оксфорде или Кембридже. По одной из крутых, темных лестниц мы поднялись на верхний этаж и вошли в комнату Ахматовой. Комната была обставлена скупо, по-видимому, почти все, что в ней стояло раньше, исчезло во время блокады — продано или растащено. В комнате стоял небольшой стол, три или четыре стула, деревянный сундук, тахта и над незажженной печкой — рисунок Модильяни. Навстречу нам медленно поднялась статная, седоволосая дама в белой шали, наброшенной на плечи.

Анна Андреевна Ахматова держалась с необычайным достоинством, ее движения были неторопливы, благородная голова, прекрасные, немного суровые черты, выражение безмерной скорби. Я поклонился — это казалось уместным, поскольку она выглядела и двигалась, как королева в трагедии, — поблагодарил ее за то, что она согласилась принять меня, и сказал, что на Западе будут рады узнать, что она в добром здравии, поскольку в течение многих лет о ней ничего не было слышно. «Однако же статья обо мне была на-

печата в «Дублин Ревью»,— сказала она,— а о моих стихах пишется, как мне сказали, диссертация в Болонье». С ней была ее знакомая, принадлежавшая, по-видимому, к академическим кругам, и несколько минут мы все вели светский разговор. Затем Ахматова спросила меня об испытаниях, пережитых лондонцами во время бомбежек. Я отвечал, как мог, чувствуя себя очень неловко,— веяло холодком от ее сдержанной, в чем-то царственной манеры себя держать. Вдруг я услышал какие-то крики с улицы, и мне показалось, что я различаю свое собственное имя! Некоторое время я пытался не обращать на них никакого внимания — ясно, что это была галлюцинация, но крики становились все громче и громче, и можно было вполне явственно различить слово «Исайя!». Я подошел к окну, выглянул наружу и увидел человека, в котором я узнал сына Уинстона Черчилля, Рандольфа. Похожий на сильно подвыпившего студента, он стоял посреди большого двора и громко звал меня. Несколько секунд я не мог сдвинуться с места — ноги буквально приросли к полу,— после чего я пришел в себя, пробормотал извинения и сбежал вниз по лестнице. Единственное, о чем я мог в ту минуту думать, было — как предотвратить его появление в комнате Ахматовой. Мой спутник, критик, выбежал вслед за мной. Когда мы вышли во двор, Черчилль подошел ко мне и весело и шумно меня приветствовал. «Мистер Х.,— сказал я совершенно механически,— я полагаю, вы еще не знакомы с мистером Рандольфом Черчиллем?» Критик застыл на месте, на лице его выражение недоумения сменилось ужасом, и он поспешно скрылся. Я больше никогда не встречал его, но его статьи продолжают печататься в Советском Союзе, из этого я делаю вывод, что наша случайная встреча ему никак не повредила. Я не знаю, следили ли за мной агенты тайной полиции, но никакого сомнения не было в том, что они следили за Рандольфом Черчиллем. Этот невероятный инцидент породил в Ленинграде самые нелепые слухи о том, что приехала иностранная делегация, которая должна была убедить Ахматову уехать из России, что Уинстон Черчилль, многолетний поклонник Ахматовой, собирался прислать специальный самолет, чтобы забрать ее в Англию, и т. д. и т. п.

Я не видел Рандольфа с наших студенческих дней в Ок-

сфорде. Я в спешке вывел его из Фонтанного Дома и спросил, что это все значит. Он объяснил мне, что приехал в Москву как журналист по поручению Североамериканского газетного объединения. Посещение Ленинграда было частью его программы. Первым серьезным делом, за которое он взялся сразу же по приезде в гостиницу «Астория», было устройство в холодильник приобретенной им икры. Поскольку он совсем не знал русского языка, а его переводчик куда-то запропастился, он стал громко взывать о помощи. Эти крики в конце концов донеслись до мисс Бренды Трипп. Она спустилась вниз, позаботилась об икре и в ходе общей беседы рассказала ему, что я нахожусь в Ленинграде. Он сказал, что знает меня и что, по его мнению, я прекрасно смогу заменить ему исчезнувшего переводчика. После чего мисс Трипп довольно неосмотрительно поведала ему о моем посещении дворца Шереметевых. Остальное было понятным: поскольку Черчилль не знал, где именно меня искать, он прибег к старому испытанному методу, хорошо послужившему ему еще во время пребывания в Крайст Чёрч* и, пожалуй, в других ситуациях тоже. Этот метод был безотказным, добавил он с обезоруживающей улыбкой. Я поспешил при первом удобном случае избавиться от него и, получив номер Ахматовой от продавца в Книжной лавке, позвонил ей, чтобы объяснить причину моего внезапного и неожиданного бегства и принести свои извинения. Я спросил, смею ли я придти к ней снова. «Я жду вас сегодня в девять часов вечера»,— ответила она.

Когда я вернулся, у Ахматовой снова сидела приятельница, на этот раз ученица ассириолога Шилейко, ее второго мужа, ученая дама, засыпавшая меня многочисленными вопросами об английских университетах и их организации. Ахматовой это было явно неинтересно, она молчала. Незадолго до полуночи дама-ассириолог ушла, и Ахматова стала расспрашивать меня о судьбе своих старых друзей, которые эмигрировали из России и которых я мог знать (она сказала позже, что была в этом абсолютно уверена, так как в личных отношениях ее интуиция — почти второе зрение —

---

* Оксфордский колледж, в котором учился Рандольф.

никогда не обманывала ее). И действительно, с некоторыми из них я был знаком. Мы поговорили о композиторе Артуре Лурье, которого я встретил в Америке во время войны. Лурье был когда-то интимным другом Ахматовой и положил на музыку некоторые из ее стихов и стихов Мандельштама. Она вспомнила поэта Георгия Адамовича, мозаичиста Бориса Анрепа (с которым я никогда не встречался); я знал о нем очень мало — только то, что он украсил пол вестибюля Национальной Галереи в Лондоне фигурами знаменитостей, среди них Бертран Рассел, Вирджиния Вульф, Грета Гарбо, Клайв Белл, Лидия Лопухова. Через двадцать лет я смог рассказать Ахматовой о том, что Анреп добавил к этим портретам и ее собственный мозаичный портрет и назвал его «Сострадание». Она ничего об этом не знала и была глубоко тронута; тут она показала мне кольцо с черным камнем, подаренное ей Анрепом в 1917 году. Ахматова принялась расспрашивать о Саломее Гальперн, урожденной Андрониковой (находящейся, к счастью, среди нас в момент написания этих строк). Ахматова была с ней хорошо знакома в Петербурге еще до первой мировой войны. Саломея Андроникова была одной из самых известных светских красавиц той эпохи. Она славилась своим умом, обаятельностью и остроумием. В числе ее друзей были многие знаменитые русские поэты и художники того времени. Ахматова рассказала мне то, что я уже знал до этого: влюбленный в Андроникову Мандельштам посвятил ей одно из самых замечательных своих стихотворений. Я был хорошо знаком с Саломеей Николаевной (и с ее мужем Александром Яковлевичем Гальперном) и смог рассказать Ахматовой о их жизни, круге друзей и взглядах. Она спросила о Вере Стравинской, жене композитора, с которой я в то время не был знаком. Я смог полностью ответить на эти вопросы лишь в 1965 году в Оксфорде. Она рассказывала о своих поездках в Париж до первой мировой войны, о дружбе с Амедео Модильяни; ее портрет пера Модильяни висел над печкой (у нее было много таких рисунков Модильяни, но все они пропали во время блокады); она рассказывала о своем детстве на берегу Черного моря; она называла эти места языческим, некрещеным краем; там она чувствовала близость к какой-то древней, полугреческой, по-

луварварской, глубоко нерусской культуре; о своем первом муже, знаменитом поэте Гумилеве, который внес большой вклад в ее формирование. Ему казалось нелепым, что и муж и жена — поэты, и иногда он сурово критиковал ее стихи, хотя никогда не унижал ее перд другими. Однажды, когда он возвращался из одного из своих путешествий в Абиссинию (тема его наиболее экзотических и великолепных стихотворений), она встречала его на вокзале в Петербурге (через много лет она снова рассказывала эту историю — в тех же самых словах — Дмитрию Оболенскому и мне в Оксфорде). Гумилев хмурился. Первый вопрос, который он задал, был: «Писала?» — «Да».— «Прочти». Она прочла. «Да, неплохо, хорошо!» — сказал Гумилев, перестав хмуриться, и они отправились домой. С этой минуты он признал ее как поэта. Она была убеждена в том, что он не принимал участия ни в каком монархическом заговоре, в чем его обвиняли и за что он был расстрелян. Горький, которого многие писатели просили похлопотать за Гумилева, не любил его и, согласно некоторым сведениям *, не вступился за него. Она не виделась с Гумилевым в течение уже некоторого времени перед его арестом — они развелись за несколько лет до этого. У нее были слезы на глазах, когда она рассказывала об ужасных обстоятельствах его смерти.

После некоторого молчания она спросила меня, хочу ли я послушать ее стихи. Но до этого она хотела бы прочесть мне две песни из «Дон Жуана» Байрона, поскольку они имеют прямое отношение к последующему. Даже несмотря на то, что я хорошо знал поэму, я не мог бы сказать, какие именно песни она выбрала, поскольку, хоть она и читала по-английски, ее произношение было таким, что я не мог понять ничего, за исключением одного или двух слов. Закрыв глаза, она читала наизусть, с большим эмоциональным напряжением. Чтобы скрыть свое замешательство, я поднялся и выглянул из окна. Позднее я сообразил, что, может быть, именно так мы декламируем классическую греческую или латинскую поэзию. И ведь нас неизъяснимо волнуют эти

---

* См., например, *Н. Мандельштам*. Вторая книга. Париж, 1972, с. 102—103.

слова, которые в нашем произношении, может быть, были бы совсем непонятны их авторам и слушателям. Затем она стала читать собственные стихи из сборников «Anno Domini», «Белая стая», «Из шести книг». «Стихи, похожие на эти, только лучше, чем мои, явились причиной гибели лучшего поэта нашей эпохи, которого я любила и который любил меня...» — я не мог понять, шла ли речь о Гумилеве или о Мандельштаме, потому что разрыдалась и не могла продолжать. Затем она прочла еще не оконченную в то время «Поэму без героя». Сохранились звукозаписи ее чтения, и я не буду пытаться описать его. Уже тогда я сознавал, что слушаю гениальное произведение. Не буду утверждать, что тогда я понимал эту многогранную и совершенно волшебную поэму с ее глубоко личными аллюзиями в большей степени, чем понимаю ее теперь. Ахматова не скрывала, что поэма была задумана как своего рода окончательный памятник ее жизни как поэта, памятник прошлому ее города — Петербурга, которое стало неотъемлемой частью ее личности, и — под видом святочной карнавальной процессии переодетых фигур в масках — памятник ее друзьям, их жизни и судьбам, памятник ее собственной судьбе, своего рода художественное «ныне отпущаеши», произнесенное перед неизбежным и уже близким концом. Строки о Госте из Будущего еще не были написаны, как и третье посвящение. Это таинственная вещь, полная скрытого смысла. Курган научных комментариев неумолимо растет над поэмой. Скоро она, пожалуй, будет совсем погребена под ним.

Затем Ахматова прочла по рукописи «Реквием». Она остановилась и начала рассказывать о 1937—38 годах, когда и муж, и сын ее были арестованы и сосланы в лагерь (этому суждено было повториться), о длинных очередях, в которых день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем женщины ждали вестей о мужьях, братьях, сыновьях, ждали разрешения послать им передачу или письмо. Но новостей никогда не было, никакие известия не доходили до них. Гробовой покров повис над городами Советского Союза, где миллионы невинных подвергались истязаниям и казням. Она говорила совершенно спокойным, бесстрастным тоном, иногда прерывая свой монолог замечаниями вроде:

«Нет, я не могу, все это бесполезно. Вы живете в человеческом обществе, в то время как у нас общество разделено на людей и...» Затем, после долгого молчания: «И даже теперь...» Я спросил про Мандельштама. Она не произнесла ни слова, глаза ее наполнились слезами, и она попросила меня не говорить о нем: «После того как он дал пощечину Алексею Толстому, все было кончено...» Ей нужно было некоторое время, чтобы успокоиться, затем совершенно другим тоном она сказала: «Алексей Толстой меня любил. Когда мы были в Ташкенте, он ходил в лиловых рубашках à la russe и любил говорить о том, как нам будет вместе хорошо, когда мы вернемся из эвакуации. Он был удивительно талантливый и интересный писатель, очаровательный негодяй, человек бурного темперамента. Его уже нет. Он был способен на все, на все; он был чудовищным антисемитом; он был отчаянным авантюристом, ненадежным другом. Он любил лишь молодость, власть и жизненную силу. Он не окончил своего «Петра Первого», потому что говорил, что он мог писать только о молодом Петре. «Что мне делать с ними всеми старыми?» Он был похож на Долохова и называл меня Аннушкой,— меня это коробило,— но он мне нравился, хотя он и был причиной гибели лучшего поэта нашей эпохи, которого я любила и который любил меня».

К этому времени было уже, мне кажется, три часа утра. Она не подавала никакого знака, что мне надо уйти. Я же был слишком взволнован и поглощен, чтобы сдвинуться с места. Отворилась дверь, и вошел Лев Гумилев, ее сын (сейчас он профессор истории в Ленинграде); было ясно, что они были глубоко привязаны друг к другу. Он рассказал мне, что учился у знаменитого ленинградского историка Евгения Тарле и что областью его занятий является история древних племен Центральной Азии (он не упомянул о том, что был там в лагере). Его интересовала ранняя история хазар, казахов и более древних племен. Ему разрешили пойти добровольцем на фронт, где он служил в зенитной части, состоявшей из бывших заключенных. Только что он вернулся из Германии. Он производил впечатление человека в хорошем расположении духа и был уверен, что сможет снова жить и работать в Ленинграде. Гумилев предложил

мне блюдо вареной картошки — все, что у них было. Ахматова извинилась за скудость угощения. Я стал умолять ее позволить мне записать «Поэму без героя» и «Реквием». «Не нужно,— сказала она,— в феврале должен выйти томик моих избранных стихов; и все это уже есть в корректуре. Я пошлю вам экземпляр в Оксфорд». Как мы знаем, партия судила иначе, и Жданов выступил с публичными поношениями Ахматовой, назвав ее «полу-монашенкой, полублудницей» (выражение, которое он не полностью выдумал) *. Эти обвинения были частью более широкой кампании, направленной против «формалистов» и «декадентов» и против двух журналов, в которых печатались их произведения. После того как ушел Лев Гумилев, она спросила меня, что я читал. Прежде чем я смог ответить, она обрушилась на Чехова, обвиняя его в том, что его мир покрыт какой-то ужасной тиной, что его пьесы тоскливы, что в его мире нет героев и мучеников, нет глубины, нет темного, нет духовных высот. Это была та самая страстная обвинительная речь, о которой я позднее рассказывал Пастернаку, когда она заявила, что у Чехова «не блещут мечи». Я сказал что-то по поводу того, что Толстой любил его. «А зачем надо было убивать Анну Каренину? — спросила она.— Как только она оставляет Каренина, все меняется, сразу же она становится в глазах Толстого падшей женщиной, травиатой, проституткой. Конечно, там есть гениальные страницы, но основная мораль — омерзительна. Кто наказывает Анну? Бог? Нет, общество. То самое общество, чье лицемерие Толстой всегда так усердно разоблачает. В конце он пишет, что она становится отвратительной даже Вронскому. Толстой лжет. Он-то сам знает правду. Мораль «Анны Карениной» — это мораль жены Толстого, его московских тетушек. Он сам знает правду, он заставляет себя, совершенно безо всякого стыда, приспособляться к мещан-

* Подобная же формула, но совершенно в другом контексте, была употреблена критиком Борисом Эйхенбаумом в его лекции 1923 года, где он говорил о переплетении эротических и религиозных мотивов в ранней поэзии Ахматовой. Она снова появляется в недоброжелательной статье об Ахматовой в советской «Литературной Энциклопедии», откуда она перекочевала, в карикатурном виде, в ждановские анафематствования.

ским условностям. Мораль Толстого — это прямое выражение его интимной жизни, всех перипетий его брака. Когда он счастливо женат, он пишет «Войну и мир», в которой воспевает семейную жизнь. После того как он возненавидел Софью Андреевну, но не решался развестись с ней, поскольку развод осуждался обществом, а может быть, и мужиками, он написал «Анну Каренину» и наказал ее за то, что она ушла от Каренина. Когда он состарился и перестал испытывать такое грубое вожделение к деревенским девкам, он написал «Крейцерову сонату» и вообще запретил всякую половую жизнь».

Кто знает, возможно, этот приговор и не был полностью серьезным, ясно одно — Ахматова искренне не любила проповедей Толстого. Она считала его невероятно тщеславным эгоцентриком, врагом любви и свободы. Ахматова боготворила Достоевского (и, как он, презирала Тургенева), а после Достоевского — Кафку. («Он писал для меня и обо мне»,— сказала она мне в 1965 году в Оксфорде. «Джойс и Элиот — прекрасные поэты, но они стоят ниже этого глубочайшего и правдивейшего из современных авторов»). О Пушкине она говорила, что он, конечно, понимал все. «Как это он понимал все, как он мог? Этот курчавый смуглый отрок в Царском, с томом Парни подмышкой?» Затем она прочла мне свои записки о «Египетских ночах» Пушкина. Она заговорила о бледном незнакомце, таинственном поэте, который предложил импровизировать на тему, вытянутую по жребию. Она не сомневалась в том, что прототипом этого виртуоза был польский поэт Адам Мицкевич. Отношение Пушкина к нему было довольно сложным. Их разделял польский вопрос, но Пушкин всегда узнавал в своих современниках гениальность. Блок был таким же, с его безумными глазами и великолепным поэтическим даром. Он тоже мог бы быть импровизатором. Она сказала, что Блоку, который иногда мог и похвалить ее стихи, она никогда не нравилась. Несмотря на это, все школьные учительницы уверены (а некоторые будут так думать всегда), что у нее с Блоком был роман — «и историки литературы поверят в это тоже, и все это основано, по-видимому, лишь на моем стихотворении «Я пришла к поэту в гости», которое я посвятила Блоку в 1914 году, и еще, может быть,

на стихотворении «Сероглазый король», хотя оно было написано более чем за 10 лет до смерти Блока; были и другие стихи, но он никого из нас не любил». Она имела в виду других поэтов-акмеистов и прежде всего Мандельштама, Гумилева и себя. Тут же она добавила, что Блок не любил и Пастернака.

После этого она заговорила о Пастернаке, которому она была предана. Она сказала, что на Пастернака находит желание встретиться с ней, только когда он находится в угнетенном состоянии. Тогда он обычно приходит расстроенный и измученный, чаще всего после какого-нибудь любовного увлечения, но его жена появляется вскоре вслед за ним и забирает его домой. Оба они — Пастернак и Ахматова — были влюбчивы. Пастернак время от времени делал ей предложение, но она к этому никогда серьезно не относилась. Они не были никогда влюблены друг в друга по-настоящему; но, не будучи влюблены, они любили и обожали друг друга и чувствовали, что после смерти Цветаевой и Мандельштама они остались одни. Сознание того, что каждый из них жив и продолжает работать, было для них источником безмерного утешения. Они могли критиковать друг друга, но не позволяли этого никому другому. Ахматова восхищалась Цветаевой. «Марина — поэт лучше меня», — сказала она мне. Но теперь, когда не стало Мандельштама и Цветаевой, она и Пастернак живут одни, в пустыне. Правда, они окружены любовью и бесконечной преданностью бесчисленных читателей, множество людей в Советском Союзе знает их стихи наизусть, переписывают их, декламируют, передают из рук в руки, конечно, это очень приятно, и они гордятся этим, но продолжают пребывать в глухой ссылке. Оба они были настоящими патриотами, но при этом в них не было ни капли национализма. Сама мысль об эмиграции была ненавистна обоим. Пастернак мечтал о поездке на Запад, но ни в коем случае он бы не хотел остаться там навсегда и не иметь возможности вернуться на родину. Ахматова же сказала мне, что она не сдвинется с места: она была готова умереть на родине, какие бы ужасы ни ожидали ее в будущем. Она никогда не покинет свою страну. Оба принадлежали к тем, кто лелеял несбыточные иллюзии относительно богатой художественной и интеллектуальной

культуры Запада — о золотом мире, полном творческой жизни, и оба мечтали и стремились увидеть его и войти с ним в общение.

По мере того как уходила ночь, Ахматова становилась все более и более одушевленной. Она задавала мне вопросы о моей личной жизни. Я отвечал ей с исчерпывающей полнотой и свободой, как будто она располагала правом знать все обо мне. Она в свою очередь вознаградила меня великолепным рассказом о своем детстве у Черного моря, о своих браках с Гумилевым, Шилейко и Пуниным, о своих отношениях с друзьями молодости, о Петербурге до первой мировой войны. Лишь на фоне всего этого можно понять смену образов и символов в «Поэме без героя», ее игру в личины и переодевания, весь этот бал-маскарад с отзвуками «Don Giovanni» и commedia dell'arte. Снова она вспомнила Саломею Андроникову (Гальперн), ее красоту, обаяние, острый ум, ее неспособность обманываться насчет второстепенных и третьестепенных поэтов («сегодня они уже четвертого разбора»), о вечерах в кабаре «Бродячая собака», о представлениях в театре «Кривое зеркало», о том, как она взбунтовалась против лже-таинств символизма — несмотря на Бодлера, Верлена, Рембо и Верхарна, которых они все знали наизусть. Вячеслав Иванов был поэтом огромного мастерства и культуры, его вкус и оценки были непогрешимы, как критик он отличался удивительной тонкостью. Однако его стихи Ахматова считала холодными и бесчувственными. То же самое относилось и к Андрею Белому. Что же касается Бальмонта, то его презирали совершенно напрасно. В нем, конечно, было много комической помпезности, и он был о себе преувеличенно высокого мнения, но его одаренность была несомненной. Сологуб был поэтом неровным, но интересным и оригинальным; при этом значительно крупнее всех их был строгий, щепетильный директор царскосельской гимназии Иннокентий Анненский. Он научил ее гораздо большему, чем все остальные, включая Гумилева, который сам был его учеником. Анненский умер почти совсем незамеченным редакторами и критиками. Великий забытый мастер. Без него не было бы ни Гумилева, ни Мандельштама, ни Лозинского, ни Пастернака, ни Ахматовой. Некоторое время она говорила о музыке, о величии

и красоте трех последних фортепьянных сонат Бетховена. Пастернак считал, что они выше, чем его посмертные квартеты, и она была с ним согласна. Все ее существо отзывалось на эту музыку с ее внезапной сменой лирического чувства внутри частей. Параллели, которые Пастернак проводил между Бахом и Шопеном, казались ей странными и удивительными. Вообще ей было легче говорить с ним о музыке, чем о поэзии.

Она заговорила о своем одиночестве и изоляции как в культурном, так и в личном плане. После войны Ленинград был для нее огромным кладбищем, где похоронены ее друзья. Все было как после лесного пожара — несколько оставшихся обугленных деревьев лишь усиливали общее чувство запустения. У нее еще оставались преданные друзья — Лозинский, Жирмунский, Харджиев, Ардовы, Ольга Берггольц, Лидия Чуковская, Эмма Герштейн (она не упомянула ни о Гаршине, ни о Надежде Мандельштам, о чьем существовании я тогда не знал ничего). Однако поддержку она черпала не от них, а из литературы и из образов прошлого: пушкинский Петербург, Дон Жуан Байрона, Моцарта, Мольера, великая панорама итальянского Возрождения. Она зарабатывала на жизнь переводами. Ей долго пришлось просить, чтобы ей разрешили переводить письма Рубенса, а не Ромэн Роллана, в конце концов разрешение было дано — видел ли я это издание? Я спросил, представляет ли она себе Возрождение в виде реального исторического прошлого, населенного живыми несовершенными людьми, или в виде идеализированного образа некоего воображаемого мира. Она ответила, что, конечно, как последнее. Вся поэзия и искусство были для нее — и здесь она употребила выражение, принадлежавшее Мандельштаму,— чем-то вроде тоски по всемирной культуре, как ее представляли себе Гете и Шлегель,— культуре, которая бы претворяла в искусство и мысль природу, любовь, смерть, отчаяние и мученичество, своего рода внеисторическая реальность, вне которой нет ничего. Снова она говорила о дореволюционном Петербурге — о городе, где она сформировалась, и о долгой темной ночи, которая с тех пор надвинулась на нее. Она говорила без малейшего следа жалости к себе, как принцесса в изгнании, гордая, несчастная, недоступная. Ее го-

лос звучал спокойно, ровно, слова ее временами были полны трогательного красноречия. Никто никогда не рассказывал мне вслух ничего, что могло бы хоть отчасти сравниться с тем, что она поведала мне о безысходной трагедии ее жизни. До сих пор само воспоминание об этом настолько ярко, что вызывает боль. Я спросил ее, собирается ли она написать воспоминания о своей литературной жизни. Она ответила, что все это есть в ее стихах и, в особенности, в «Поэме без героя», после чего она снова прочла ее. Снова я попросил ее позволить мне записать текст поэмы, и она снова отказалась. Наша беседа, которая затрагивала интимные детали и ее жизни и моей, отвлеклась от литературы и искусства и затянулась вплоть до позднего утра следующего дня. Я встретился с ней опять, проезжая на обратном пути из Советского Союза через Ленинград в Хельсинки. Я зашел к ней попрощаться пополудни 5 января 1946 года, и она подарила мне один из своих поэтических сборников. На титульном листе было записано новое стихотворение, которое стало впоследствии вторым в цикле, названном Cinque. Я понял, что стихотворение в его той, первой версии было прямо навеяно нашей предыдущей встречей. В Cinque и в других местах можно найти дополнительные упоминания и аллюзии о наших встречах. Эти намеки были мне совершенно ясны, когда я впервые их прочел. Академик Виктор Максимович Жирмунский, близкий друг Ахматовой, выдающийся литературовед и один из редакторов посмертного советского издания ее стихов, был в Оксфорде через год или два после смерти Ахматовой. Он просмотрел тексты стихов вместе со мной и подтвердил мои впечатления точными ссылками. Он читал эти тексты и с автором, и она рассказала ему о трех посвящениях, их датах и значении их и о «Госте из будущего». С некоторым смущением Жирмунский объяснил мне, почему последнее посвящение в поэме — посвящение мне — должно было быть выпущено в официальном издании. А что это посвящение существовало, было широко известно любителям поэзии в России, как он сам мне объяснил. Я достаточно хорошо понимал эту причину тогда и понимаю ее теперь. Жирмунский был необычайно скрупулезным и честным ученым, храбрым и мужественным человеком, которому пришлось пострадать за

свои принципы. Он поделился со мной своим отчаянием по поводу того что ему пришлось пренебречь прямыми указаниями Ахматовой в этом отношении, однако политические условия сделали это неизбежным. Я попытался убедить его, что это неважно. Верно, что поэзия Ахматовой в существенной степени автобиографична, и поэтому обстоятельства ее жизни могут прояснить значение ее стихов в большей мере, чем у многих других поэтов. Тем не менее, маловероятно, что факты будут забыты полностью. Как и в других странах, где существует строгая цензура, весьма вероятно, что их сохранит устная традиция. Конечно, такая традиция может развиваться в самых разных направлениях, весьма возможно, что она будет включать в себя легенды и небылицы; но, если он хочет быть уверенным в том, что настоящая правда останется известной в тесном кругу тех, кому это может быть интересно, он может записать все, что знает, и оставить это у меня или у кого-нибудь другого на Западе до того момента, пока не будет безопасным опубликовать эти сведения. Я сомневаюсь в том, чтобы он последовал моему совету, но он никак не мог успокоиться, что из-за цензуры в его редакторской работе были допущены пробелы. Каждый раз, когда мы встречались во время его визитов в Англию, он снова и снова извинялся.

Тот факт, что мое посещение настолько повлияло на Ахматову, во многом объясняется, как мне кажется, тем случайным обстоятельством, что я явился всего лишь вторым человеком из-за границы, с которым она встретилась после первой мировой войны*. Мне кажется, что я был первым человеком, приехавшим из внешнего мира, который разговаривал на ее языке и смог привезти ей известия о том мире, от которого она была столько лет отрезана. В Ахматовой ум, способность к острой критической оценке и иронический юмор сосуществовали с представлением о мире, которое было не только драматичным, но иногда — провидческим и пророческим. По-видимому, она увидела

* До меня она общалась лишь с одним иностранцем — графом Юзефом Чапским, знаменитым польским критиком, которого она встретила во время войны в Ташкенте.

во мне судьбоносного и, быть может, предрекающего катастрофу провозвестника конца мира — трагическую весть о будущем, которая оказала на нее глубокое влияние и, наверное, послужила толчком для нового всплеска творческой энергии поэта.

Во время моего следующего посещения Советского Союза в 1956 году я не видел Ахматову. Пастернак сказал мне, что хотя Анна Андреевна и хотела со мною встретиться, ее сын, которого арестовали во второй раз вскоре после того, как я видел его, только недавно вышел из лагеря, и она поэтому опасалась встречаться с иностранцами. Особенно потому, что она объясняла яростные нападки партии на себя, по крайней мере частично, моей встречей с ней в 1946 году. Пастернак сказал, что он сомневался в том, что мое посещение причинило ей хоть какой-либо вред, но, поскольку она, видимо, была уверена в обратном, и кроме того, поскольку ей посоветовали избегать компрометирующих связей, она никак не может со мной встретиться. Она, однако, очень хотела, чтобы я сам позвонил ей. Это было безопасным, поскольку ее телефон наверняка подслушивался, так же, впрочем, как и его собственный.

Он рассказал ей о Москве, что встречался с моей женой и со мной и нашел мою жену прелестной. Он сказал Ахматовой, что ему было очень жаль, что Ахматова не может с ней встретиться. Анна Андреевна будет в Москве недолго, и мне надо позвонить ей сейчас же.

«Где вы остановились?» — спросил он меня. — «В британском посольстве». — «Ни в коем случае не звоните оттуда. Позвоните из телефона-автомата. Из моего телефона тоже нельзя».

В тот же день позднее я позвонил Ахматовой. «Да, Пастернак рассказывал мне, что вы с женой в Москве. Я не могу увидеться с вами по причинам, вполне понятным вам. Так же мы можем говорить, потому что они знают. Сколько времени вы женаты?» — «Недолго», — сказал я. «Но когда именно вы женились?» — «В феврале этого года». — «Она англичанка или, может быть, американка?» — «Нет, она полуфранцуженка, полурусская». — «Так». Последовало долгое молчание. «Очень жаль, что вы не можете увидеться со мной. Пастернак говорит, что ваша жена очаровательна».

Опять долгое молчание. «Видели ли вы сборник корейской поэзии в моем переводе? С предисловием Суркова? Можете себе представить, насколько я знаю корейский. Стихи для перевода выбирала не я. Я вам пошлю их».

Она рассказала мне о своей жизни отверженного и запрещенного поэта. О том, как от нее отвернулись некоторые из тех, кого она считала преданными друзьями, о благородстве и мужестве других. Она перечитала Чехова, которого когда-то так сурово критиковала. Теперь она считала, что, по крайней мере, в «Палате № 6» он точно описал ее собственную ситуацию и ситуацию многих других. «Пастернак (она всегда так его называла в разговорах со мной, как и многие другие русские, никогда — Борис Леонидович), наверное, объяснил вам, почему мне нельзя встречаться с вами. У него были трудные времена, но не столь мучительные, как у меня. Кто знает, может быть, мы еще встретимся в этой жизни. Вы мне опять позвоните?» Я ответил утвердительно, но когда я позвонил снова, мне сказали, что она уже уехала из Москвы, а Пастернак настоятельно советовал не звонить ей в Ленинград.

Когда мы встретились в Оксфорде в 1965 году, Ахматова в подробностях рассказала о кампании, поднятой против нее властями. Она рассказывала мне, что сам Сталин лично был возмущен тем, что она, аполитичный, почти не печатающийся писатель, обязанная своею безопасностью, скорее всего, тому, что ухитрилась прожить относительно незамеченной в первые годы революции, еще до того как разразились культурные баталии, часто заканчивавшиеся лагерем или расстрелом, осмелилась совершить страшное преступление, состоявшее в частной, не разрешенной властями встрече с иностранцем, причем не просто с иностранцем, а состоявшим на службе капиталистического правительства. «Оказывается, наша монахиня принимает визиты от иностранных шпионов», — заметил (как рассказывали) Сталин и разразился по адресу Ахматовой набором таких непристойных ругательств, что она вначале даже не решилась воспроизвести их в моем присутствии. То, что я никогда не работал ни в каком разведывательном учреждении, было несущественно: для Сталина все сотрудники иностранных посольств или миссий были шпионами. «Конечно, —

продолжала она,— к тому времени старик уже совершенно выжил из ума. Люди, присутствовавшие при этом взрыве бешенства по моему адресу (а один из них мне потом об этом рассказывал), нисколько не сомневались, что перед ними был человек, страдавший патологической, неудержимой манией преследования». 6 января 1946 года, на следующий день после того, как я покинул Ленинград, у входа на ее лестницу поставили людей в форме, а в потолок комнаты вставили микрофон — явно не для того, чтобы подслушивать, а чтобы вселить страх. Она поняла, что обречена. И хотя официальная немилость последовала позднее, через несколько месяцев, когда Жданов выступил с официальным отлучением ее и Зощенко, она приписывала свои несчастья личной паранойе Сталина. Когда она рассказала мне об этом в Оксфорде, она прибавила, что, по ее мнению, мы, то есть она и я нечаянно, самим лишь фактом нашей встречи, положили начало холодной войне и тем самым изменили историю человечества. Она придавала этому абсолютно буквальное значение и, как свидетельствует в своей книге Аманда Хэйт *, была уверена в этом совершенно непоколебимо. Для Ахматовой она сама и я рисовались в виде персонажей всемирно-исторического масштаба, которым судьба определила положить начало космическому конфликту (она прямо так и пишет в одном из стихотворений). Я не мог и подумать, чтобы возразить ей, что она, возможно, несколько переоценивает влияние нашей встречи на судьбы мира (даже если и принять во внимание реальность пароксизма сталинского гнева и его возможные последствия), поскольку она бы восприняла мои возражения как оскорбление сложившемуся у нее трагическому образу самой себя как Кассандры — более того, это был бы удар по историко-метафизическому видению, которым проникнуто так много ее стихов. Я промолчал.

Затем она заговорила о путешествии в Италию в прошлом году, где ей вручили литературную премию Таормина. По возвращении, как она мне рассказала, к ней пришли

---

* *Amanda Haight*. Anna Akhmatova: A Poetic Pilgrimage (Oxford, 1976), p. 146.

агенты советской тайной полиции, которые принялись ее расспрашивать о римских впечатлениях: сталкивалась ли она с антисоветскими взглядами у писателей, встречалась ли она с русскими эмигрантами? Она ответила, что Рим — это для нее город, где язычество до сих пор ведет войну с христианством. «Что за война? — был задан ей вопрос,— шла речь о США?» Что ей отвечать, если подобные вопросы будут ей задавать — а их обязательно будут задавать — об Англии, о Лондоне, Оксфорде? Есть ли какое-то политическое лицо у Зигфрида Сассуна, поэта, которого чествовали вместе с ней в Шелдоновском театре? А другие почетные доктора? Может быть, лучше всего будет ограничиться упоминанием об интересе, который у нее вызвала великолепно украшенная купель, подаренная Мертон Колледжу императором Александром I, когда его так же чествовал Университет по окончании наполеоновских войн? Она — русская и вернется в Россию, что бы там ее ни ожидало. Можно что угодно думать о советском режиме, но это установленный порядок в ее стране. Она с ним жила и с ним умрет — вот что значит быть русской.

Мы вернулись к русской литературе. Она сказала, что непрекращающаяся цепь испытаний, через которые прошла ее родина за время ее жизни, породила поэзию изумительной глубины и красоты. Эта поэзия в большей своей части, начиная с 30-х годов, оставалась неопубликованной. Она сказала, что предпочитает не говорить о современных советских поэтах, чьи стихи печатаются в Советском Союзе. Один из наиболее известных таких поэтов, как раз находившийся в то время в Англии, прислал Ахматовой телеграмму, в которой поздравлял ее с получением оксфордского доктората. Я был у Ахматовой в то время, когда пришла телеграмма. Она прочитала ее и сердито бросила в мусорную корзину: «Они все бандитики, проституирующие свой талант и эксплуатирующие вкусы публики. Маяковский оказал на них всех пагубное влияние». По ее мнению, Маяковский был, конечно, гением, не великим поэтом, а великим литературным новатором, террористом, подкладывающим бомбы под старинные строения. Он был крупной фигурой, у которого темперамент был больше таланта. Он хотел все разрушить, все взорвать. Конечно, это разрушение было

вполне естественным, он не мог иначе, а его эпигоны — здесь она назвала несколько имен еще здравствующих поэтов — восприняли его личную манеру как литературный жанр и превратились в вульгарных декламаторов. Ни в ком из них нет поэтической искры. Это краснобаи, и их талант — театральный. Русская публика постепенно привыкла, чтобы на нее орали всевозможные «мастера художественного слова», как их теперь называют.

Единственный поэт более старшего поколения, о котором она отзывалась с одобрением, была Мария Петровых, но было много талантливых поэтов среди младшего поколения: лучшим из них был Иосиф Бродский, которого, как она выразилась, она сама вырастила. Его стихи были частично опубликованы. Это благородный поэт, пребывавший в глубокой опале, со всеми соответствующими последствиями. Были и другие замечательно талантливые поэты — их имена ничего мне не скажут. Их стихи также не могут быть опубликованы, но само их существование служит подтверждением неиссякшего творческого вдохновения России: «Они затмят всех нас,— сказала она,— поверьте мне. Пастернак и я, Мандельштам и Цветаева — все мы находимся в конце долгого периода развития, начавшегося еще в девятнадцатом веке. Мои друзья и я думали, что говорим подлинным голосом двадцатого столетия. Но настоящее начало пришло лишь с этими новыми поэтами. Пока они находятся под замком, но придет время — они вырвутся на свободу и изумят весь мир». Она продолжала некоторое время этот пророческий монолог, а затем снова вернулась к Маяковскому. Его довели до отчаяния, друзья его предали, однако некоторое время он был настоящим голосом народа, его трубой, хотя его пример был фатальным для других. Она сама ничем ему не была обязана. Зато многим она обязана Анненскому, этому чистейшему и тончайшему из поэтов, стоявшему в стороне от всех литературных махинаций. Авангардистские журналы его не признавали, и ему, пожалуй, повезло, что он умер именно в то время. При жизни его не читали широко, но ведь такова судьба многих других великих поэтов. Вообще современное поколение гораздо тоньше чувствует поэзию, чем ее собственное поколение. Кому было дело в 1910 году, кому по-настоящему было дело до

Блока, Белого или Вячеслава Иванова? Или, если уж говорить всю правду, до нее самой и до поэтов ее группы? А сегодня молодежь знает все эти стихи наизусть. Она все еще продолжает получать письма от молодых людей, конечно, многие из них от глупых восторженных молодых девиц, но само количество этих писем ведь говорит о чем-то. Пастернак получал еще больше писем, и они доставляли ему больше удовольствия. Имел ли я случай познакомиться с его другом, Ольгой Ивинской? Нет. Сама Ахматова находила их обеих — и жену Пастернака Зинаиду Николаевну и его любовницу одинаково непереносимыми, но сам Борис Леонидович был волшебным поэтом, одним из великих поэтов земли русской: в каждой фразе Пастернака в стихах и прозе звучал его подлинный голос, непохожий ни на что другое, что она слышала. Блок и Пастернак — божественные поэты. Никто из современных французских или английских поэтов не может сравниться с ними — ни Валери, ни Элиот. Бодлер, Шелли, Леопарди — вот общество, к которому они принадлежат, Как и другие великие поэты, они с трудом могли по-настоящему оценить творчество других. Пастернак часто хвалил слабых критиков, открывал воображаемые скрытые таланты, поощрял всякую мелкоту, порядочных, но бесталанных писателей. У него вообще было мифологическое представление об истории, в котором совершенно ничтожные фигуры могли вдруг играть таинственную значительную роль — как Евграф в «Докторе Живаго» (она яростно отвергала предположение о том, что этот таинственный образ мог хоть в чем-то опираться на Сталина как прототип; для нее это было слишком невероятным). Пастернак вообще не читал современных поэтов, которых он был готов щедро хвалить — ни Багрицкого, ни Асеева, ни Марию Петровых, ни даже Мандельштама (к которому он вообще не питал никаких чувств ни как к человеку, ни как к поэту, хотя, конечно, сделал для Мандельштама все, что мог, когда тот оказался в беде); он не читал и ее стихов — он писал ей замечательные письма о ее стихах, но на самом деле они были лишь о нем самом, не о ней. Она знала, что все это были небесные фантазии, которые не имели ничего общего с ее стихами: «Возможно, все великие поэты таковы».

Конечно, пастернаковские комплименты делали тех, кому

они были адресованы, счастливыми, но это было заблуждение. Он просто был очень щедрым человеком, но творчество других по-настоящему его нисколько не интересовало. Разумеется, его интересовали Шекспир, Гете, французские символисты, Рильке, может быть, Пруст, но «никто из нас» ему не был интересен. Она сказала, что каждый день жизни ощущает, насколько ей нехватает Пастернака. Они никогда не были друг в друга влюблены, но их взаимная любовь была глубока, и это раздражало его жену. Она заговорила о «глухих» годах, когда официально она не значилась среди советских поэтов — с середины двадцатых по конец тридцатых. Тогда она, по ее словам, не переводила, а читала русских поэтов: конечно, Пушкина, все время, а также Одоевского, Лермонтова, Баратынского. Она находила «Осень» Баратынского гениальным произведением. Недавно она перечитала Велимира Хлебникова — безумные, но прекрасные стихи.

Я спросил ее, согласится ли она когда-нибудь дать комментарий к «Поэме без героя». Ее многочисленные аллюзии могут остаться непонятными для тех, кто не был знаком с жизнью, описываемой в поэме. Неужели она хочет, чтобы все это так и осталось неизвестным? Она ответила, что когда тех, кто знали мир, о котором написана поэма, настигнут дряхлость или смерть, поэма тоже должна будет умереть. Она будет погребена вместе с поэтом и ее веком. Она написана не для вечности и даже не для потомства. Для поэта единственное, что имеет значение,— это прошлое, а более всего — детство. Все поэты стремятся воспроизвести и заново пережить свое детство. Вещий дар, оды к будущему, даже замечательное послание Пушкина Чаадаеву — все это чистая декламация и риторика, попытка стать в величественную позу, устремив взгляд в слабо различимое будущее,— поза, которую она презирала.

Она знала, что ей осталось жить недолго. Доктора объяснили ей, что у нее слабое сердце. Поэтому она терпеливо ожидает конца. Она ненавидит саму мысль о том, что ее будут жалеть. Она знала ужасы, самое безысходное горе и она заставила друзей дать ей обещание, что они не позволят себе выказать ни малейшего намека на жалость по отношению к ней, что они немедленно подавят в себе всякие призна-

ки жалости, чуть только почувствуют ее. Некоторые из ее друзей не смогли противостоять жалости, и с ними ей пришлось расстаться. Она может вынести все — ненависть, оскорбление, презрение, непонимание, преследования, но только не сочувствие, смешанное с состраданием. Могу ли я дать ей честное слово? Я дал ей обещание и сдержал его. Она обладала беспримерной гордостью и чувством собственного достоинства.

Она рассказала мне об одной встрече с Корнеем Чуковским во время войны, когда они ехали в эвакуацию в разные города в Узбекистане. В течение многих лет у нее установилось несколько двойственное отношение к Чуковскому. С одной стороны, она уважала его как умного и в высшей степени талантливого литератора и восхищалась его честностью и независимостью, с другой стороны, ей были чужды его невозмутимые, скептические взгляды и ее отталкивал его вкус к русским народническим романам и «передовой» литературе девятнадцатого века, а в особенности к гражданской поэзии; наконец, она не могла забыть его недружелюбно иронических отзывов о себе в двадцатые годы. Все это создало пропасть между ними. Но сейчас их объединяло то, что оба были жертвами сталинской тирании. Он был особенно мил и радушен во время этого путешествия в Ташкент, и, по словам Ахматовой, она уже готова была царственно отпустить ему все грехи, как вдруг он воскликнул: «Ах, Анна Андреевна! Какое это было время — двадцатые годы! Какой замечательный период русской культуры — Горький, Маяковский, молодой Алеша Толстой. Хорошо было жить тогда!» Она немедленно отступилась от своего намерения простить Чуковского.

В отличие от других людей, которые прошли сквозь бурные годы послереволюционного экспериментирования и остались в живых, Ахматова вспоминала об этом времени лишь с чувством глубокого отвращения. Для нее это был период дешевого богемного хаоса, начало опошления русской культурной жизни, когда настоящие художники должны были прятаться по подвалам и убежищам, из которых они могли высунуться лишь с риском быть убитыми и замученными.

Анна Андреевна рассказывала мне о своей жизни внешне

совершенно отстраненным, даже безличным тоном, который, впрочем, лишь частично мог скрыть страстную убежденность и моральные суждения, против которых решительно нельзя было апеллировать. Ее суждения о личностях и поступках других людей совмещали в себе умение зорко и проницательно определять самый нравственный центр людей и положений — и в этом смысле она не щадила самых ближайших друзей — с фанатической уверенностью в приписывании людям мотивов и намерений, особенно относительно себя самой. Даже мне, часто не знавшему действительных фактов, это умение видеть во всем тайные мотивы казалось зачастую преувеличенным, а временами и фантастическим. Впрочем, вполне вероятно, что я не был в состоянии до конца понять иррациональный и иногда до невероятности прихотливый характер сталинского деспотизма. Возможно, что даже сейчас к нему неприменимы нормальные критерии правдоподобия и фантастического. Мне казалось, что на предпосылках, в которых она была глубоко уверена, Ахматова создавала теории и гипотезы, развивавшиеся ею с удивительной связностью и ясностью. Одним из таких примеров idées fixes была ее непоколебимая убежденность в том, что наше встреча имела серьезные исторические последствия; она верила, что Сталин сначала отдал приказ, чтобы ее медленно отравили, а затем отменил его; что убежденность Мандельштама незадолго до смерти, что его в лагере кормили отравленной пищей, была вполне обоснованной, что поэт Георгий Иванов (которого она обвиняла в том, что он опубликовал в эмиграции лживые мемуары) одно время был платным шпионом царской полиции, что поэт Некрасов в девятнадцатом веке тоже, должно быть, был правительственным агентом, что Иннокентия Анненского затравили до смерти враги. У этих концепций, казалось, не было видимой фактической основы. Они были основаны на чистой интуиции, но не были бессмысленными, выдуманными. Напротив, все они были составными частями в связной концепции ее жизни, жизни и судьбы ее народа, основных проблем, о которых Пастернак когда-то хотел говорить со Сталиным, в картине мира, которая формировала и питала ее воображение и искусство. Ахматова ни в коем случае не была визионером, на-

против, у нее было сильное чувство реальности. Она могла описывать литературную и светскую жизнь Петербурга до первой мировой войны и свою роль в ней с таким ярким и трезвым реализмом, что все представало как живое перед глазами. Я виню себя за то, что не удосужился в свое время подробно записать ее рассказы о людях, движениях и о сложных обстоятельствах.

Ахматова жила в ужасное время и вела себя, по словам Надежды Мандельштам, героически. Все имеющиеся свидетельства говорят об этом. Ни публично, ни частным образом — передо мною, например,— она ни разу не высказалась против советского режима; однако вся ее жизнь может служить примером того, что Герцен сказал однажды почти обо всей русской литературе,— одним непрерывным обвинительным актом против русской действительности. Насколько мне известно, повсеместный культ ее памяти как поэта и как человека, которого не смогли сломить никакие испытания, не знает себе равных в Советском Союзе сегодня. Ее жизнь стала легендой. Ее несгибаемое пассивное сопротивление тому, что она считала недостойным себя и страны (как в свое время предсказал Белинский по поводу Герцена), создало ей место не только в истории русской литературы, но и в русской истории нашего века.

Отрывки из воспоминаний сэра Исайи Берлина печатаются по: *Slavica Hierosolymitana*, 1981, V-VI. Перевели с английского Д. Сегал, Е. Толстая-Сегал, О. Ронен в сотрудничестве с автором.

\+ + +

И увидел месяц лукавый,
Притаившийся у ворот,
Как свою посмертную славу
Я меняла на вечер тот.

Теперь меня позабудут,
И книги сгниют в шкафу.
Ахматовской звать не будут
Ни улицу, ни строфу.

Январь 1946

ПЕСЕНКА

А ведь мы с тобой
  Не любилися,
Только всем тогда
  Поделилися.
Тебе — белый свет,
  Пути вольные,
Тебе зорюшки
  Колокольные.
А мне ватничек
  И ушаночку.
Не жалей меня,
  Каторжаночку.

8—644

Надежда Чулкова. Из воспоминаний

В 1946 году у меня в дневнике записано:

«1946—I/IV. В Москву ждут Ахматову. Есть слух, что она выступает 3-го в Колонном зале Дома союзов, 2-го и 5-го в Клубе писателей».

Мне рассказал очевидец, как принимали Ахматову 2-го апреля в Клубе писателей: «Это был настоящий триумф. Ей долго не давали начать чтение стихов, такой был оглушительный гул аплодисментов». 3-го то же повторилось и в Доме союзов, а предполагавшийся вечер Ахматовой в Клубе писателей 5-го апреля был неожиданно отменен.

2-го апреля Анна Андреевна была у меня вечером и привезла букет нарциссов. Я ни на одном из этих ее вечеров не была.

С. Кара-Дэмур. Из обзора «Ленинградский альманах»

Стихи А. Ахматовой отличаются чутким восприятием мира, искренностью лирического раздумья. В них — яркий отпечаток личности поэта («Предыстория», «Тысяча девятьсот тринадцатый»). И любопытно отметить, что в этих, как в ряде других новых стихов Ахматовой, поэта, давно сформировавшегося, ощущаются приметы нового качества, иного, чем прежде, видения мира.

Ольга Берггольц. Из письма к А. К. Тарасенкову

Однотомник А. А. тебе будет, будет, будет, ради Христа — не нуди. Он вот-вот выйдет, но т. к. они издают его очень пышно, то сохнет обложка — я же тут ни причем. Кстати, А. А. на днях сдает в наш «Сов. писатель» очень интересную книжку — «Нечет», стихи 40—46 гг. Они обещают ее выпустить быстро — там должно быть много нового <...>

В воспоминаниях Н. Г. Чулковой неточно изложена история московских вечеров.

Обзор С. Кара-Дэмура: *Вечерний Ленинград*, 1946, 15 мая.

Письмо О. Ф. Берггольц: *Новый мир*, 1966, № 11, с. 197. Сборник «Нечет» остался в рукописи, возвращенной автору издательством в 1952 году «за истечением срока хранения». Тираж однотомника Гослитиздата (под редакцией В. Н. Орлова) был уничтожен — сохранились лишь отдельные экземпляры,— в том числе и в библиотеке А. К. Тарасенкова.

* *
*

Анна Андреевна Ахматова родилась 23 июня 1889 года в предместье Одессы, на Большом Фонтане, в семье инженер-механика флота. Детские годы провела в Царском Селе, затем в Крыму. Окончила женскую гимназию в Киеве, училась на юридическом отделении Высших женских курсов.

Первое стихотворение Анна Ахматова написала одиннадцати лет, оно называлось «Голос».

Впервые ее стихи были напечатаны в феврале 1907 года в парижском журнале «Сириус». С 1911 года начала печататься в журналах и альманахах.

Первый сборник стихов «Вечер» вышел в 1911 году. Анна Ахматова была членом содружества поэтической молодежи «Цех поэтов» и примкнула к зарождавшемуся тогда новому литературному течению, противопоставившему себя символизму,— к акмеизму.

В 1914 году вышел сборник стихов Ахматовой «Четки». Тогда же была написана поэма «У самого моря», вошедшая в третью книгу стихов А. Ахматовой «Белая стая» (1917 год). Затем вышли сборники стихов «Подорожник» (1921) и «Anno Domini» (1922).

В последние годы А. Ахматова занималась вопросами теории и истории литературы, работала над установлением литературных источников некоторых произведений Пушкина.

Эта справка об авторе содержалась в издании, тираж которого до читателей не дошел: *Анна Ахматова.* Избранные стихи. (1910—1946). Издательство «Правда». Москва, 1946. Отв. редактор А. Сурков. Тираж 100 000. Подписано к печати 9 июля 1946 года.

Надежда Мандельштам. Из «Книги третьей»

...В 46 году, перед самым постановлением, я посетила Анну Андреевну в Ленинграде. Мы заметили в тот раз, что вызываем слишком повышенный интерес наших стукачей и «Вась», то есть дежурящих на улице агентов. Они ходили следом за нами, куда бы мы ни шли, и в тот именно мой приезд нас сфотографировали в Фонтанном Доме. Это было чересчур уж примитивно и явно — с магнием... Постановление застало меня в Москве. Это тогда я добрый час стояла в подворотне в Климентовском переулке, разговаривая с Пастернаком. Он отчаянно спрашивал меня, можно ли жить, если они уничтожат и Ахматову.

Цитируется по: *Надежда Мандельштам.* Книга третья. Париж, 1987, с. 114.

Н. Маслин. Из статьи «О литературном журнале „Звезда"»

<...> Отметив формальные недостатки стихов некоторых современных поэтов, С. Спасский призывает их «сжатости стихов учиться у Ахматовой», военные стихи которой «займут почетное место в антологиях». Стихотворение Ахматовой о мужестве Спасский объявил «словами присяги, данными всей русской литературой». Эта попытка автора превратить Ахматову в наставницу, в знамя советской поэзии может только повредить развитию современной поэзии и самой Ахматовой.

Преодолевая камерность своей лирики, Ахматова в годы Отечественной войны не раз обращалась к темам великой борьбы советского народа с врагом. Критика должна была помочь Ахматовой наполнить ее поэзию живым содержанием современности, расширить рамки творчества. Но иначе думают С. Спасский и редакция «Звезды», опубликовавшие лирический цикл Ахматовой «Стихи разных лет» (№ 1, 1946 г.). Эти стихи пессимистичны, субъективны, обращены

к прошлому, это перепевы излюбленных поэтессой мотивов и образов. В них нет примет нового, нашего времени. О невозвратном прошлом скорбит Ахматова:

Мой город игрушечный сожгли...

| *Культура и жизнь.* 1946, № 5, 10 августа, с. 4.

Константин Симонов. Из книги «Глазами человека моего поколения»

Как я помню, и в конце войны, и сразу после нее, и в сорок шестом году довольно широким кругам интеллигенции, во всяком случае, художественной интеллигенции, которую я знал ближе, казалось, что должно произойти нечто, двигающее нас в сторону либерализации, что ли — не знаю, как это выразить не нынешними, а тогдашними словами,— послабления, большей простоты и легкости общения с интеллигенцией хотя бы тех стран, вместе с которыми мы воевали против общего противника. Кому-то казалось, что общение с иностранными кореспондентами, довольно широкое во время войны, будет непредосудительным и после войны, что будет много взаимных поездок, что будет много американских картин — и не тех трофейных, что привезены из Германии, а и новых,— в общем, существовала атмосфера некой идеологической радужности, в чем-то очень не совпадавшая с тем тяжким материальным положением, в котором оказалась страна, особенно в сорок шестом году, после неурожая.

Было и некое легкомыслие, и стремление подчеркнуть пиетет к тому, что ранее было недооценено с официальной точки зрения. Думаю, кстати, что выбор прицела для удара по Ахматовой и Зощенко был связан не столько с ними самими, сколько с тем головокружительным, отчасти демонстративным триумфом, в обстановке которого протекали выступления Ахматовой в Москве, вечера, в которых она участвовала, встречи с нею, и с тем подчеркнуто авторитетным положением, которое занял Зощенко после возвращения в Ленинград. Во всем этом присутствовала некая де-

монстративность, некая фронда что ли, основанная и на неверной оценке обстановки, и на уверенности в молчаливо предполагавшихся расширении возможного и сужении запретного после войны. Видимо, Сталин, имевший достаточную и притом присылаемую с разных направлений и перекрывавшую друг друга, проверявшую друг друга информацию, почувствовал в воздухе нечто, потребовавшее, по его мнению, немедленного закручивания гаек и пресечения несостоятельных надежд на будущее.

К Ленинграду Сталин и раньше, и тогда, и потом относился с долей подозрений, сохранившихся с двадцатых годов и предполагавших, очевидно, наличие там каких-то попыток создания духовной автономии. Цель была ясна, выполнение же было поспешным, беспощадно небрежным в выборе адресатов и в характере обвинений. В общем, если попытаться сформулировать мое тогдашнее ощущение от постановлений (я все время пытаюсь и не могу до конца отделить тогдашнее от сегодняшнего), особенно, конечно, меня волновало постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград», то об Ахматовой я, например, подумал тогда так: чего же мы, зачем ставим вопрос о возможности возвращения Бунина или Тэффи,— а я с такой постановкой вопроса столкнулся во Франции,— если мы так, как в докладе Жданова, разговариваем — с кем? — с Ахматовой, которая не уехала в эмиграцию, которая так выступала во время войны. Было ощущение грубости, неоправданной, тяжелой,— хотя к Зощенко военных лет я не питал того пиетета, который питал к Ахматовой, но то, как о нем говорилось, читать тоже было неприятно, неловко.

В то же время в постановлении о ленинградских журналах не было, вернее, за ним, думаю, субъективно для Сталина не стояло призыва к лакировке, к облегченному изображению жизни, хотя многими оно воспринимались именно так. Почти одновременно, в этот же период, Сталин поддержал, собственно говоря, выдвинул вперед такие, принципиально далекие от облегченного изображения жизни вещи, как «Спутники» Пановой или чуть позже «В окопах Сталинграда» Некрасова. Вслед за ними вскоре получила премию и трагическая «Звезда» Казакевича, изобиловавшая конфликтами «Кружилиха» Пановой. Нет, все это было не

так просто и не так однозначно. Думается, исполнение, торопливое и какое-то, я бы сказал, озлобленное, во многом отличалось от замысла, в основном чисто политического, преследовавшего цель прочно взять в руки немножко выпущенную из рук интеллигенцию, пресечь в ней иллюзии, указать ей на ее место в обществе и напомнить, что задачи, поставленные перед ней, будут формулироваться так же ясно и определенно, как они формулировались и раньше, до войны, во время которой задрали хвосты не только некоторые генералы, но и некоторые интеллигенты,— словом, что-то на тему о сверчке и шестке.

| *Знамя*, 1988, № 3, с. 49-50.

Л. В. Яковлева-Шапорина. Из дневника

17 августа 1946 года

Утром, я была еще не одета, прибегает Анна Ивановна — глаза на лбу: «Я должна вам рассказать, это так страшно, так страшно!» Вчера вечером состоялось торжественное собрание писателей в Смольном под председательством Жданова. За ним на эстраду вышли Прокофьев, Саянов, Попков, все бледные, расстроенные: в Москве состоялось совещание при участии Сталина, рассматривали деятельность ленинградских писателей, журналов «Звезда» и «Ленинград», «на страницах которых печатались пошлые рассказы и романы Зощенко и салонно-аристократические стихи Ахматовой». Полились ведра помоев на того и на другого, каялись, били себя в грудь, обвиняли во всем Тихонова, оставил-де их без руководства. Постановили исключить из Союза писателей Анну Ахматову и Зощенко. Их, к счастью, в зале не было.

Иннокентий Басалаев. Из очерка «На докладе Жданова»

Докладчик вышел справа, позади сидевших, в сопровождении многих лиц. Он шел спокойно, серьезный и молчаливый, отделенный от зала белыми колоннами. Он был в штатском. В руках папка. Его волосы под сиянием электричества блестели. Казалось, он хорошо отдохнул и умылся. Все встали. Зааплодировали. Он поднялся на трибуну.

Собрание началось в пять.

Как обычно, вслух выбрали громкий президиум. Даже чуточку посмеялись — писатели забыли назвать своего Прокофьева. Докладчик улыбнулся, сказав тихо что-то смешное. Торопливо успокоились. Президиум сел. Сдержанный шумок затих. Докладчик секунду помолчал и заговорил.

И через несколько минут началась дичайшая тишина. Зал немел, застывал, оледеневал, пока не превратился в течение трех часов в один белый твердый кусок.

Доклад ошеломил.

Писательнице Немеровской стало дурно. Она хотела выйти, бледнея, встала. Шатаясь, пошла между рядов. Ей помогали. Вышла в боковой проход, дошла до входной двери, но... ее не выпустили. Огромная белая дверь зала плотно закрыта, двое часовых с винтовками по бокам. Оказывается, выход из зала запрещен. Немеровская присела где-то в задних рядах. При упоминании в постановлении фамилии Марии Комиссаровой ее муж, Николай Браун, сидевший в президиуме, побелел и начал беспокойно искать ее глазами среди сидевших в зале. Александр Прокофьев, секретарь Ленинградского отделения Союза, все узнавший еще в Москве, сидел красный, с головой, ушедшей в плечи. <...>

Уходили с собрания молча. Шел первый час ночи.

В августе ночи уже темные. Смольнинский сад стоял в осенней сырой дымке. Тускло расплываясь, горели электрические шары фонарей. Листва еще не облетела, но в саду было тихо — неподвижные деревья будто невольно прислушивались. Со ступенек высокого парадного входа не раздавалось ни слова, ни шепота. Несколько сот человек выходи-

ли из здания медленно и бесшумно. Так же молча прошли длинную прямую аллею до пустынной в этот час площади и молча разъехались на последних троллейбусах и автобусах.

Все было неожиданно и непонятно. Согласиться сразу было трудно. Единственная мысль: значит, сейчас так нужно. <...>

Зощенко заболел. Он заперся у себя дома на канале Грибоедова. Его покинули друзья. Перестали звонить по телефону. Если он выходил на улицу, знакомые старались его не замечать. Домашняя обстановка, и без того беспокойная, осложнилась.

Анна Ахматова держалась стоически. Известно, что женщины ленинградскую блокаду во время войны переносили относительно легче мужчин. Первую она претерпела в Ташкенте, вторую — личную — здесь.

Воспоминания писателя Иннокентия Мемноновича Басалаева (1897—1964) напечатаны впервые в альманахе «Память» (кн. 2, Париж, 1979). В альбом И. М. Басалаеву Ахматова в 1945 году вписала свое стихотворение о Ташкенте. Сохранились записи И. М. Басалаева о беседах с Ахматовой (в собрании И. М. Наппельбаум).

Роберт Конквест. Из книги «Большой террор»

<...>Типичным для младшего поколения сталинистов был Андрей Жданов. В то время <с середины 20-х годов> первый секретарь важного нижегородского (позже горьковского) обкома. Сильный, пусть и не очень глубокий ум шел в нем рука об руку с идеологическим фанатизмом — более подавляющим, чем у большинства его партийных коллег. <...>

С окончанием январского процесса 1935 года над руководителями ленинградского НКВД «дело Кирова» было на время свернуто. Старые участники зиновьевской оппозиции были уже все за решеткой. Ленинград был передан из-под независимого руководства в руки преданного сталинского

сатрапа Жданова. Террор, выражавшийся главным образом в массовых высылках, но частично и в массовых казнях, обрушился на город и, в меньшей степени, на всю страну. <...>

И вот эта группа — Жданов, Заковский и Щербаков — взялись за «работу». <...> Наступившие в Ленинграде белые ночи создали известную техническую трудность для подручных Заковского. Когда волна арестов достигла руководства местной партийной организации, потом снова распространилась вниз, захватив тех, кто был выдвинут на партийную работу в последние год-два, а потом вышла и за эти пределы; когда аресты приняли массовый характер среди уже терроризированного населения, их стало невозможно выполнять под благопристойным покровом ночи. Ленинград — пожалуй, самый северный из крупных городов мира, он находится на той же широте, что Шетлендские острова или северный Лабрадор. Зимой дни в Ленинграде чрезвычайно короткие, зато летом, когда в нем царит «задумчивых ночей прозрачный сумрак, блеск безлунный», когда Пушкин мог сказать свое «пишу, читаю без лампады», шум и скрежет тормозов арестантских карет на светлых, но безлюдных улицах был, по воспоминаниям многих, особенно тревожным.

Конквест Р. Большой террор. Флоренция, 1974. Перевод с английского Л. Владимирова.

\+ \+ \+

Дорогою ценой и нежданной
Я узнала, что помнишь и ждешь.
А быть может, и место найдешь
Ты — могилы моей безымянной.

1946. Август
Фонтанный Дом

\+ \+ \+

Со шпаной в канавке
Возле кабака,
С пленными на лавке
Грузовика.

Под густым туманом
Над Москвой-рекой,
С батькой-атаманом
В петельке тугой.

Я была со всеми,
С этими и с теми,
А теперь осталась
Я сама с собой.

1946. Август
Фонтанный Дом

\+ + +

Из деятелей 14 августа несомненно умнейшим был тот, кто придумал следующую шутку: заменить нападки на религиозность (в самом деле существующую в моих стихах) нападками на эротику (которая там и не ночевала). Оставить религиозность значило сделать из меня мученицу, т. е. создать для себя самих безвыходное положение, потому что гнать человека за веру в Бога — гиблое дело.

31 мая 1962. Москва

Из сокращенной и обобщенной стенограммы *докладов т. Жданова на собрании партийного актива и на собрании писателей в Ленинграде*

Перехожу к вопросу о литературном «творчестве» Анны Ахматовой. Ее произведения за последнее время появляются в ленинградских журналах в порядке «расширенного воспроизводства». Это так же удивительно и противоестественно, как если бы кто-либо сейчас стал переиздавать произведения Мережковского, Вячеслава Иванова, Михаила Кузмина, Андрея Белого, Зинаиды Гиппиус, Федора Сологуба, Зиновьевой-Аннибал и т. д. и т. п., т. е. всех тех, кого наша передовая общественность и литература всегда считали представителями реакционного мракобесия и ренегатства в политике и искусстве. <...>

Тематика Ахматовой насквозь индивидуалистическая. До убожества ограничен диапазон ее поэзии,— поэзии взбесившейся барыньки, мечущейся между будуаром и молен-

ной. Основное у нее — это любовно-эротические мотивы, переплетенные с мотивами грусти, тоски, смерти, мистики, обреченности. Чувство обреченности,— чувство, понятное для общественного сознания вымирающей группы,— мрачные тона предсмертной безнадежности, мистические переживания пополам с эротикой — таков духовный мир Ахматовой, одного из осколков безвозвратно канувшего в вечность мира старой дворянской культуры, «добрых старых екатерининских времен». Не то монахиня, не то блудница, а вернее блудница и монахиня, у которой блуд смешан с молитвой.

«Но клянусь тебе ангельским садом,
Чудотворной иконой клянусь
И ночей наших пламенным чадом...»
(Ахматова «Anno Domini»)

Такова Ахматова с ее маленькой, узкой личной жизнью, ничтожными переживаниями и религиозно-мистической эротикой. <...>

Товарищ Сталин неоднократно указывает на то, что важнейшим условием нашего развития является необходимость того, чтобы каждый советский человек подводил итог своей работы за каждый день, безбоязненно проверял бы себя, анализировал свою работу, мужественно критиковал свои недостатки и ошибки, обдумывал бы, как добиться лучших результатов своей работы и непрерывно работал бы над своим совершенствованием. К литераторам это относится в такой же мере, как и к любым другим работникам. Тот, кто боится критики своей работы, тот презренный трус, не достойный уважения со стороны народа. (*Бурные аплодисменты.*) <...>

Все мы любим Ленинград, все мы любим нашу ленинградскую партийную организацию как один из передовых отрядов нашей партии. В Ленинграде не должно быть прибежища для разных примазавшихся литературных проходимцев, которые хотят использовать Ленинград в своих целях. Для Зощенко, Ахматовой и им подобных Ленинград советский не дорог. Они хотят видеть в нем олицетворение иных общественно-политических порядков и иной идеоло-

гии. Старый Петербург, Медный всадник, как образ этого старого Петербурга,— вот что маячит перед их глазами. А мы любим Ленинград советский, Ленинград, как передовой центр советской культуры. Славная когорта великих революционных и демократических деятелей, вышедших из Ленинграда,— это наши прямые предки, от которых мы ведем свою родословную. Славные традиции современного Ленинграда есть продолжение развития этих великих революционных демократических традиций, которые мы ни на что другое не сменяем. Пусть ленинградский актив смело, без оглядки назад, без «подрессоривания» проанализирует свои ошибки, чтобы как можно лучше и быстрее выправить дело и двинуть нашу идейную работу вперед. Ленинградские большевики должны вновь занять свое место в рядах застрельщиков и передовиков в деле формирования советской идеологии, советского общественного сознания. (*Бурные аплодисменты.*) <...>

Как бы буржуазные политики и литераторы ни старались скрыть от своих народов правду о достижениях советского строя и советской культуры, как бы они ни пытались воздвигнуть железный занавес, за пределы которого не могла бы проникнуть за границу правда о Советском Союзе, как бы они ни тщились умалить действительный рост и размах советской культуры — все эти попытки обречены на провал. Мы очень хорошо знаем силу и преимущество нашей культуры. Достаточно напомнить потрясающие успехи наших культурных делегаций за границей, наш физкультурный парад и т. д. Нам ли низкопоклонничать перед всей иностранщиной или занимать пассивно оборонительную позицию! <...>

Для памяти

Считаю не только уместным, но и существенно важным возвращение к 1946 году и роли Сталина в постановлении 14 августа. Об этом в печати еще никто не говорил. Мне кажется удачной находкой сопоставление того, что говорилось о Зощенко и Ахматовой, с тем, что говорили о Черчилле. Абсолютно невозможно приводить дословные цитаты из Жданова, переносящие нас в атмосферу скандала в коммунальной квартире. С одной стороны, новая молодежь (послесталинская) этого не помнит, и нечего ее этому учить, а не читавшие мои книги мещане до сих пор говорят «альковные стихи Ахматовой» (по Жданову) — не надо разогревать им их любимое блюдо. Здесь совершенно неуместен объективный тон и цитирование, должно чувствоваться негодование автора (что-нибудь вроде: «мы отказываемся верить нашим глазам», «невозможно объяснить, почему о женщине-поэте, никогда не написавшей ни одного эротического стиха...») по поводу того, что некто, считающий себя критиком, пишет непристойности. Ругательные статьи были не только в «Культуре и жизни» (Александровский централ), но и во всей центральной и периферийной прессе — четырехзначное число в течение многих лет. И все это в течение многих лет давали нашей молодежи как назидание. Это был экзаменационный билет во всех вузах страны.

Зощенко и Ахматова были исключены из Союза писателей, то есть обречены на голод.

Газету «Культура и жизнь» называли «Александровским централом», т. е. известной в русской истории тюрьмой, в честь редактора Г. Ф. Александрова.

И. В. Сергиевский. Из статьи «Об антинародной поэзии А. Ахматовой»

Уже безумие крылом
Души накрыло половину
И поит огненным вином
И манит в черную долину.

И поняла я, что ему
Должна я уступить победу,
Прислушиваясь к своему
Уже как бы чужому бреду.

И не позволит ничего
Оно мне унести с собою,
Как ни упрашивать его
И как ни докучать мольбою,—

каким чудовищным анахронизмом звучат в наши дни такие стихи!

Ахматова утверждает, что ее муза — та же, которая диктовала Данте страницы его «Ада». Вряд ли это так. «Божественная комедия» — одно из самых тенденциозных произведений мировой литературы, автор которого жил всеми политическими страстями своего времени и своими чеканными терцинами творил суд над современниками и над героями близкого и далекого прошлого.

События Великой Отечественной войны продиктовали Ахматовой несколько стихотворений, которые можно было воспринять как свидетельство какого-то перелома, намечающегося в ее поэзии. Но ущербность ее поэтического сознания отразилась и в ее военной лирике.

Война была проклятием для нашей страны. Но она была не только проклятием, «она была вместе с тем великой школой испытания и проверки всех сил народа, раскрыла лучшие стороны советских людей, воспитанные в нем социалистическим общественным строем и советским государством».

Ахматова восприняла войну только как проклятие; в большинстве ее стихотворений ленинградского цикла военная

тема раскрывается исключительно как тема боли и страдания.

Щели в саду вырыты,
Не горят огни.
Питерские сироты,
Детоньки мои.

Под землей не дышится,
Боль сверлит висок.
Сквозь бомбежку слышится
Детский голосок,—

в этих строках интонации причитания, плача подавляют все остальные.

Ахматова не разглядела в советских людях того нового, что внесено в их сознание социалистическим общественным строем и советским государством. Защитникам Ленинграда она приписывает какие-то смертнические настроения, изображает их героическую борьбу, как слепое и покорное движение навстречу неминуемой гибели:

Сзади Нарвские были ворота,
Впереди была только смерть...
Так советская шла пехота
Прямо в желтые жерла Берт.

Но и эти однобокие, односторонние впечатления, почерпнутые Ахматовой извне, не из ее комнатного мирка, а из окружающей жизни, лишь слегка коснулись ее поэзии, оставив незатронутым ее существо.

А дальше? А дальше:

День шел за днем, и то и се
Как будто бы происходило —
Обыкновенно, но чрез все
Уж одиночество сквозило.
Попахивало табаком,
Мышами, сундуком открытым,
Туманцем...

Так оборачивается перед Ахматовой советская действительность военных лет: как вереница бессмысленных, ничем не заполненных, мертвенных в своей пустоте дней, отравленных «ядовитым туманцем» пошлости. Снова мир предстает перед ней какой-то огромной, чуждой и враждебной ей ненужностью, снова все явления действительности приобретают сумрачную, зловещую окраску:

Так вот он — тот осенний пейзаж,
Которого я так всю жизнь боялась:
И небо, как пылающая бездна,
И звуки города, как с того света
Услышанные, чуждые навеки...
Как будто все, с чем я внутри себя
Года боролась, — получило жизнь
Отдельную и воплотилось в эти
Слепые стены, в этот черный сад...

В этом мире все призрачно, все бренно, все обречено смерти. Одинок и бесприютен в нем человек, отданный во власть темных роковых сил:

А тот, кого учителем считаю,
Как тень прошел, и тени не оставил,
Весь яд впитал — всю эту одурь выпил,
И славы ждал, и славы не дождался.—
Кто был предвестьем, предзнаменованьем,
Всех пожалел, во всех вдохнул томленье —
И задохнулся...

Таков логический итог, который подводит Ахматова пройденному ею пути,— итог достаточно красноречивый.

Культура и жизнь, 1946, 30 августа.

А. Еголин. Из статьи «За высокую идейность советской литературы»

Остановимся на некоторых литературных произведениях, печатавшихся в ленинградских журналах, чтобы показать, какова была там атмосфера, позволившая, по выражению товарища Жданова, «помещать произведения, отравленные ядом зоологической враждебности к советскому строю».

В журналах «Звезда» и «Ленинград» за последние два года опубликован ряд идеологически вредных и в художественном отношении очень слабых произведений. <...>

Стихотворение А. Ахматовой «Вроде монолога» полно пессимизма, разочарования в жизни. Действительность представляется Ахматовой мрачной, зловещей, напоминающей «черный сад», «осенний пейзаж». Звуки города воспринимаются поэтессой, как услышанные «с того света»... «чуждые навеки».

Симпатии и привязанности Ахматовой на стороне прошлого.

Ахматова пишет:

Мой городок игрушечный сожгли,
И в прошлое мне больше нет лазейки,
Там был фонтан, зеленые скамейки,
Громада парка царского вдали,
На масляной — блины, ухабы, вейки,
В апреле — запах прели и земли,
И первый поцелуй...

Звезда, 1946, № 10.

Из резолюции общегородского собрания ленинградских писателей по докладу тов. Жданова

Собрание особо отмечает, что среди ленинградских писателей нашлись люди (Берггольц, Орлов, Герман, Добин и др.), раздувавшие «авторитет» и пропагандировавшие их писания.

Идейный разброд и групповщина, имеющиеся в Союзе писателей, в немалой степени объясняются «деятельностью» Зощенко, Ахматовой и иже с ними.

Культура и жизнь, 1946, 30 августа.

За большевистскую идейность!

Декадентски-эстетские стихи Ахматовой находили гостеприимный прием и на страницах московских газет и журналов. В частности, «Литературная газета» в ноябре 1945 года опубликовала интервью с Ахматовой и ее портрет. В журнале «Знамя» (редактор В. Вишневский) был напечатан цикл стихов Ахматовой, и, кроме того, в последнее время три автора — Л. Крупеников, Б. Соловьев и, наконец, в последнем, седьмом номере журнала А. Лейтес — угоднически включали Ахматову в число передовых представителей советской поэзии, а в статье А. Лейтеса выход в 1943 году ее книги стихов зачислялся в актив советской поэзии.

Это протаскивание вредной, упадочнической поэзии А. Ахматовой не могло не сказаться отрицательным образом на творчестве некоторых начинающих молодых поэтов.

Литературная газета, 1946, 3 сентября.

Т. Трифонова. Из статьи «Об ошибках ленинградских критиков»

Даже критики-коммунисты не смогли сохранить ясность и отчетливость своих литературных взглядов.

Так, критик-коммунист Е. Добин в своих восхвалениях Ахматовой не отставал от Сергея Спасского, поэта в достаточной мере аполитичного и эстетствующего, или от Б. М. Эйхенбаума, оставшегося в оценке ахматовской поэзии на своих старых формалистических позициях. <...> Говоря об Ахматовой, <П. П.> Громов настолько теряет чувство меры, что утверждает, будто Ахматова никогда не являлась «мастером чисто индивидуальных переживаний» и что ей свойственны и философское раздумье и «высокий гражданский пафос политической лирики». Громов утверждает далее, что в новой книге Ахматовой «можно отчетливо проследить становление ее новой стилистической манеры». Эти утверждения целиком остаются на совести критика.

Ленинградская правда, 1946, 6 сентября.

С. Трегуб. Из статьи «Мировоззрение поэта»

В первой половине 1944 года я получил письмо из города Иванова от комсомольца Вл. Скворцова. Из письма можно было узнать, что автор его два года назад окончил десятилетку, ему 19 лет, он пошел добровольцем в армию, стал радистом в партизанском отряде, был тяжело ранен и уже инвалидом возвратился домой.

«Маяковского я полюбил не так давно,— писал он.— До войны прочитанные мной его стихотворения нравились, но только в дни войны я почувствовал (именно почувствовал, а не понял, головой-то я понял еще в 8-9 классе), что такое Маяковский. После армии я по-настоящему занялся изучением Маяковского — поэта и человека... Вас, вероятно не очень удивит, что я сам начал писать. Пишу стихи. Говорят, получается. Но меня угнетает мысль — это характерное

подражательство (как говорится, «под Маяковского»). Но я считаю, что уж лучше писать «под Маяковского», чем «под Ахматову». Ее последняя поэма («Поэма без героя») возмутила меня. Прав я или нет, но это такое декадентство и символизм, которым можно было бы восхищаться во времена Бальмонта-Брюсова, но отнюдь не сейчас, в дни борьбы с фашизмом». Еще он писал: «Да! Тут болтают, что сейчас якобы какой-то поворот к старому в поэзии — к чистому эстетизму, ахматовщине и прочее. Думаю — врут! И даже точно, что врут, но я не такой-то большой авторитет и многие друзья остаются при своем мнении».

В постановлении ЦК ВКП(б) этот юноша найдет подтверждение своей правоты, так же, как ее найдут миллионы советских людей, кровно заинтересованные в дальнейшем процветании нашего искусства.

Почему же так случилось, что неизвестный комсомолец Вл. Скворцов оказался идейно вооруженнее некоторых известных литераторов?

| *Литературная газета*, 1946, 7 сентября.

Из выступления Н. Асеева

Ну, а был разговор о разнице вкусов у Тихонова с Ахматовой? Об этом мы не слышали.

Из выступления В. Катаева

Ахматова никогда не считалась крупнейшей поэтессой, она всегда была поэтессой маленькой, для узкого круга. И удивительно, что среди литературной молодежи сейчас есть люди, на которых воздействовало ее творчество. Это могло произойти только потому, что отсутствовало общественное мнение. Мы должны были рассказать молодежи, что представляет собой Ахматова, как смотрел Маяковский на ее творчество, как незначительно ее место в развитии литературы.

Из выступления С. Михалкова

Я не отнимаю у Ахматовой профессионального уменья, но она и до революции никогда не была в кругу своих современников выдающимся явлением. Как же могло случиться, что в наши дни в Ленинграде она, окруженная салонными девушками, получила вдруг нездоровую и незаслуженную популярность?

На заседании президиума правления ССП СССР.— *Литературная газета*, 1946, 7 сентября.

В апреле 1924 года Николай Асеев, которому уже доводилось выступать в печати с уколами в адрес Ахматовой, например: «...и у Гумилева и у Ахматовой в конце концов был этот интимистский говорок, годный для аудитории в двадцать чувствительных сердец» (*Печать и революция*, 1923, № 6, с. 73), написал стихотворение «А. А. Ахматовой»:

Не враг я тебе, не враг,
Мне даже подумать страх,
Что к ветру речей строга,
Ты видишь во мне врага!
За этот высокий рост,
За этот суровый рот,
За то, что душа пряма
Твоя, как и ты сама,
За то, что верна рука,
Что речь глуха и легка,
Что там, где и надо б желчь —
Стихов твоих сот тяжел,
За страшную жизнь твою,
За жизнь в ледяном краю,
Где смешаны блеск и мрак —
Не враг я тебе, не враг!

Это стихотворение было, по-видимому, вручено автором адресату во время встречи 18 апреля 1924 года, которую три дня спустя Пастернак описывал в письме к Н. С. Тихонову как «ночной чай у Асеева, где все мы до этого читали, радовались друг другу, сожалели о брошенных молодых наших путях, кляли отклоненья и собирались встретить утро, решительно переменившись к лучшему (т. е. ставши прежними и новыми в одно и то же время)».

Из выступления А. Суркова

В качестве редактора «Литературной газеты» я вместе со всей редакционной коллегией больше года тому назад напечатал под рубрикой «Будущие книги» интервью Анны Ахматовой с ее портретом. Я себя спрашиваю теперь, когда все это стало ясно, как, отчего это произошло? Не аллилуйствуя, не бросая слов на ветер, я должен признать, что потерял остроту идейной оценки литературных явлений. <...> Вот товарищ Вишневский, он тоже редактор. Хотел он или не хотел этого, но в качестве редактора напечатал цикл стихов Анны Ахматовой. В нескольких статьях, давая обзоры литературы, журнал «Знамя» возвращался к произведениям Анны Ахматовой в таком контексте, где она зачислялась в первую пятерку или восьмерку людей, определяющих уровень и направление нашей поэзии.

Из выступления Вс. Вишневского

Меня как редактора и как члена Союза советских писателей удивляет теперь то, что Ахматова сейчас молчит. Почему она не отвечает на мнение народа, на мнение партии? Неправильно ведет себя, сугубо индивидуалистически, враждебно. Я полагаю, что надо ставить вопрос о дальнейшем пребывании в Союзе и Ахматовой и Зощенко.

Литературная газета, 1946, 7 сентября.

На заседании президиума Союза писателей

<...> Однако следует отметить, что некоторые товарищи, по-видимому, не вполне поняли сложность и ответственность новых задач, вставших перед русской литературой. Так, например, М. Шагинян считает, будто бы писатели «подвели под удар Зощенко и Ахматову». Незачем говорить, сколь сомнительно такое суждение.

Культура и жизнь, 1946, 10 сентября.

С. Петров. Из статьи «Благородная миссия советской литературы»

В «поэзии» Ахматовой сплелись эротика и мистика, вражда к Октябрьской революции и тоска по давно отжитым временам. Совсем недавно Ахматова плакала в стихах об этом прошлом, в «царском парке» и пр. В ее стихах — пессимизм, бесперспективность, оголтелый индивидуализм.

Советское студенчество, 1946, № 6—7, с. 5.

Т. Трифонова. Из статьи «Поэзия, вредная и чуждая народу»

Судя по ее творчеству, судьбы народа и России никогда не волновали Ахматову и общественные события находили косвенное отражение в ее стихах лишь постольку, поскольку они непосредственно влияли на ее личную судьбу <...> Даже в стихотворении «Мужество» (1942 г.) Ахматова остается аполитичной и говорит лишь о сохранении «великого русского слова» <...> Нельзя позволить мертвым традициям проникать в живой и растущий организм расцветающей советской культуры.

Ленинградская правда, 1946, 14 сентября.

В. Ермилов. Из выступления на общемосковском собрании писателей

Рассказы пошляка Зощенко, появившиеся в последние годы, стихи салонно-аристократической поэтессы Ахматовой объединены между собой тем, что там и здесь присутствует все тот же неизменный и не меняющийся во все эпохи обыватель.

Литературная газета, 1946, 21 сентября.

Ф. Левин. Из статьи «Порочная методология»

<...> И та необычайно грубая ошибка, которую автор допустил в определении стихов декадентско-мистической поэтессы Ахматовой. Сказав, что «лирическое стихотворение вызывает у нас представление об определенном типе человека, чувства которого вызваны определенными обстоятельствами жизни», он приводит в качестве образца стихотворение Ахматовой, в котором она говорит: «Но мы сохраним тебя, русская речь...»

Это стихотворение могло бы относиться к любому историческому периоду России. Разве можно сказать, что здесь выражены чувства советского народа, тот советский патриотизм, в котором «гармонически сочетаются национальные традиции народов и общие жизненные интересы всех трудящихся Советского Союза» (Сталин)?

А между тем Л. Тимофеев утверждает, что в этом стихотворении «перед нами типическое переживание, вызванное типическими для страны в данный момент обстоятельствами». Это уж не ошибка, это — слепота.

Литературная газета, 1946, 19 октября. (Об учебнике литературы для 10 класса Л. И. Тимофеева).

Из обсуждения постановления ЦК ВКП(б)

О журналах «Звезда» и «Ленинград» и доклада тов. А. А. Жданова в Институте литературы (Пушкинский Дом АН СССР)

<...> 25 сентября с докладом выступил зам. директора Института доктор филологических наук Л. А. Плоткин. <...> Мы знаем, что некоторые из наших товарищей совершили грубейшие ошибки, на которые указывают постановления ЦК ВКП(б) и тов. А. А. Жданов.

Кандидат филологических наук И. С. Эвентов выступил со статьей о Зощенко, восхваляя ту «объективность», с какой

Зощенко критикует нашу действительность. На самом же деле это был злостный пасквиль.

Кандидат филологических наук В. Н. Орлов выступил по радио с речью, посвященной поэзии Ахматовой, утверждая, что творчество Ахматовой является чуть ли не примером для всей нашей советской литературы.

С лекциями и докладами о творчестве Ахматовой выступил доктор филологических наук Б. М. Эйхенбаум, автор вышедшей в свое время известной книги об Ахматовой. <...>

Л. А. Плоткин — заявил далее Эйхенбаум,— указал, что недавно я выступал несколько раз с лекциями об Ахматовой. Совершенно ясно, что это была с моей стороны политическая ошибка, потому что в тот момент я еще не представлял себе поэзии Ахматовой как явления политического. В этом отношении я был наивен. И мне казалось, что то, что писала Ахматова в военные и послевоенные годы, представляет собой значительный поворот в ее поэзии в сторону вопросов, связанных с русской историей, с выходом за пределы глубоко пессимистической поэзии, как было раньше. При этом я не учел того, что интонация этих новых стихов осталась трагической, а трагическая окраска и тон сейчас, в момент острого конфликта между нами и нашими врагами, политически вредны. В этом смысле я совершил политическую ошибку.

Вот что мне хотелось бы сказать, чтобы видно было, что я понимаю свои ошибки последнего времени, очень существенные, совершенные в силу политической наивности, а не продиктованные злостным намерением. <...>

Известия АН СССР. Отделение литературы и языка. 1946, т. 5, вып. 6. В некрологе Борису Михайловичу Эйхенбауму (1886—1959) Р. О. Якобсон писал: «... тихой и безжалостной иронией звучит вынужденное покаяние автора замечательной книги об Анне Ахматовой (1923) и «Мелодики русского лирического стиха» на собрании Пушкинского Дома осенью 1946 года».

Н. А. Бердяев. О творческой свободе и фабрикации душ

> Оружье свободных людей —
> Свободное слово.
>
> *Константин Аксаков*

Так, как думал в своем известном стихотворении о свободе слова Константин Аксаков, думали все русские писатели, создавшие великую русскую литературу, прославившие Россию более, чем сила и блеск империи. Во времена Николая I была довольно свирепая цензура, но очень глупая, что и было большим благом. Белинский мог проскочить через эту цензуру. Императорская власть не могла руководить думами потому, что весь строй с Петра не был уже цельным и тоталитарным, он уже начал разлагаться и внутренно уже подготовлялась революция. Официальная, отражавшая мировоззрение власти литература была бездарна и даже не могла быть названа литературой. Цельным и тоталитарным был строй Московской Руси, но в ней не было мысли, не было литературы. Мысль и слово родились уже в Петровскую, уже в надтреснутую, критическую эпоху. История не знает настоящей литературы и искусства, которые создавались бы по директивам власти с требованием проводить в художественном творчестве определенного и притом официального мировоззрения. Это всегда было смертельно для всякого творчества. И особенно смертельно и даже смехотворно, если вы превратите художественное творчество в утилитарное средство для построения фабрик и изготовления орудий возможной войны.

История с Ахматовой и Зощенко со всеми последствиями для Союза писателей означает запрещение лирической поэзии и сатирически-юмористической литературы. Так называемая чистка идет по всей линии, даже среди музыкантов. Трудно предположить, что лирическое стихотворение Ахматовой может помешать устройству хоть одной фабрики или изготовлению хоть одного танка, но также трудно предположить, что она может написать стихотворение, помогающее умножению танков и фабрик; а вот патриотические стихотворения она писала.

Официальный взгляд на искусство, отразившийся и в письме в «Русские новости», означает возврат на 80 лет назад, к идеям Чернышевского и Писарева. Последний, воюя против «искусства для искусства», требовал от Щедрина писать популярные стихи по естествознанию. Теперь требуют от искусства, чтобы оно было популяризацией марксистской идеологии. Между 60-ми годами прошлого века, когда господствовал утилитарный и материалистический взгляд на искусство, и нашим временем был культурный ренессанс начала XX века с расцветом поэзии и философии, и он утвердил самостоятельную ценность искусства и духовных ценностей вообще. Тогда в России было много творческих дарований, качество почиталось более количества. Сейчас в России есть большой прогресс в смысле социальном и в смысле элементарного просвещения масс — и большой регресс в отношении творчества духовной культуры. Это один из фатальных результатов массового социального переустройства общества. Это будет во всем мире. Можно и должно приветствовать социальные результаты революции, и совсем не приветствовать умаления свободы и культурной реакции.

Это элементарная истина, что никакое творчество невозможно без свободы. Творчество и есть акт свободы. Творчество духовной культуры никак не может быть организовано по образцу хозяйственной жизни страны или военной казармы. Это было бы смертью творчества. Философская мысль уже не может развиваться в России потому, что допускается лишь официальная идеология диалектического материализма. Коммунистический тоталитаризм, который нужно отличать от тоталитарного государства фашизма, формально скопирован с католической теократии и с иезуитского ордена; но походит также на женевскую кальвинистическую теократию. Но и тоталитаризм средневекового католичества все же более допускал многообразие мысли, чем тоталитаризм в Советской России: было много школ, томисты и скоттисты очень спорили, были разнообразные формы мистики. Настоящей свободы мысли и творчества католичество не допускало; был и есть индекс, и потому, когда современные католики, уже не составляющие господствующего большинства, кричат о свободе, то это не

искренно. Стремление к единству не может исключать многообразия и индивидуализации, иначе это будет отвлеченное принудительное единство, угашающее жизнь, которая всегда предполагает индивидуализацию. Нельзя насадить принудительную добродетель, как этого хочет, по-видимому, автор письма в «Русские новости», и притом добродетель, которая видит определяющий центр жизни в экономике. Принудительная добродетель может только калечить жизнь. При таком отношении к творчеству можно дойти до героя «Бесов», который сказал: «Мы всякого гения задушим в младенчестве». В старом режиме было обязательное обучению катехизису, бездарному и искажающему христианство. Это не вело к созданию христианских душ, но вело к отпадению от христианства. Такое же значение может иметь и политграмота. Человек так устроен, что без свободы духа он не формируется в известных идеях, которые почитаются за истинные, а — или впадает в рабью покорность или бунтует.

Официальная коммунистическая точка зрения на искусство смешивает два разных вопроса. Прежде всего нужно совершенно устранить устаревший спор о чистом искусстве для искусства. Такого искусства никогда не существовало — это фикция. Свободный творческий гений или талант не находится в пустоте, его творческие акты связаны с миром и человеческим обществом, он микрокосм. Если творец хочет выразить судьбу своего народа и разделить ее, то потому, что он внутренне с ней связан, и даже может быть, более с ней связан, более есть настоящий народ, чем бескачественная народная масса. О народе мы судим прежде всего по его гениям, по его вершинам, а не по обыденной жизни человеческих масс, по качеству, а не по количеству. Эсхил в известном смысле исполнял «социальный заказ» афинской демократии, но не потому, что получал директивы извне, а потому, что сам был глубиной греческого народа. Вергилий в известном смысле исполнял «социальный заказ» Римской империи Цезаря-Августа, но не потому, что подвергался насилию извне и писал на навязанные темы, а потому, что из глубины своей творческой свободы хотел выразить римское возрождение, к которому стремился и Цезарь-Август. И так всегда бывало. Недопустимо смешивать творческую свободу художника и мыслителя с изоляцией,

с индивидуалистической поглощенностью собой, с равнодушием к судьбе мира и народа. И недопустимо смешивать эту внутреннюю необходимую связь с жизнью своего народа с рабством, с насилием над творчеством, с приказом писать на известные темы. Патриотическое стихотворение можно написать лишь потому, что поэт горит любовью к родине, а не потому, что в данный момент генеральная линия власти требует написания таких стихотворений. Это так элементарно, что почти неловко говорить об этом.

Основная ошибка заключается в предположении, что можно фабриковать души путем их принудительной организации, что возможно фабричное производство людей. Воля направлена к утверждению единства, монолитности. Но принудительное единство, не обнимающее многообразия и не допускающее индивидуализаций, есть отвлеченное, мертвое единство. Это есть геометрия, а не жизнь. Советы хотят создать общество, в котором не будет эсплуатации человека человеком, и они много для этого сделали. Цель благая, и ей можно только сочувствовать. Но невозможно создание нового социального строя без свободной критики. Полезно припомнить, что Ленин очень резко обличал комчванство и комвранье. Советы хотят создавать не только новое общество, но и нового человека. И тут они сбиваются с пути. Забывают, что приходится иметь дело с живыми душами, а не с геометрическими линиями. Человеческая душа сложна, многогранна и многострунна. Если вы запретите человеку испытывать печаль и тоску и выражать свои лирические переживания в словах, то вы создадите не нового человека, а автомат.

Это и есть фатальный результат тоталитаризма марксистского мировоззрения. Маркс хотел разоблачить иллюзии сознания, иллюзии религиозные, философские, моральные, эстетические, порожденные экономическим строем, основанным на эксплуатации одних классов другими. Он это делал иногда гениально и не бывал слишком прямолинеен и элементарен. Он даже однажды сказал: «Я не марксист». Так и Толстой не был толстовцем. Но Маркс все-таки думал, что экономика есть субстанция человеческой жизни, есть как бы первичная реальность, и из нее определяется вся остальная жизнь людей, их идеология, надстройка. Он часто

противоречил себе и материализм его спорный. Но он дал основание к тому, чтобы считать экономику определяющей всю жизнь, значит и творчество художественное, творчество мысли, т. е. всю культуру. Правда, его можно понимать так, что он хочет освободить человека от власти экономики, но это относится лишь к будущему обществу. Пока в России человек более подчинен экономике, чем когда-либо. Тут мы встречаемся с основным вопросом, вопросом об иерархии ценностей. Духовная культура есть более высокая ценность, чем политика и экономика, которые должны бы были быть послушными средствами. Великая задача состоит в том, чтобы не допускать превращения средства в цели. И это всего труднее в эпоху революций. Но поэтому особенно важно это осознать. Русская душа на протяжении тысячелетия формировалась православной верой, она формировалась в XIX веке великой русской литературой, Пушкиным, Л. Толстым, Достоевским, профетизмом этой литературы, она выражала себя и в течениях русской социальной мысли XIX века, искавшей социальной правды и сделавшей возможным коммунизм, она также выражала себя и в славянофильской мысли и в русской философии начала XX века, она отразилась и в поэзии Блока и в беспокойстве русского ренессанса начала века. Но она не формировалась какой-либо экономикой и предписанием власти. Поэтому она оставалась свободной душой, несмотря на давление власти. Свободная душа может создавать социалистический строй, но это предполагает и свободу критики и допущение многообразия. Можно признавать смысл революции и сочувствовать ее социальным результатам, можно верить, что Россия и русский народ призваны осуществить социальную правду в мире, можно стоять за самый принцип советского политического строя, можно защищать международную политику России в тяжелый момент ее существования — и вместе с тем не сочувствовать духовно — культурным результатам революции и видеть опасность в формировании рабьих душ. Я именно и стою на такой точке зрения и в этом смысле остаюсь верен так называемой «советской» ориентации.

Международное и экономическое положение Советской России очень трудное. Она окружена врагами на Западе, особенно враждебны ей англо-саксонские страны. России

нужно внутреннее единство, но духовная свобода в стране не только не мешает единству, она именно способствует ему, отсутствие же свободы разделяет и внушает вражду. Антикоммунистический фронт на Западе мешает развитию свободы в России. Тоталитаризм и изоляцию начинают рассматривать как защиту. Но не следовало бы так определяться врагами, как не следует преувеличивать количество врагов. Лучше быть свободным в своем самоопределении. Факты гонения на свободу творчества только увеличивают вражду Запада к Советской России, и притом не капиталистических кругов, не трестов, которым не к лицу защищать свободу духа, а культурной интеллигенции стран Запада, которая естественно дорожит свободой мысли и творчества более левых христианских движений и самих рабочих классов. История с Ахматовой и Зощенко, с утеснением кинематографа, театра, музыки превращается в антисоветскую пропаганду со стороны самих Советов, сеет внутреннюю рознь и дает оружие в руки врагов.

России сейчас необходимо, чтобы наряду со свободой церкви и религиозной жизни была бы дана свобода мысли и литературы. Никакая власть мира, будь то власть святых, ни при каких условиях не смеет утверждать диктатуру над духом, она не может этого делать и при существовании экономической и политической диктатуры, которая не есть нормальный и желанный строй, но иногда оказывается роковой необходимостью. Диктатура над духом, над творчеством, над мыслью и словом есть не необходимость, а зло, вытекающее из ложного мировоззрения и ложного направления воли к властвованию. Так порождается лишь рабство. В этом главная трагедия России. Об этом нужно говорить правду, и правда эта направлена не против Советской России, а в ее защиту. Диктатура над духом есть неверие в свой народ, такое же неверие, какое мы видим у непримиримых врагов Советской России, которые ничего, кроме зла, в ней не видят и ставят крест над русским народом. Таковы многие русские в Америке. Во имя веры в русский народ и в его призванность осуществить более справедливый социальный строй, чем буржуазные демократии Запада, нужно требовать свободы духа, совести, мысли, слова, творчества, невмешательства власти в свободные дела духа. Пусть власть

9—644

способствует экономическому развитию России и подготовляет военную защиту России на случай необходимости, но не вмешивается в духовную культуру. Принципиально нисколько не меняет дела, когда говорят, что все это делает не власть, а партия. Никакая партия, никакая власть, хотя бы в трудный переходный период, не может претендовать на полное выражение души народа, его воли, его творческих исканий. Всякая власть всегда частична, а не тоталитарна, всегда должна быть подчинена высшим целям. Не думаю, чтобы Россия шла к демократиям западного типа, она создаст свой тип советской социальной демократии, но она должна идти к свободе, к реальной свободе. И русский народ должен оставаться верен русскому универсализму. Замыкание в национализме было бы изменой русской идее. Монистические, монолитные притязания власти и партии есть соблазн, это есть ложная религия, лже-религия. Нужно верить в животворность свободы. Это и есть вера в творческие духовные силы, а не в одну только материальную необходимость. Верю, что эти силы есть в русском народе.

| *Русские новости*, Париж, 1946, 4 октября.

А. Фадеев. Из статьи «О традициях славянской литературы»

Говорят, газеты за границей, в частности, газеты в Праге, уделяют много внимания той критике, которая появилась на страницах нашей печати по отношению к писателям Зощенко и Ахматовой. На это нужно ответить. <...>

Что касается Ахматовой, то ее поэзию можно назвать последним наследством декадентства, оставшимся у нас. Стихи ее полны пессимизма, упадка,—что общего они имеют с нашей советской жизнью и почему мы должны воспитывать наше поколение так, чтобы оно впоследствии поступило, как многие буржуазные молодые люди во Франции в период истекшей мировой войны?

Мне кажется, что надо воспитывать людей сильными, бодрыми, великими сердцем и духом, так, как воспитывали их наши великие деды, сами полные больших, гармонических чувств. Нет, советская литература совсем не против индивидуальных чувств. У нас поэты тоже поют о любви, как и все поэты во всем мире, но мы считаем, что личные чувства тоже должны быть не низкими, а высокими и благородными.

Как известно, декадентство, литературное декадентство, разлагает сейчас литературу и искусство многих стран Западной Европы. Мы же виноваты только в том, что наша литература воспитывает настоящего человека, того человека, который разгромил германский фашизм. Так почему же мы должны мириться с тем, когда нашу молодежь развращают, заводят в тупик безверия, пессимизма и упадка? Нет и нет! Мы, правда, суровое государство, социалистическое государство тружеников, но мы суровы только в смысле отстаивания наших великих идей. Мы не можем мириться с тем, чтобы на страницах нашей же печати развращали нашу молодежь люди, глубоко чуждые великому духу нашего народного строя и народной культуры! (*Аплодисменты*).

Говорят, что уж слишком много критикуют людей вместе с Зощенко и Ахматовой. У нас многих критикуют, но это и есть одно из выражений нашей советской демократии. Я в Чехословакии слежу каждый день за газетами и вижу, что газеты каждый день взаимно критикуют друг друга. Это считается здесь демократией. Почему же не разрешено критиковать в советском обществе? Ведь эта критика идет из рядов народа или из уст руководителей советского государства, а руководители нашего государства являются лучшими выразителями идей нашего народа. Но советское государство очень бережливое государство, и особенно бережливо оно по отношению к своим людям. Если бы кто-нибудь серьезно призадумался над тем, что действительно происходит с людьми, которых критикуют, он убедился бы, что критика в интересах народа увенчивается хорошими результатами. Люди, в большинстве случаев, исправляют свои ошибки и идут дальше. Если бы не было этого в нашей стране, наше государство было бы обречено на застой. Но оно

развивается, движется вперед, потому что кладет в основу своей демократии широчайшую критику своих людей. <...>

Доклад А. Фадеева был прочитан в Праге 5 ноября 1946 года на собрании Чехословацого общества культурной связи с СССР и опубликован в «Литературной газете» 16 ноября 1946 года.

Л. В. Яковлева-Шапорина. Из дневника

20 января 1947 года

В сумерки на углу Шпалерной и Литейного встретила А. Ахматову, окликнула ее и пошли вместе. Я ей сказала, что была у нее под впечатлением выступления Фадеева в Праге. Все, что было до этого, не могло меня удивить, т. к. ничего, кроме гнусностей, я и не ждала, но писатель, русский интеллигент,— это возмутило меня до глубины души. «А мне его было только очень жаль,— ответила А. А.,— ведь он был послан нарочно для этого, ему было приказано так выступить. Я знаю, что он не любит мои стихи. Я ни на кого ничуть не обижаюсь, я это искренне говорю, ничего из этого всего не случится. Стихи мои не станут хуже. Ведь вскоре после появления моей книги «Из шести книг» она была запрещена, был устроен скандал редактору, издательству». Тогда не затрагивали А. А., как человека, и даже как поэта — и такое отношение она приписывает влиянию А. Н. Толстого, который любил ее стихи. «Приезжал Фадеев, было бурное заседание в Союзе писателей, и Фадеев страшно ругал мою книжку. Я не присутствовала на этом заседании. Но была вскоре на каком-то вечере там же. Фадеев увидел меня, соскочил с эстрады, целовал руки, объяснялся в любви. Скольких травили! Когда в 29 году началась травля Е. И. Замятина, я вышла демонстративно из Союза, вернулась туда только в 40-м». А. А. взяла меня под руку, другой рукой опиралась на палку. «Травили Шостаковича, но, конечно, никого так сильно, как меня. Уж такая я скандальная женщина». Мужчины, по ее словам, хуже, сильнее реагируют на такую травлю. Замятин переживал очень тяжело тот период.

Вспомнили Добычина, который кончил самоубийством. Он был молод и неуверен в себе. Эйхенбаум — единственный из писателей — отказался выступить против нее, сказав, что он старый человек и никто ему не поверит, если он начнет бранить Ахматову, которую всегда любил. Его отовсюду сняли. Жена его очень волновалась за него, боялась и умерла. Книги А. А. были изъяты из продажи, было запрещено их продавать и покупать. Но на днях разрешили продажу.

В записи упоминается ленинградский прозаик Леонид Иванович Добычин (1896—1936).

А. Лейтес. Из статьи «Советская литература и писатели Запада»

Высокое гражданское чувство советских писателей, их последовательность в проведении своих принципов, исключение Зощенко и Ахматовой из Союза писателей вызвали одобрение демократических кругов Запада.

Литературная газета, 1947, 8 марта.

А. Тарасенков. Из статьи «Пафос советской жизни»

Многие люди на Западе, не только наши потенциальные враги, но и некоторые друзья (например, в Чехословакии), спрашивали в прошлом году с недоумением: «Почему так суров приговор, вынесенный в Советском Союзе Ахматовой и ее личной лирике? Ну, пусть она печальна, эта лирика, но почему ее надо столь сурово осуждать? Ведь это только выражение внутренних переживаний поэтессы...»

Дело, конечно, не в личном характере лирики подобного типа. Дело в том историческом споре двух мировоззрений, которые так яростно сталкиваются при сопоставлении ущербной, пессимистической, лишенной исторической пер-

спективы лирики Анны Ахматовой, и волевой, полной веры в будущее советской поэзии, одним из характерных представителей которой является Леонид Первомайский.

Литературная газета, 1947, 2 августа.

А. Сурков. Из статьи «Незабываемое»

Годы, предшествовавшие войне, были для большой группы литераторов разных национальностей Советского Союза годами очищения сознания и чувств от хлама старых представлений о роли и назначении литературы в обществе. О том, что пережитки чуждых и враждебных теорий были еще живучи в литературной среде, свидетельствуют хотя бы вспышки рецидивов формализма и попытки гальванизации буржуазно-салонной поэзии А. Ахматовой буквально в самый канун войны.

И грустно, что прошло уже два года, а ни у писателей, ни у критиков не нашлось времени для того, чтобы приступить к серьезному и глубокому синтетическому обобщению творческого опыта советской литературы в военные годы. Если бы этим занялись, может быть, и не нашли бы места апологетическая критическая свистопляска вокруг Анны Ахматовой, критические восторги перед далекой от жизни народа лирикой Бориса Пастернака, воочию показавшие короткую память некоторых литераторов.

Литературная газета, 1947, 9 мая.

\+ + +

Я всем прощение дарую
И в Воскресение Христа
Меня предавших в лоб целую,
А не предавшего — в уста.

1947<?>
Москва

Л. В. Яковлева-Шапорина. Из дневника

17 февраля 1948 года

Вчера была Сретенская Анна. Днем я зашла к Анне Андреевне Ахматовой. Снесла цветов: вновь появившихся желтых нарциссов. Она лежит, аритмия сердца, предполагают грудную жабу; в общем, замучили. Сократили сына, ее работу о Пушкине не приняли. Никаких средств к существованию. Все это я знаю со стороны. Сама А. А., конечно, ни на что не жалуется. Кажется, она была рада моему приходу. Я было начала что-то рассказывать — она приложила палец к губам и показала глазами наверх. В стене над ее тахтой какой-то закрытый не то отдушник, не то вентилятор. «Неужели?» — «Да, и проверено». Звукоулавливатель. О, Господи. Я смотрела на нее и любовалась строгой красотой и благородством ее лица с зачесанными назад седыми густыми волосами.

В записи идет речь об именинах Ахматовой.

+ + +

Мне безмолвие стало домом,
И столицею — Тишина

Л. В. Яковлева-Шапорина. Из дневника

28 февраля 1948 года

Сегодня в Союзе писателей вечер памяти А. Н. Толстого. Я совсем было собралась уходить, как пришла А. А. Ахматова. Я страшно обрадовалась ей. Ей стало лучше, она встала, зашла к Рыбаковой, узнала у них мой адрес. Московский литфонд предложил ей санаторию и 3000 р. Я очень советовала ей воспользоваться этим предложением и поехать. А. А. рассказала, как она узнала, что к ней в комнату поставлен микрофон. Она должна была выступать, кажется, в Доме ученых и, очевидно, предполагали, что сын уедет с ней вместе. Но сын почему-то остался и услыхал стук над потолком, звук бурава. С потолка в двух местах обсыпалось немного известки, посередине комнаты и на ее подушку. «Я всегда боюсь, что кто-нибудь что-нибудь ляпнет и поэтому у меня всегда очень напряженное состояние, когда кто-либо приходит». Мы заговорили о композиторах — с ними обошлись, по ее мнению, мягко и корректно по сравнению с тем постановлением, которое ее касалось. Никого не обругали. «Обзывать блудницей меня, с сорокалетним писательским стажем...» На мои слова, что она единственная не каялась и не просила прощения, А. А. ответила: «Мне не предъявляли никакого обвинения и мне не в чем каяться. Я понимаю, что Зощенко написал письма Сталину. Его обвинили в клевете — он доказывал, что он не клеветник».

Вик. Сидельников. Из статьи «Против извращения и низкопоклончества в советской фольклористике»

<...> Анна Ахматова, например, в своей статье «Последняя сказка Пушкина», опубликованной в 1933 году в ленинградском журнале «Звезда», возводя пушкинскую «Сказку о золотом петушке» к западноевропейскому источнику, обвиняет великого русского писателя в том, что он «простонародностью» снизил лексику и все персонажи западноевропейского источника. Может ли быть более яркий пример низкопоклонства перед иностранщиной! Лженаучную, в корне «порочную» теорию Ахматовой повторял на все лады ленинградский фольклорист М. Азадовский. <...> Любовь Пушкина к русской народной сказке проф. Азадовский всецело приписывает влиянию сборников бр. Гримм и произведений американского писателя Вашингтона Ирвинга, следуя в этом рабски «доводам» Анны Ахматовой.

Литературная газета, 1947, 29 июня.

А. Тарасенков. Из статьи «Заметки критика»

<...> Не желая объяснить самобытную национальную природу пушкинской сказки, следуя компаративистскому методу А. Веселовского, Ахматова свела «Сказку о золотом петушке» к сумме сюжетных заимствований. Но ведь это и означает полное нежелание рассмотреть явление в его художественной самобытности и ведет к клеветническому искажению всемирноисторического значения творчества А. С. Пушкина

Знамя, 1949, № 10, с. 173.

Л. В. Яковлева-Шапорина. Из дневника

19 сентября 1949 года

Была вчера в церкви, отвела душу и зашла к А. А. Ахматовой, благо воскресенье мой выходной день. Был уже час, но она еще лежала. Все лето чувствовала себя плохо. Хозяйство, хотя и небольшое, очень ее утомляет, день ходит, день лежит. Вернулся сын, который ведет самую трудную часть хозяйства, т. е. закупки. А. А. встала, и мы пошли с ней в Летний сад. Она мне рассказала, что Пунин ждал ареста, после того, как в Университете было арестовано 18 человек. Он все надеялся, что дочь с внучкой успеет вернуться — его арестовали за несколько дней до их возвращения. Девочке не сказали об аресте, просто уехал. «У меня самое болезненное из чувств — это жалость, и я умру от жалости к Ирочке и Ане»,— сказала А. А. Отец девочки убит на войне; ей трудно дается ученье. Н. Н. с ней очень много занимался, она очень его любила и звала папой. Она грустит и плачет постоянно и все спрашивает, куда папа уехал и когда он вернется.

Гумилев был расстрелян 25 августа. Пунин арестован 26. «Отбросив всякие суеверия,— говорит А. А.,— все-таки призадумаешься».

А. Ванеев. Из очерка «Два года в Абези»

<...> Как-то, когда послеобеденный тихий час уже истек, но все сохраняли еще положение спящих, мое внимание привлек человек, которому пришло в голову в это время прогуляться по палате. Он был довольно высокого роста. Обыкновенное больничное белье на нем выглядело почти щеголеватой одеждой: рубашка была застегнута и аккуратно заправлена в кальсоны, штанины кальсон — заправлены в носки. В лице этого человека совмещались римская полновесность черт и старушечья округлая мягкость. Он стра-

дал нервным тиком: межбровье его время от времени подергивалось, как если бы он хотел сморгнуть с лица муху.

Ему захотелось пройтись, и он неторопливо шел по палате, привычно подергивая лицом и не глядя ни на кого. Кроме того, он для собственного удовольствия напевал полатыни негромким приятным баритоном: et in saecula saeculorum... Продолжая напевать латинский стих, без внимания к тому, что петь здесь было не принято, он обогнул наши крайние кровати и вышел в соседнюю палату.

— Это Николай Николаевич Пунин,—сказал мне Шавгенин.

До сих пор Шавгенин казался мне человеком молчаливым, но теперь обнаружилось, что он весьма словоохотлив. Он сообщил мне, что Пунин—третий муж Анны Ахматовой, первым мужем которой был Гумилев, Ахматова же, со своей стороны, вторая жена Пунина. Точнее, была второй, т. к. Пунин теперь женат третьим браком. Нет ничего удивительного увидеть Пунина среди нас. Он искусствовед, которого год назад в газетах назвали формалистом и безродным космополитом. Можно было бы удивляться, не попади он после таких эпитетов в места не столь отдаленные, которые теперь правильнее назвать весьма удаленными местами.

По всему видно, что Пунин человек независимых привычек. Например, слова, которые он напевал, по-русски значат «и во веки веков», это слова церковной службы. Но не причислять же Пунина из-за этого к людям религии. Современная научная образованность вряд ли совместима с религиозностью. Наверное, Пунин мальчиком пел в церковном хоре и это просто привычка, сохранившаяся с тех лет. <...>

Устроив свои дела, я в какой-то из дней, когда был свободен от дежурства, отправился искать Пунина. Найти человека в лагере, в этом скопище людей, было, наверное, не проще, чем отыскать знакомого муравья в большом муравейнике.

В плане наш лагерь имел форму усеченного клина, сужавшегося с запада на восток, где вдали синела зазубренная полоса Уральских гор. Основная застройка располагалась вдоль периметра лагеря, а среднюю часть занимал большой гараж и еще три стоявшие вплотную здания, общий

фасад которых выходил на Вахтенную улицу напротив длинного барака.

Выйдя из хоздвора, я пошел сперва к баракам северной окраины. Возле одного из бараков я увидел толпу, которая возбужденно гудела, а в середине кто-то кричал. Оказалось, в секции, где жила рабочая бригада, поймали вора. Его выволокли и лежачего били палкой. Когда я вошел в барак, я почувствовал на себе взгляды, в которых была подозрительность и вопрос: а этот еще кто? — так как я для них был чужим. Но кто-то сказал: «это электрик», и подозрительность сразу исчезла, а вместе с ней и всякий интерес ко мне. В бараках северной окраины Пунина не было.

Восточная часть лагеря была большим пустырем. Здесь слева стоял домик, служивший кладовой для хранения посылок, а на пригорке к самому углу внешнего ограждения примыкал БУР (барак усиленного режима), самая обособленность которого и окружавший его проволочный забор показывали его назначение. Это была внутрилагерная тюрьма, где, кроме того, помещалась резиденция начальника службы надзора.

Справа от пустыря стояли три параллельные друг другу барака. Я пошел в тот, где жил знакомый мне еврейский поэт Самуил Галкин.

В это время дня барак был почти пуст, там было всего несколько человек: Галкин и в стороне от него группа бородатых людей, плотно сидевших вокруг сгорбленного, небольшого роста старика, заросшего черными с густой проседью волосами и такой же бородой. Место Галкина было в нижнем ряду нар. Он сидел на своей постели в классической восточной позе, сложив ноги как Будда и, чуть покачивая телом, сам для себя напевал что-то негромко и по-еврейски заунывно. Увидев меня, он тотчас спустил ноги с нар.

О группе бородатых людей Галкин сказал, что это православные, но отделившиеся от официальной церкви, которых недавно привезли сюда. Черноволосый человек — священник по имени отец Иван. За диковатую внешность Галкин назвал его попиком из болота. О том, что Пунин в нашем лагере, Галкин слышал, но где находится, сказать

не мог. Он обещал поспрашивать своих знакомых, которых, как я знал, у него было много.

Напротив восточных бараков на пустыре была водокачка — довольно высокая, квадратная в сечении башня. Отсюда шла улица вдоль бараков южной стороны. Придя сюда, я вдруг понял, что вообще не было нужды искать Пунина по жилым помещениям. Проще всего встретить его здесь, в столовой, когда по расписанию в ней кормят стариков и инвалидов, которых не выводят на работу за пределы лагеря.

Я приходил в столовую один раз и другой, но среди тех, кто был в этом длинном темноватом помещении, где пока одни едят, другие входят или выходят и где всегда шум от голосов, окриков и стука мисками по столам,— Пунина так и не встретил, словно он сделался невидимкой. И все же именно столовая положила конец моим поискам. Я наконец увидел там Галкина, которому, как оказалось, стало известно, что Пунин числится в бригаде, живущей в «бараке с верандой».

Такой барак был в лагере единственным. Напротив длинного барака, занятого санчастью, как уже упоминалось, был расположен блок из трех примыкавших друг к другу зданий. В одном из них была баня. В другом помещалась КВЧ (культурно-воспитательная часть), это было особое лагерное учреждение, которое совмещало функции местного клуба, библиотеки, почты и внутренней цензуры, куда полагалось отдавать на проверку книги, имевшиеся в частном владении. Третье здание было жилым. Именно оно и называлось «бараком с верандой», так как вход в него был утеплен тамбуром, сделанным в виде застекленной, похожей на веранду пристройки. В «бараке с верандой» жило человек двести, если не больше. В этом большом темноватом помещении воздух был спертым, с примесью того отвратительного запаха, который бывает, когда сушат портянки. Все было загромождено двухъярусными нарами и густо наполнено людьми. Войдя туда, я стоял в некоторой растерянности, не зная, как найти Пунина среди этой человеческой толчеи. Но искать не пришлось. По узкому проходу прямо на меня шел Пунин, собравшийся в этот момент куда-то выйти.

Встречи с распростертыми объятьями не было. Пунин

встретил меня несколько рассеянно и даже, пожалуй, с небольшим удивлением. Но этот прохладный тон первых мгновений вскоре потеплел. В разговоре Пунин оживился и держал себя со мной приветливо. В помощи, которую я мог бы предложить ему, Пунин, как оказалось, не нуждался. Из дому ему приходили примерно раз в неделю посылки. Благодаря такому необычному в лагере уровню обеспеченности Пунин, прежде всего, сам питался из своих запасов. Я не мог встретить Пунина в столовой по той простой причине, что он вообще туда не ходил. С другой стороны, Пунин имел возможность посредством соответствующих даяний заручиться расположением лиц, от которых зависели обстоятельства устройства. На первых порах, не зная тарифа, Пунин, чтобы не дать слишком мало, дал втрое боольше, чем следовало. Благодарность была соразмерной. В секции, где жил Пунин, была большая ниша. Туда для него поставили отдельную кровать, на которую положили три матраса, три подушки и три одеяла. Пунин называл это сооружение ложем Клеопатры.

Вторая моя встреча с Пуниным случилась в общежитии технической бригады. Отработав на электростанции ночную смену, я сидел днем в пустой секции, занимаясь чем-то своим, когда туда вошел Пунин. В руке он держал яблоко и шел неуверенной походкой человека, незнакомого с обстановкой. Подумав, что Пунин пришел сюда ради меня, я встал встретить гостя, но он, увидев меня, сказал, что никак не ожидал меня здесь встретить. Пунин искал коменданта, которому нес яблоко. Кто-то, видимо, по ошибке направил его сюда.

— Ну раз коменданта здесь нет,— сказал Пунин,— я, пожалуй, отдам яблоко вам.

Я стал отказываться, но Пунин при этом только укрепился в намерении отдать яблоко именно мне.

— Не держать же мне яблоко все время в руке,— сказал Пунин и сел на скамью за стол, стоявший посреди секции.

Я тоже сел. В результате мы согласились на том, чтобы съесть яблоко пополам, разговорились, и так за разговором сидели вдвоем часа полтора.

Причиной, приведшей Пунина в лагерь, он считал не га-

зетное обвинение в формализме, как думал Шавгенин (Пунин махнул рукой, сказав, что Шавгенин ничего не понимает), а свою неосторожность и неосмотрительность в словах. Например, на одной из своих лекций в Ленинградском университете, имея в виду требование классовой идейности в искусстве, Пунин сказал: «Ничего, татарское нашествие пережили, и это преживем». В нынешнем положении Пунин находил то преимущество, что здесь, в общем, особой осмотрительности в словах не требовалось. Каждый говорил что хотел и как хотел.

В разговоре, обратившись к Пунину, я ради большей уважительности назвал его «профессор». Однако это ему не понравилось.

— Не называйте меня профессором,— сказал он,— не люблю профессоров, хотя сам принадлежу к их числу. Особенно терпеть не могу профессорские разговоры.

— А как же Карсавин?—спросил я.

— К Карсавину это не относится,— сказал Пунин,— беседы с Карсавиным, которые были в стационаре, вспоминаются мне как пир мысли, как оазис среди засохших кактусов.

С этих пор я и Пунин стали встречаться довольно часто. Если я бывал свободен от работы в дневное время, то иногда приходил к Пунину и мы сидели на веранде. Она служила как бы салоном, туда приходили посидеть и там даже были поставлены столики для игры в шахматы. Если же я работал в дневную смену, Пунин, случалось, навещал меня. Кажется, ему даже нравилось приходить ко мне на электростанцию: <...>

Еврейского поэта Самуила Галкина я знал сравнительно давно. Более года назад, когда населенность лагеря не дошла еще до нынешней тесноты, я вместе с Потаповым, которого тогда еще не произвели в главного инженера, узнав, что в лагерь прибыл известный поэт, решил сходить с ним познакомиться.

Придя, мы увидели довольно полного телом человека, в возрасте лет за пятьдесят, красивой иудейской внешности. Он сидел за тумбочкой, подперев голову рукой и как бы задумавшись. Когда перед ним появились два незнакомых посетителя, он сказал:

— Очень рад,— и сделал рукой домашнее движение, которым хозяин приглашает гостей располагаться. Посетители оба про себя усмехнулись этому (автоматизм домашних привычек в переносе на лагерь означает неизжитый конфликт между «был» и «есть») и расположились, присев на край соседней лежанки.

В первый день знакомства Галкин был не очень общителен. Он читал нам свои стихи, но только те, которые были в русском переводе. Позднее Галкин читал мне свои стихи в подлиннике на идиш, тут же пересказывая их по-русски.

Я однажды сказал Галкину, что здесь в лагере приобрел какое-то особое, личное отношение к звездному небу. Глядя на звезды, я чувствовал себя как бы рядом с теми, кто в то же самое мгновение видит те же самые звезды.

Галкин в ответ тотчас прочитал свое стихотворение «Звезда», (Der Stern) сопровождая, как обычно, чтение на идиш русским пересказом. Это стихотворение опубликовано в переводе Анны Ахматовой. Однако на идиш оно звучит мужественнее, и Галкин, пересказывая его без рифмы, передавал стихотворение ближе к оригиналу, чем в переводе. Он говорил: «Эта звезда мне драгоценна — ради чистоты ее огня — ради того, что путь ее проходит через века — ради того, что свет ее сам по себе чуден — и еще ради того, что все сияние своего огня — в себе самой, как в одной капле — включает она».

Закончив чтение и пересказ, Галкин признался, что написал это стихотворение под влиянием чувства поэтической зависти к стихотворению Иннокентия Анненского:

Среди миров мерцающих светил
Одной звезды я повторяю имя и т. д.

Поразившись прозрачным символизмом этой вещи, Галкин не находил себе места, пока не родилось его собственное стихотворение.

Помимо чтения стихов, Галкин рассказывал мне о хасидах, так как он был из семьи хасида.

В восемнадцатом веке в иудейской религии произошел раскол на мишнагдим и хасидов. Первые видели содержание религиозности в соблюдении очень подробно разрабо-

танных правил. Для хасидов же главным было духовное возвышение. Наряду с общими для всех иудеев священными книгами Торы (т. е. Пятикнижием Моисея), хасиды питали свой дух книгами Каббалы.

По учению Каббалы, Бог творит мир посредством тайны сжатия. Бесконечный сжимает себя в букву «юд», которая по размеру почти точка и является первой буквой сокращенного имени Бога. Сжимая Себя, Бог как бы освобождает место, так как первоначально все заполнено Им одним. Затем Бог излучается вовне Себя. Эта эманация, совершенная вблизи к центру, на периферии принимает низшие формы бытия, что и есть сотворенный мир.

— Послушайте,— сказал я,— так ведь ваша «Звезда» это и есть буква «юд»!

— Конечно,— сказал Галкин.

Встречаясь то с Карсавиным, то с Галкиным, то с Пуниным, я пил сразу из трех источников. Из того, что я слышал от них, ничто не залеживалось. Полученное от одного делалось оборотным капиталом для разговора с двумя другими.

Рассказав Пунину о стихотворении Галкина, я сообщил ему, что Звезда была символом буквы «юд» и что символизм Галкина был в данном случае откликом на символизм Анненского.

Имя Анненского вызвало у Пунина внезапный приступ воспоминаний. Оказалось, Иннокентий Анненский был директором царскосельской гимназии, в которой учился Пунин. Анненский держался олимпийцем, появлялся лишь в редких торжественных случаях, хотя жил тут же, в квартире при гимназии. Его рабочий кабинет был застелен большим красивым ковром. Свои стихи он писал на листах, которые имели форму свитка. Читал свои стихи Анненский даже наедине весьма театрально стоя и держа перед собой свиток в отставленной руке. Кончив читать, он ронял свиток на ковер.

Манера речи Пунина была совсем непохожа на то, как держал себя в разговоре Галкин. Всегда готовый к общению, Галкин умел говорить оживленно, причем оживлялся всем телом, говорил выразительно, помогал себе интонационными переходами голоса и руками.

Пунин вообще говорил только тогда, когда у него для этого появлялось настроение, что бывало сравнительно редко. Говоря, Пунин сидел монументально, держа руки на палке, с которой обычно ходил, глядя невидящим взглядом мимо собеседника, но уж если на него находило вдохновение речи, то умел говорить так, что из его слов, произносимых без интонационных нажимов, вылепливалась как бы зримая картина в живом движении персонажей.

К Карсавину я обратился за разъяснениями по поводу Каббалы.

— Каббала,— сказал Карсавин,— это иудейский гносис, попытка представить Божество в Его отношении к сотворенному миру. Образ Бесконечного, Который сжимает Себя в точку для того, чтобы возник сотворенный мир,— это одна из наиболее удачных мифологем. Этот образ прекрасно передает образ творения. Вообще, в гносисе Каббалы иудаизм очень близко подходит к христианской идее. Сжатие Бога в точку означает самоустранение Бога ради свободы тварного бытия. Однако дальше учения об эманациях иудейский гносис не идет, до идеи Боговоплощения он не доходит. Боговоплощение мыслится как Богоизлучение. Тварная периферия бытия непоправимо и навсегда удалена от божественного центра.

Гносис Каббалы возник, вероятно, из практики свободного символического или аллегорического переосмысления библейского текста.

Отправной точкой христианского вероучения служат такие умозрения на основе ветхозаветного текста, однако христианство обращено прежде всего к конкретной личности Христа, в Котором вера открывает Сына Божия. Ради спасения человека, который вследствие грехопадения замкнут в своем несовершенстве, Бог Самого Себя в ипостаси Сына обрекает к бытию несовершенства. Страданиями Христа, Его смертью и воскресением наше несовершенство делается средством нашего усовершенствования.

Источником, питающим христианскую веру, служит, прежде всего, опыт личного обращения к Христу. Он известен нам через Его учение, в Его словах, переданных нам, в преданиях о Его жизни. Мы имеем приблизительное представ-

ление о Его облике. Как говорят, Христос был высокий ростом человек с глазами темными, взгляд которых имел пламенную глубину, с твердо очерченным профилем, с темными волосами на прямой пробор, с бородой, которая слегка раздваивалась. И как со всяким жившим с нами человеком, возможно внутреннее общение с Ним. Это достигается просто — внутренней направленностью на Него, воображением, сосредоточенностью мысли. Чтение Евангелия может дать ощущение живого Христа и переживание внутренней соприкосновенности с Ним.

Позднее я пересказал Пунину слова Карсавина, но выразил сомнение в том, будто бы чтение Евангелия может дать ощущение живого Христа. Евангелие я читал недавно, как рай, когда лежал в стационаре, и, по-моему, сказал я, речь Евангелия архаична, а фигура Христа передана довольно схемообразно. Однако Пунин не согласился с моим мнением.

— Карсавин прав,— сказал Пунин,— евангельский текст, несмотря на архаичность речи, в некоторых местах открывает картины, ощущаемые очень живо. Например, в Евангелии от Иоанна рассказывается, как женщину, взятую в прелюбодеянии, привели на суд к Христу. Рассказ этот дан с протокольной краткостью. Его цель — показать находчивость, с какой Иисус справился с приготовленной ему ловушкой. Но сказано гораздо больше. Трудно вообразить, как можно несколькими словами разогнать людей, объединенных жаждой убийства. Поражает, как безошибочно действовал Христос. Подождал, не дав ответа, пока все притихли, пока спросят повторно. А после этого произнес всего одну фразу, не обращенную ни к кому, но попавшую в каждого. И все разошлись. Попробуйте представить себе эту сцену конкретно и эмоционально и вы увидите, что выдумать ее невозможно *. Этот текст прихологически достоверен, он обладает силой факта.

---

* Вот как рассказал эту сцену Пунин. «Иисус сидел утром во дворе храма. Внезапно от храмовых ворот появляется толпа возбужденных людей. Они волокут женщину, которая плачет и упирается. Многие в толпе имеют в руках приготовленные камни. В нескольких ша-

Я был под сильным впечатлением от слов Пунина. Я, конечно, знал это место Евангелия, но для меня оно только сейчас сделалось объемным и реальным. И тут же я вспомнил, как совсем недавно видел толпу, в середине которой били вора. Я имел тогда желание вмешаться, чтобы прекратить избиение, но прошел мимо, так как не знал, как это сделать. Такими речами, как «люди! что вы делаете!»,— остановить их было невозможно.

Этот разговор происходил, когда Пунин и я сидели на веранде за одним из шахматных столиков. За другим столиком, скучая, сидели двое. Один был болгарский деятель (лет через десять я встретил его в Ленинграде, он сделался заведующим книжным магазином), а второй — некий интеллигент с лошадиным лицом. Они оба ждали, когда Пунин освободится. Прислушавшись к разговору между нами, интеллигент с лошадиным лицом сказал:

— Экая отсталость тратить время на разговоры о религии. Я в шестнадцать лет понял, что Бога нет, и с тех пор к этому вопросу интереса не имею.

Пунин не терпел, когда его задевали.

— Не стоило бы хвалиться,— сказал он,— тем, что, начиная с шестнадцати лет, вы дальше не развивались.

В скором времени после этого Пунин переменил место

гах от Иисуса толпа останавливается, а к Нему подходит храмовый служитель, кланяется и говорит с нарочной почтительностью: «Учитель, вот женщина, взятая в прелюбодеянии. Скажи, как с ней поступить?» Все ждут, что Он скажет. А Он не взглянул даже на них, а сидит, наклонившись, и молча водит перстом по земле. И все умолкают, ждут, не зная, как объяснить, что Он молчит. Через некоторое время служитель повторяет вопрос: «Равви, первосвященник велел, чтобы Ты судил эту женщину. Ты же слышал, ее взяли в прелюбодеянии. Моисей заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь, как с ней поступить?» Тогда Иисус выпрямился и, глядя мимо, сказал толпе: «Кто из вас без греха, пусть первым бросит камень в нее». И опять наклонился и стал писать на земле. И все не знали, что им теперь нужно делать. Кто-то отшвырнул свои камни и стал уходить. За ним — другие. Так в несколько минут все разошлись. И служитель ушел доложить первосвященнику. Осталась одна женщина, которая была в страхе, что ее будут убивать, и не могла понять, что произошло.

жительства. Обстановка в «бараке с верандой» была таковой, словно здесь постоянно правился шабаш. Пунин договорился, чтобы его переселили в обычный барак, в секцию рабочей бригады, которая весь день работала на внешнем объекте и где поэтому днем было тихо. Место Пунина в этой секции находилось в общем ряду, отличаясь от других лишь несколько лучшей устроенностью. К тому времени Пунин уже ориентировался в неписанных тарифах за услуги, и его новое место было умягчено на этот раз не тремя матрасами, а двумя. <...>

Пунин умер, немногим более года пережив Карсавина. <...>

Пунина похоронили на том же кладбище, где был похоронен Карсавин. Кладбище это расположено в стороне от поселка. Оно состоит из множества холмиков, на которых не написаны ничьи имена. Вокруг кладбища — плоская однообразная тундра, безвидная земля. Больше всего здесь неба. Ясная голубизна с прозрачно белеющими облачками охватывает вас со всех сторон, красотою небес восполняя скудность земли.

Минувшее. Историчесий альманах. Париж, 1988, т 6.

Анатолий Анатольевич Ванеев (1922—1985) — участник войны, после которой окончил вуз. В конце 1940-х арестован за написание стихов. После освобождения жил в Ленинграде, работал преподавателем физики. Лев Платонович Карсавин (1882—1952) — выдающийся русский философ. Самуил Залманович Галкин (1897—1960) — еврейский поэт. Запись в дневнике Лидии Чуковской от 5 апреля 1958: «Когда я пришла, Анна Андреевна вместе с Марией Сергеевной Петровых дозванивались Галкину, чтобы поздравить его с еврейской Пасхой. «Галкин — единственный человек, который в прошлом году догадался поздравить меня с Пасхой»,— сказала она».

Самуил Галкин

Звезда

Мне звезда отрадна эта
Чистотой и блеском света,
Тем, что ни одно светило
Свет подобный не струило,
Тем, что блеск ее ночной
В капле заключен одной.

Мне звезда отрадна эта
Тем, что блещет до рассвета,
Тем, что, блеск на воды сея,
Не становится тускнее
На своем пути большом
С звездной выси в водоем.

Мне звезда отрадна эта
Щедростью безмерной света,
Тем, что, свет ее вбирая,
Я безмерность постигаю,
Тем, что сразу отдана
Небу и земле она.

Перевод Анны Ахматовой

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Я над этой колыбелью
Наклонилась черной елью.
Бай, бай, бай, бай!
Ай, ай, ай, ай...

Я не вижу сокола
Ни вдали, ни около.
Бай, бай, бай, бай!
Ай, ай, ай, ай...

1949

Л. В. Яковлева-Шпорина. Из дневника

21 декабря 1949 года

Вчера днем ко мне зашла А. А. Ахматова. Доктор велел ей пролежать дней 10 — но какая же возможность лежать в полном одиночестве, когда надо вести хоть минимальное хозяйство. Я занялась приготовлением кофе, А. А. сидела молча, глядя полураскрытыми глазами в окно. Такое у нее было скорбное, исстрадавшееся, измученное выражение лица. «Почему арестовали сына, не в связи ли это с делом Ник. Ник.?» — «Вот и Вы повторяете, кто-нибудь Вам сказал, обыватели только шушукаются, сплетничают и все абсо-

лютно ко всему равнодушны, никому ни до кого нет дела. Разве для ареста нужны причины?» У нее был доктор из платной Максимилиановской лечебницы,—«но это был скорее бандит или провокатор». Первое, что он сказал: «Я думал встретить здесь более богатую обстановку». А затем, выслушивая сердце, спросил, не повлияло ли на ее здоровье постановление от 14 августа 1946 года, на что А. А. ответила: «Не думаю».

Лидия Гинзбург. Из записей

В двадцатых годах Мандельштам писал ортодоксальные рецензии (в том числе внутренние). Они не столько были камуфляжем, сколько самовоспитанием. Это явствует из узнаваемости в них Мандельштама, его метафорических ходов. То же и ода Сталину 1937 года—замечательные, к несчастью, и в высшей степени его стихи. Значит, они соответствовали какому-то из несогласованных между собой поворотов мандельштамовского сознания.

Совсем другое—стихи о Сталине и о прочем, которые Ахматова написала для «Огонька». Она пошла с ними к Томашевским, с которыми была очень дружна, и спросила, можно ли их послать. Борис Викторович,—рассказывала мне Ирина Николаевна,—ничего на это не ответил и молча сел за машинку перепечатывать стихи для отправки в Москву. При этом он по своему разумению, не спрашивая Анну Андреевну, исправлял особенно грубые языковые и стиховые погрешности.

Когда поэты говорят то, чего не думают,—они говорят не своим языком.

Родник, Рига, 1989, № 1.

Л. В. Яковлева-Шапорина.
Из дневника

2 февраля 1950 года

Вчера <...> часу в десятом зашла Анна Андреевна. Она пробыла три недели в Москве, возила передачу сыну. «Да, он у нас»,— как это услышишь,— она обе руки прижала к груди,— (так все не отдаешь отчета, не веришь) — и только тогда все ясно становится, как услышишь эти слова: он у нас». А. А. предполагает, что его взяли и вышлют без всякого дела и нового обвинения, а только потому, что он был уже однажды «репрессирован» (слово, которое официально употребляется).

«Все сейчас перечитывают «Воскресенье»,— сказала А. А.,— и плачут. У меня в Москве был Пастернак и говорил, что читал «Воскресенье» мальчиком, когда его отец делал к нему иллюстрации. Тогда ему роман показался скучным. Он перечитал теперь и плакал. Я не плакала и не поверила в полное и окончательное воскресение Нехлюдова. Катюша — да. Та ушла от зла. А Нехлюдов так неустойчив, так впечатлителен. Он только что был счастлив. Попасть в знакомую и близкую ему обстановку у губернатора и вдруг случайно попавшееся ему в руки Евангелие и случайно открытая страница произвела полный переворот. Не верится!»

ЧЕРЕПКИ

You cannot leave your
mother an orphan.

Joyce

I

Мне, лишенной огня и воды,
Разлученной с единственным сыном...
На позорном помосте беды,
Как под тронным стою балдахином...

II

Вот и доспорился, яростный спорщик,
До енисейских равнин.
Вам он бродяга, шуан, заговорщик,—
Мне он — единственный сын.

III

Семь тысяч три километра...
Не услышишь, как мать зовет
В грозном вое полярного ветра,
В тесноте обступивших невзгод.
Там дичаешь, звереешь — ты милый,
Ты последний и первый, ты — наш.
Над моей Ленинградской могилой
Равнодушная бродит весна.

IV

Кому и когда говорила,
Зачем от людей не таю,

Что каторга сына сгноила,
Что Музу засéкли мою.
Я всех на земле виноватей,
Кто был и кто будет, кто есть,
И мне в сумасшедшей палате
Валяться — великая честь.

V

Вы меня, как убитого зверя,
На кровавый подымете крюк,
Чтоб хихикая и не веря
Иноземцы бродили вокруг
И писали в почтенных газетах,
Что мой дар несравненный угас,
Что была я поэтом в поэтах,
Но мой пробил тринадцатый час.

Т. Трифонова. Из статьи «Черты неодолимого движения»

<...> Если бы мы зачеркнули даты под стихами Ахматовой, написанными в течение почти сорока лет ее творческой работы, мы вряд ли смогли бы определить, не только к какому году, но даже к какому десятилетию относится то или иное стихотворение. Мало того, что весь арсенал изобразительных средств остался неизмененным, мало того, что события трех войн и трех революций оставались за пределами поэзии Ахматовой; даже ее лирическое «я» было неизменной и, по существу, искусственной, условной маской (ибо нельзя поверить, что даже интимные чувства человека не меняются в течение почти полувека!). Поэзия Ахматовой застыла на одном, достигнутом уже много лет назад, уровне, и форма ее стихов, в своем застое, отразила тот идейный упадок и застой, который характерен для идеологии декадентства. Старое идейное содержание вело поэтессу к бесконечному варьированию (а по существу, к повторению) старых приемов, к воспроизведению старых форм.

Звезда, 1950, № 6, с. 171

\+ + +

За меня не будете в ответе.
Можете пока спокойно спать.
Сила — право, только ваши дети
За меня вас будут проклинать.

Л. В. Яковлева-Шапорина. Из дневника

13 мая 1951 года

Была вчера у меня А. А. Как силен дух у русской женщины, Тебе отмщение, Господи, но Ты воздай.

Корней Чуковский. Из дневника

1954

8 марта. У Всеволода Иванова (блины). Встретил там Анну Ахматову впервые после ее катастрофы. Седая, спокойная женщина, очень полная, очень простая. Нисколько не похожая на ту стилизованную, робкую и в то же время надменную, с начесанной челкой, худощавую поэтессу, которую подвел ко мне Гумилев в 1912 г. — сорок два года назад. О своей катастрофе говорит спокойно, с юмором: «Я была в великой славе, испытала величайшее бесславие — и убедилась, что, в сущности, это одно и то же».

«Как-то говорю Евгению Шварцу, что уже давно не бываю в театре. Он отвечает: «Да, из вашей организации бывает один только Зощенко». (А вся организация — два чело-

века.) Зощенке,— говорит она,— предложили недавно ехать за границу... Спрашиваю его: куда? Он говорит: „Я так испугался, что даже не спросил"...»

Я опять испытал такое волнение от ее присутствия, как в юности. Чувствуешь величие, благородство, огромность ее дарования, ее судьбы.

В Главную военную прокуратуру

2 марта 1956 года

Направляю Вам письмо поэта Ахматовой Анны Андреевны по делу ее сына Гумилева Льва Николаевича и прошу ускорить рассмотрение его дела.

Я не знал и не знаю Л. Н. Гумилева, но считаю, что ускорить рассмотрение его дела необходимо, поскольку в справедливости его изоляции сомневаются известные круги научной и писательской интеллигенции. Сам он (согласно имеющимся в деле и дополнительно прилагаемым здесь документам крупных советских деятелей науки) является серьезным ученым и притом в той области, которая сейчас при наших связях со странами Азии, нам особенно нужна: он — историк-востоковед.

Его мать — А. А. Ахматова — после известного постановления ЦК о журналах «Звезда» и «Ленинград» проявила себя как хороший советский патриот: дала решительный отпор всем попыткам западной печати использовать ее имя и выступила в наших журналах с советскими патриотическими стихами. Она является в настоящее время высоко художественной переводчицей лучших произведений поэзии наших братских республик, а также Запада и Востока. Патриотическое и мужественное поведение старого крупного поэта, после столь сурового постановления, вызвало глубокое уважение к ней в писательской среде, и А. Ахматова была делегатом на 2-м Всесоюзном съезде советских писателей.

При разбирательстве дела Л. Н. Гумилева необходимо также учесть, что (несмотря на то, что ему было всего 9 лет, когда его отца Н. Гумилева уже не стало) он, Лев Гумилев, как сын Н. Гумилева и А. Ахматовой всегда мог предста-

вить «удобный» материал для всех карьеристских и враждебных элементов для возведения на него любых обвинений.

Думаю, что есть полная возможность разобраться в его деле объективно.

Депутат Верховного Совета СССР писатель *А. Фадеев.*

ПРОКУРАТУРА СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК	Гр-ке Герштейтн Эмме Григорьевне Москва Б-93, Б. Серпуховская, д. 27, кв. 67 (для гр-ки Ахматовой А. А.)

ГЛАВНАЯ ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА

30 июля 1956 г.
12 № 50043—49
Москва, Центр, ул. Кирова, 41

Сообщаю, что дело, по которому в 1950 г. был осужден ГУМИЛЕВ Лев Николаевич, проверено.

Установлено, что Гумилев Л. Н. был осужден необоснованно.

По протесту Генерального Прокурора СССР определением Военной Коллегии Верховного суда СССР от *2 июня 1956 г.* постановление Особого Совещания при МГБ СССР от 13 сентября 1950 г. в отношении ГУМИЛЕВА Льва Николаевича отменено и дело на него за отсутствием состава преступления прекращено.

Военный прокурор отдела ГВП
Подполковник юстиции
п/п (Кураскуа)

Печатается по статье Э. Г. Герштейн «Мемуары и факты (об освобождении Льва Гумилева)» в кн.: *Анна Ахматова*. Стихи. Переписка. Воспоминания. Иконография. Анн Арбор, 1977.

\+ + +

Забудут? — вот чем удивили!
Меня забывали сто раз,
Сто раз я лежала в могиле,
Где, может быть, я и сейчас.
А Муза и глохла и слепла,
В земле истлевала зерном,
Чтоб после, как Феникс из пепла,
В эфире восстать голубом.

1957

\+ + +

Все, кого и не звали, в Италии,—
Шлют с дороги прощальный привет.
Я осталась в моем зазеркалии,
Где ни Рима, ни Падуи нет.
Под святыми и грешными фресками
Не пройду я знакомым путем
И не буду с леонардесками
Переглядываться тайком.
Никому я не буду сопутствовать,
И охоты мне странствовать нет...
Мне к лицу стало всюду отсутствовать
Вот уж скоро четырнадцать лет.

26 сентября 1957
7 февраля 1958
Москва

\+ + +

Вижу я,
Лебедь тешится моя.

Пушкин

Ты напрасно мне под ноги мечешь
И величье, и славу, и власть.
Знаешь сам, что не этим излечишь
Песнопения светлую страсть.

Разве этим развеешь обиду?
Или золотом лечат тоску?
Может быть, я и сдамся для виду.
Не притронусь я дулом к виску.

Смерть стоит все равно у порога
Ты гони ее или зови,
А за нею темнеет дорога,
По которой ползла я в крови.

А за нею десятилетья
Скуки, страха и той пустоты,
О которой могла бы пропеть я,
Да боюсь, что расплачешься ты.

Что ж, прощай. Я живу не в пустыне.
Ночь со мной и всегдашняя Русь.
Так спаси же меня от гордыни.
В остальном я сама разберусь.

1958

\+ + +

Это и не старо, и не ново,
Ничего нет сказочного тут.
Как Отрепьева и Пугачева,
Так меня тринадцать лет клянут.
Неуклонно, тупо и жестоко,
И неодолимо, как гранит,
От Либавы до Владивостока
Грозная анафема гремит.

1959

\+ + +

Что нам разлука? — Лихая забава,
Беды скучают без нас.
Спьяну ли ввалится в горницу слава,
Бьет ли тринадцатый час?
Или забыты, забиты, за... кто там
Так научился стучать?
Вот и идти мне обратно к воротам
Новое горе встречать.

1959

\+ + +

Вам жить, а мне не очень,
Тот близок поворот.
О, как он строг и точен,
Незримого расчет.

Зверей стреляют разно,
Есть каждому черед
Весьма разнообразный,
Но волка — круглый год.

10—644

Волк любит жить на воле,
Но с волком скор расчет:
На льду, в лесу и в поле
Бьют волка круглый год.

Не плачь, о друг единый,
Коль летом иль зимой
Опять с тропы волчиной
Услышишь голос мой.

1959

НАДПИСЬ НА КНИГЕ

Что отдал — то твое
Шота Руставели

Из-под каких развалин говорю,
Из-под какого я кричу обвала,
Как в негашеной извести горю
Под сводами зловонного подвала.

Я притворюсь беззвучною зимой
И вечные навек захлопну двери.
И все-таки узнают голос мой.
И все-таки ему опять поверят.

1959
Ленинград

НАСЛЕДНИЦА

От царскосельских лип...

Пушкин

Казалось мне, что песня спета
Средь этих опустелых зал.
О, кто бы мне тогда сказал,
Что я наследую все это:
Фелицу, лебедя, мосты
И все китайские затеи,
Дворца сквозные галереи
И липы дивной красоты.
И даже собственную тень,
Всю искаженную от страха,
И покаянную рубаху,
И замогильную сирень.

1959

ПРОЛОГ

Не лирою влюбленного
Иду пленять народ—
Трещотка прокаженного
В моей руке поет.
Успеете наахаться
И воя, и кляня.
Я научу шарахаться
Вас, смелых, от меня.
Я не искала прибыли
И славы не ждала,
Я под крылом у гибели
Все тридцать лет жила.

1960

\+ + +

Другие уводят любимых,—
Я с завистью вслед не гляжу.
Одна на скамье подсудимых
Я скоро полвека сижу.
Вокруг пререканья и давка
И приторный запах чернил.
Такое придумывал Кафка
И Чарли изобразил.
И в тех пререканиях важных,
Как в цепких объятиях сна,
Все три поколенья присяжных
Решили: виновна она.
Меняются лица конвоя,
В инфаркте шестой прокурор...
А где-то темнеет от зноя
Огромный небесный простор,
И полное прелести лето
Гуляет на том берегу...
Я это блаженное «где-то»
Представить себе не могу.
Я глохну от зычных проклятий,
Я ватник сносила дотла.
Неужто я всех виноватей
На этой планете была?

1960

\+ + +

Все ушли, и никто не вернулся,
Только, верный обету любви,
Мой последний, лишь ты оглянулся,
Чтоб увидеть все небо в крови.
Дом был проклят, и проклято дело,
Тщетно песня звенела нежней,
И глаза я поднять не посмела
Перед страшной судьбою своей.

Осквернили пречистое слово,
Растоптали священный глагол,
Чтоб с сиделками тридцать седьмого
Мыла я окровавленный пол.
Разлучили с единственным сыном,
В казематах пытали друзей,
Окружили невидимым тыном
Крепко слаженной слежки своей.
Наградили меня немотою,
На весь мир окаянно кляня,
Обкормили меня клеветою,
Опоили отравой меня
И, до самого края доведши,
Почему-то оставили там.
Любо мне, городской сумасшедшей,
По предсмертным бродить площадям.

К пятидесятилетию лит<ературной>деятельности

ЛЕКЦИЯ

Ахматова и борьба с ней

«А лебедя — за ахматовщину»

Мои стихи в «Аполлоне» весны 1911 г. Немедленная реакция Буренина в «Новом времени», кот<орый> предполагал, что уничтожил меня своими пародиями, даже не упоминая мое имя.

В 1919 г. меня уничтожали Бунин в Одессе (эпиграмма «Поэтесса») и Брюсов в Москве (в честь Аделины Адалис) *. Затем с 1925 года меня совершенно перестали печатать ** и планомерно и последовательно начали уничтожать в текущей прессе (Лелевич в «На посту», Перцов в «Жизни искусства», Степанов в «Лен<инградской> правде» и множество других). (Роль статьи К. Чук<овского> «Две России»). Мо-

жно представить себе, какую жизнь я вела в это время. Так продолжалось до 1939 г<ода>, когда Сталин спросил обо мне на приеме по поводу награждения орденами писателей.

Были напечатаны горсточки моих стихов в журналах Ленинграда, и тогда же из<дательст>во «Сов<етский> пис<атель>» получило приказание издать мои стихи. Так возник весьма просеянный сборник «Из шести книг», которому предстояло жить на свете примерно шесть недель ***. Отдельной «Ивы» никогда не было, вопреки указаниям за рубежом.

Затем, как известно, я, уже бессчетное количество раз начисто уничтоженная, снова подвергалась уничтожению в 1946 дружными усилиями людей (Сталин, Жданов, Сергиевский, Фадеев, Еголин), из которых последний умер вчера, а стихи мои более или менее живы, но имя мое в печати не упоминается (м<ожет> б<ыть>, по старой и почтенной традиции), и о вышедшей в 1958 г<оду> книжке «Стихотворения» не было ни одного упоминания. <...>

* См. «Проза» Цветаевой. Стр. 243. (Вечер девяти поэтесс).

** После первого Постановления ЦК (1925?), о котором мне сообщила на Невском М. Шагинян и которое никогда не было опубликовано, меня, естественно, перестали приглашать выступать. Это видно и по списку выступлений. После значительного перерыва я в первый раз читала стихи на вечере памяти Маяковского (10-<лети>е его смерти) в Доме культуры на Выборгской стороне вместе с Журавлевым.

Это (1-ое) Постановление не было, по-видимому, столь объемлющим как знаменитое Пост<ановление> <19> 46 г<ода>, потому что мне разрешили перевести «Письма Рубенса» для издательства «Academia» и были напечатаны две мои статьи о Пушкине, но стихи перестали просить.

Тут я еще из сочувствия П<ильня>ку и Зам<ятину> ушла из Союза. В 1934 не заполнила анкету и т<аким> о<бразом> не попала в образованный тогда С<оюз> с<оветских> п<исателей>.

***

На судьбу этой книги повлияло следующее обстоятельство: Шолохов выставил ее на Стал<инскую> премию (1940). Его поддержали А. Н. Толстой и Немирович-Данченко. Премию должен был получить Н. Асеев за поэму «Маяковский начинается». Пошли доносы и все, что полагается в этих случаях: «Из шести книг» была запрещена и выброшена из кн<ижных> лавок и библиотек. Италианец di Sarra почему-то считает этот сборник — полным собранием моих стихов. Иностранцы считают, что я перестала писать стихи, хотя я в промежутке 1935—1940 написала хотя бы «Реквием».

Литературное обозрение, 1989, № 5.

Ядро этой заметки написано между 6 мая 1959 года, когда умер А. М. Еголин, и 23 июня 1959, когда появилась рецензия Льва Озерова на ахматовский сборник 1958 года.

В цикле пародий «Поэтическая атлетика», которую знаменитый гонитель новой поэзии критик Виктор Петрович Буренин (1841—1926) подписал своим обычным псевдонимом «Граф Алексис Жасминов» (*Новое время*, 1911, 29 апреля), приводились напечатанные в «Аполлоне» (1911, № 4) стихотворения Ахматовой «В лесу», «Над водой» и «Мне больше ног моих не надо» без имени автора и пародии на каждое из них от имени Евдокии Обмокни, Лильи Ах и Зинаиды Солитер. Стихотворение И. А. Бунина «Поэтесса» («Большая муфта, бледная щека...») было впервые напечатано в одесском журнале «Жизнь» (1918, № 7). Г. Адамович писал по поводу этого стихотворения: «Но ведь этой «смутной и горестной» поэтессой могла быть и Анна Ахматова! Бунин, конечно, понимает это. Но ему нет дела до эстетики, он осуждает мир, которым живет «поэтесса»: ее печаль, ее предчувствия, неисцелимую скуку, ее «выверт», как бы не видя всего того, что за этим вывертом стоит,— в плане историческом или общекультурном» (*Звено*, Париж, 1926, 31 января).

Вечер поэтесс, состоявшийся в Политехническом музее 11 декабря 1920 года, описан в очерке Марины Цветаевой «Герой труда».

Награждение орденами группы писателей состоялось в феврале 1939 года. Что касается участия в вечерах, то одним из исключений было приглашение выступить на вечере Всероссийского Союза писателей 10 мая 1926 года, на который Ахматова не явилась. Выступление 1940 года описано известным чтецом Дмитрием Николаевичем Журавлевым в его книге: Жизнь. Искусство. Встречи. М., 1985, с. 324.

\+ + +

Так не зря мы вместе бедовали,
Даже без надежды раз вздохнуть.
Присягнули — проголосовали,
И спокойно продолжали путь.

Не за то, что чистой я осталась,
Словно перед Господом свеча,
Вместе с вами я в ногах валялась
У кровавой куклы палача.

Нет! и не под чуждым небосводом
И не под защитой чуждых крыл —
Я была тогда с моим народом,
Там, где мой народ, к несчастью, был.

1961

\+ + +

Хулимые, хвалимые,
Ваш голос прост и дик.
Вы — непереводимые
Ни на один язык.
Войдете вы в забвение,
Как люди входят в храм.
Мое благословение
Я вам на это дам.

\+ + +

Запад клеветал и сам же верил,
И роскошно предавал Восток.
Юг мне воздух очень скупо мерил,
Усмехаясь из-за бойких строк.
Но стоял как на коленях клевер,
Влажный ветер пел в жемчужный рог,
Так мой старый друг, мой верный Север
Утешал меня, как только мог.
В душной изнывала я истоме,
Задыхалась в смраде и крови,
Не могла я больше в этом доме...
Вот когда железная Суоми
Молвила: «Ты все узнаешь, кроме
Радости. А ничего, живи!»

1964
Комарово

Борис Зайцев. Дни

Requiem aeternam
dona eis Domine.

Полвека тому назад жил я в Москве, бывал в Петербурге. Существовало тогда там, не помню — где именно, артистическое кабаре «Бродячая Собака». Какой-то темный закоулок, грязный двор, неказистая входная дверь чуть ли не в подвал — и сразу свет, столики, эстрада и все «наши» (более или менее наши). Неукротимый Борис Пронин (помощник режиссера Худож. Театра в Москве), Кузмин, Блок, Городецкий, Добужинский, Гржебин...— и много еще народу в таком роде. Эстрада, пианино, за ним иногда Кузмин со своими песенками, разные артисты, декадентская девица

Паллада — так прозвали ее почему-то в Бродячей Собаке — и Кузмин сочинил о ней стишки: «Не забыта и Паллада в очарованном кругу, Ей любовь одна отрада...»

Шум, гомон, разумеется, вино. Как бы то ни было, место злачное и в своем роде даровитое. Дух артистизма и некой распущенности, пожалуй, упадочной. Но такое уж было время.

В один из приездов моих в Петербург, в 1913 году, меня познакомили в этой Собаке с тоненькой, изящной дамой, почти красивой, видимо избалованной уже успехом, несколько по тогдашнему манерной. Не совсем просто она держалась. На мой, более простецко-московский глаз слегка поламывалась. Имя ее я знал, и она меня знала. Читал я ее мало, и она, наверное, меня не читала. Была она поэтесса, входившая в наших молодых кругах в моду — Ахматова.

Видел я ее в этой Собаке всего, кажется, раз.

* *
*

На днях получил из Мюнхена книжечку стихотворений, 23 страницы, называется «Реквием». На обложке: Анна Ахматова. Да, та самая. Развертываю — портрет (рисунок Сорина, 1913 г.). Конечно, она. И как раз того времени. Худенькая дама с тонкой и довольно длинной шеей, нос с горбинкой, изящное, остроугольное лицо, челка элегантная на лбу, сзади огромное устройство волос. Говорят, она не любила этот свой портрет. Ее дело. А мне нравится, именно такой помню ее в том самом роковом 13-м году. Но стихи написаны позже, и тогда не могли быть написаны: это уж революция (а не «Двенадцать» Блока, которые он моей жене обещал никогда *больше не читать*).

Эти стихи Ахматовой — поэма, естественно. (Все стихотворения связаны друг с другом. Впечатление одной цельной вещи). Дошло это сюда из России, печатается «без ведома и согласия автора» — заявлено на 4-й странице, перед портретом. Издано «Товариществом Зарубежных Писателей» (списки же «рукотворные» ходят, наверное, как и Пастернака писания, по России как угодно). <...>

* *
*

Да, пришлось этой изящной даме из Бродячей Собаки испить чашу, быть может, горчайшую, чем всем нам, в эти воистину «Окаянные дни» (Бунин). <...>

Я-то видел Ахматову «царско-сельской веселой грешницей», и «насмешницей», но Судьба поднесла ей оцет Распятия. Можно ль было предположить тогда, в этой Бродячей Собаке, что хрупкая эта и тоненькая женщина издаст такой вопль — женский, материнский, вопль не только о себе, но и обо всех страждущих — женах, матерях, невестах, вообще обо всех распинаемых?

Хотела бы всех поименно назвать,
Да отняли список и негде узнать.
Для них создала я широкий покров
Из бедных, у них же подслушанных слов.

В том-то и величие этих 23 страничек, что «о всех», не только о себе.

Опять и опять смотрю на полупрофиль Соринской остроугольной дамы 1913 года. Откуда взялась мужская сила стиха, простота его, гром слов будто и обычных, но гудящих колокольным похоронным звоном, разящих человеческое сердце и вызывающих восхищение художническое?

Воистину «томов премногих тяжелей». <...>

Написано двадцать лет назад. Останется навсегда безмолвный приговор зверству.

Очерк известного прозаика Бориса Константиновича Зайцева (1881—1972) напечатан в газете «Русская мысль», Париж, 1964, 7 января. Упоминаются создатель кабаре «Бродячая собака» Борис Константинович Пронин (1875—1946), поэтесса Паллада Олимпиевна Богданова-Бельская (1887—1968) и портрет Ахматовой работы Савелия Абрамовича Сорина (1878—1955).

Ярослав Ивашкевич

Premio Taormina

Анна Андреевна была здесь
перед самым концом

она ехала поездом с севера
был декабрь

по снегам отечества
по дождям и болотам Польши
по обнаженным лугам Каринтии

дорога казалась долгой
почти как дорога ее сына

все у нее было позади

на Сицилии было тепло
цвели розы

что они знали об отечестве Анны
о прохладах Царского Села
о панихидах по самоубийцам
о тюрьмах о полярных кругах
о сияньях

о чем думала здесь Анна Андреевна?

Не о том ли страусовом пере
что задело о верх экипажа?

Перевод с польского Ю. М. Гельперина

REQUIEM
1935—1940

Нет, и не под чуждым небосводом,
И не под защитой чуждых крыл,—
Я была тогда с моим народом,
Там, где мой народ, к несчастью, был.

1961

Вместо предисловия

В страшные годы ежовщины я провела семнадцать месяцев в тюремных очередях в Ленинграде. Как-то раз кто-то «опознал» меня. Тогда стоящая за мной женщина с голубыми губами, которая, конечно, никогда в жизни не слыхала моего имени, очнулась от свойственного нам всем оцепенения и спросила меня на ухо (там все говорили шепотом):

— А это вы можете описать?

И я сказала:

— Могу.

Тогда что-то вроде улыбки скользнуло по тому, что некогда было ее лицом.

1 апреля 1957
Ленинград

ПОСВЯЩЕНИЕ

Перед этим горем гнутся горы,
Не течет великая река,
Но крепки тюремные затворы,
А за ними «каторжные норы»
И смертельная тоска.
Для кого-то веет ветер свежий,
Для кого-то нежится закат —
Мы не знаем, мы повсюду те же,
Слышим лишь ключей постылый скрежет
Да шаги тяжелые солдат.
Подымались, как к обедне ранней,
По столице одичалой шли,
Там встречались, мертвых бездыханней,
Солнце ниже и Нева туманней,
А надежда все поет вдали.
Приговор... И сразу слезы хлынут,
Ото всех уже отделена,
Словно с болью жизнь из сердца вынут,
Словно грубо навзничь опрокинут,
Но идет... Шатается... Одна...
Где теперь невольные подруги
Двух моих осатанелых лет?
Что им чудится в сибирской вьюге?
Что мерещится им в лунном круге?
Им я шлю прощальный свой привет.

Март 1940

ВСТУПЛЕНИЕ

Это было, когда улыбался
Только мертвый, спокойствию рад.
И ненужным привеском болтался
Возле тюрем своих Ленинград.
И когда, обезумев от муки,
Шли уже осужденных полки,
И короткую песню разлуки
Паровозные пели гудки.
Звезды смерти стояли над нами,
И безвинная корчилась Русь
Под кровавыми сапогами
И под шинами черных марусь.

I

Уводили тебя на рассвете,
За тобой, как на выносе, шла,
В темной горнице плакали дети,
У божницы свеча оплыла.
На губах твоих холод иконки,
Смертный пот на челе... Не забыть!
Буду я, как стрелецкие женки,
Под кремлевскими башнями выть.

Осень 1935
Москва

II

Тихо льется тихий Дон,
Желтый месяц входит в дом.
Входит в шапке набекрень.
Видит желтый месяц тень.
Эта женщина больна,
Эта женщина одна,
Муж в могиле, сын в тюрьме,
Помолитесь обо мне.

III

Нет, это не я, это кто-то другой страдает.
Я бы так не могла, а то, что случилось,
Пусть черные сукна покроют,
И пусть унесут фонари...
Ночь.

IV

Показать бы тебе, насмешнице
И любимице всех друзей,
Царскосельской веселой грешнице,
Что случится с жизнью твоей —
Как трехсотая, с передачею,
Под Крестами будешь стоять
И своей слезою горячею
Новогодний лед прожигать.
Там тюремный тополь качается,
И ни звука — а сколько там
Неповинных жизней кончается...

V

Семнадцать месяцев кричу,
Зову тебя домой,
Кидалась в ноги палачу,
Ты сын и ужас мой.
Все перепуталось навек,
И мне не разобрать
Теперь, кто зверь, кто человек,
И долго ль казни ждать.
И только пышные цветы,
И звон кадильный, и следы
Куда-то в никуда.
И прямо мне в глаза глядит
И скорой гибелью грозит
Огромная звезда.

VI

Легкие летят недели,
Что случилось, не пойму.
Как тебе, сынок, в тюрьму
Ночи белые глядели,
Как они опять глядят
Ястребиным жарким оком,
О твоем кресте высоком
И о смерти говорят.

1939

VII

ПРИГОВОР

И упало каменное слово
На мою еще живую грудь.
Ничего, ведь я была готова,
Справлюсь с этим как-нибудь.

У меня сегодня много дела:
Надо память до конца убить,
Надо, чтоб душа окаменела,
Надо снова научиться жить.

А не то... Горячий шелест лета,
Словно праздник за моим окном.
Я давно предчувствовала этот
Светлый день и опустелый дом.

Лето 1939

VIII

К СМЕРТИ

Ты все равно придешь — зачем же не теперь?
Я жду тебя — мне очень трудно.
Я потушила свет и отворила дверь
Тебе, такой простой и чудной.
Прими для этого какой угодно вид,
Ворвись отравленным снарядом
Иль с гирькой подкрадись, как опытный бандит,
Иль отрави тифозным чадом.
Иль сказочкой, придуманной тобой
И всем до тошноты знакомой,—
Чтоб я увидела верх шапки голубой
И бледного от страха управдома.
Мне все равно теперь. Клубится Енисей,
Звезда Полярная сияет.
И синий блеск возлюбленных очей
Последний ужас застилает.

19 августа 1939

IX

Уже безумие крылом
Души накрыло половину,
И поит огненным вином
И манит в черную долину.

И поняла я, что ему
Должна я уступить победу,
Прислушиваясь к своему,
Уже как бы чужому бреду.

И не позволит ничего
Оно мне унести с собою
(Как ни упрашивать его
И как ни докучать мольбою):

Ни сына страшные глаза —
Окаменелое страданье,
Ни день, когда пришла гроза,
Ни час тюремного свиданья,

Ни милую прохладу рук,
Ни лип взволнованные тени,
Ни отдаленный легкий звук —
Слова последних утешений.

4 мая 1940

X

РАСПЯТИЕ

Не рыдай Мене, Мати,
во гробе зрящи.

1

Хор ангелов великий час восславил,
И небеса расплавились в огне.
Отцу сказал: «Почто Меня оставил!»
А матери: «О, не рыдай Мене...»

2

Магдалина билась и рыдала,
Ученик любимый каменел,
А туда, где молча Мать стояла,
Так никто взглянуть и не посмел.

ЭПИЛОГ

1

Узнала я, как опадают лица,
Как из-под век выглядывает страх,
Как клинописи жесткие страницы
Страдание выводит на щеках,
Как локоны из пепельных и черных
Серебряными делаются вдруг,
Улыбка вянет на губах покорных,
И в сухоньком смешке дрожит испуг.
И я молюсь не о себе одной,
А обо всех, кто там стоял со мною
И в лютый холод, и в июльский зной
Под красною ослепшею стеною.

2

Опять поминальный приблизился час.
Я вижу, я слышу, я чувствую вас:
И ту, что едва до окна довели,
И ту, что родимой не топчет земли,
И ту, что, красивой тряхнув головой,
Сказала: «Сюда прихожу, как домой!».
Хотелось бы всех поименно назвать,
Да отняли список, и негде узнать.
Для них соткала я широкий покров
Из бедных, у них же подслушанных слов.
О них вспоминаю всегда и везде,
О них не забуду и в новой беде,
И если зажмут мой измученный рот,
Которым кричит стомильонный народ,
Пусть так же они поминают меня
В канун моего погребального дня.
А если когда-нибудь в этой стране
Воздвигнуть задумают памятник мне,
Согласье на это даю торжество,
Но только с условьем — не ставить его
Ни около моря, где я родилась:
Последняя с морем разорвана связь,
Ни в царском саду у заветного пня,
Где тень безутешная ищет меня,
А здесь, где стояла я триста часов
И где для меня не открыли засов.
Затем, что и в смерти блаженной боюсь
Забыть громыхание черных марусь,
Забыть, как постылая хлюпала дверь
И выла старуха, как раненый зверь.
И пусть с неподвижных и бронзовых век,
Как слезы, струится подтаявший снег,
И голубь тюремный пусть гулит вдали,
И тихо идут по Неве корабли.

Март 1940
Фонтанный Дом

Содержание

АННА АХМАТОВА. REQUIEM. 1935—1940

Анна Андреевна Ахматова

РЕКВИЕМ

Книга подготовлена бригадой в составе:
Белла Соловьева (руководитель бригады),
Тамара Рябикова (редактор),
Александр Белослудцев (художник),
Тамара Селиверстова (художественно-технический редактор)
В книге использованы архивные фотодокументы

ИБ № 161

Сдано в набор 30.03.89.
Подписано в печать 4.09.89.
Формат 70×100 1/32
Бумага офсетная
Гарнитура «Универс»
Печать офсетная
Усл. печ. 13,0
Усл. кр.-отт. 26,0
Уч.-изд. 13,35
Тираж 80 000 экз.
Цена 3 р (В переплете 3 руб. 50 коп.)
Тип. заказ 644
Изд. № 36

Издательство МПИ.
107045, Москва, Садовая Спасская ул., 6.
Можайский полиграфкомбинат В/О «Совэкспорткнига»
Государственного комитета СССР по печати.
143200, Можайск, ул. Мира, 93.


3 р.